

БЫЛЫЕ ГОДЫ. 2016. № 41-1 (3-1)
РОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционная коллегия:

А. А. Черкасов (г. Сочи, Россия)
гл. редактор – д-р ист. наук

Е. Ф. Кринко (г. Ростов-на-Дону, Россия)
зам. гл. редактора – д-р ист. наук

С. И. Дегтярев (г. Сумы, Украина)
д-р ист. наук

В. Г. Иванцов (г. Сочи, Россия)
канд. ист. наук

Т. А. Магсумов (г. Набережные Челны, Россия)
канд. ист. наук

Журнал включен в базу Scopus, Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index.

Журнал зарегистрирован в федеральной
службе по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ №ФС77-47157 от
03.11.2011

Редакционный совет:

П. Джозефсон (г. Вотервилль, США)

В. П. Зиновьев (г. Томск, Россия)

Р. Марвик (г. Ньюкасл, Австралия)

В. И. Меньковский (г. Минск, Белоруссия)

Р. В. Метревели (г. Тбилиси, Грузия)

Б. Н. Миронов (г. Санкт-Петербург, Россия)

Дж. Санборн (Пенсильвания, США)

Е. С. Сенявская (г. Москва, Россия)

В. Сандерлэнд (г. Цинциннати, США)

С. Г. Суляк (г. Тирасполь, Молдавия)

Ф. Б. Шенк (г. Базель, Швейцария)

М. Шмигель (г. Банска Быстрица, Словакия)



Учредитель

СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес для писем:

354000, г. Сочи, ул. Советская 26а
Тел.: 8(918)201-97-19
E-mail: Bylyegody@su-tr.ru
Сайт журнала: www.bg.su-tr.ru
Англоязыч. сайт журнала: www.en.bg.su-tr.ru

Выходит с 2006 г.
Периодичность – 1 раз в 3 месяца

Подписано в печать 01.10.2016 г.
Формат 21 × 29,7/4.

Уч.-изд. л. 22. Усл. печ. л. 13,1.
Заказ № 46.

Редактор, корректор,
редактор-переводчик В.С. Молчанова
Технический редактор, электронная
поддержка Н. А. Шевченко

На обложке слева направо:
Русский интеллигент, в центре автор Б.Н. Миронов, русский крестьянин
В нижней части обложки: герб Черноморской губернии
и фотографии обложек 3-х томной «Российской империи»

BYLYE GODY (FORETIME). 2016. VOL. 41-1. IS. 3-1
RUSSIAN HISTORICAL JOURNAL

Editorial Staff:

A. A. CHERKASOV (SOCHI, RUSSIA)
Editor in Chief – Dr. (History)

E. F. KRINKO (ROSTOV-ON-DON, RUSSIA)
Deputy Editor in Chief – Dr. (History)

S. I. DEGTYAREV (SUMY, UKRAINE)
Dr. (History)

V. G. IVANTSOV (SOCHI, RUSSIA)
PhD (History)

T. A. MAGSUMOV (NABEREZHNYE CHELNY,
RUSSIA)
PhD (History)

This magazine is listed in Scopus, Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index.

This magazine is registered in the Federal
Supervision Agency for Information Technologies
and Communications. Magazine Certificate of
Registration ПИ №ФС77-47157 03 November
2011.

Editorial Board:

P. JOSEPHSON (WATERVERVILLE, USA)

R. MARKWICK (NEWCASTLE, AUSTRALIA)

V. I. MENJKOVSKY (MINSK, BELARUS)

R. V. METREVELI (TBILISI, GEORGIA)

B. MIRONOV (ST. PETERSBURG, RUSSIA)

J. SANBORN (PENNSYLVANIA, USA)

E. S. SENYAVSKAYA (MOSCOW, RUSSIA)

F. B. SCHENK (BASEL, SWITZERLAND)

M. ŠMIGEL (BANSKÁ BYSTRICA, SLOVAKIA)

S.G. SULYAK (TIRASPOL, MOLDOVA)

W. SUNDERLAND (CINCINNATI, USA)

V. P. ZINOV'EV (TOMSK, RUSSIA)



Founder

SOCHI STATE UNIVERSITY

Postal Address:

26a, Sovetskaya str., Sochi city, 354000

Tel.: 8(918)201-97-19

E-mail: Bylyegody@sutr.ru

Website: www.bg.sutr.ru

English version of the magazine site:

www.en.bg.sutr.ru

Issued from 2006

Publication frequency – once in 3 months

Approved for printing 1.10.2016

Format 21 × 29, 7/4.

Ych. Izd. l. 22. Ysl. pech. l. 13,1.

Order № 46.

Editor, Proofreader

editor-translator

V. S. MOLCHANOVA

Technical Editor, Electronic support by

N. A. SHEVCHENKO

On the cover page from left to right:

russian intellectual, the author B.N. Mironov is in the centre, russian peasant
At the bottom of the cover page: Chernomorskay Gubernia (Black Sea Province) emblem
and cover photos of 3-volume of "Rossiiskaya imperiya"

C O N T E N T S

Column by editor-in-chief	846
---------------------------------	-----

ARTICLES AND STATEMENTS

The Historical Optimism of Boris Mironov Khoros V.G.	848
Analytism against Empiricism: Reflections on the New Book by B.N. Mironov Mazur L.N.	857
Russian Imperial Modernization: The General and the Specific Poberezhnikov I.V.	867
In Search of the Best Explanation of Russian History Selunskaja N.B.	874
The Phenomenon of Russian Modernization: Research Approaches, Problems of Lawful Government, Administration, and Human Capital Potkina I.V.	882
“It is Necessary to Create a New Suitably Positive Past”: Boris Mironov in Russian Imperial Historiography Kerov V.V.	890
Modernization of “Collective Beliefs” and “Cultural Capital” in the Russian Empire: From Enlightened Absolutism to Civil Society Artamonova L.M.	899
Historical Research of the Russian Modernization: Theoretical and Practical Aspects Liarskii A.B.	908
The History and Sociology of Nutrition Veselov Yu.V.	917
Noble Estate Self-Government in Russia: Between the State and Civil Society Morozov A.Yu.	927
Modern Russian Historiography as a Living and Growing Intellectual Body Ul’ianova G.N.	936
The Modernization Concept as an Integrative Framework for the Methodology of Studying Topical Issues in Russian History Smirnov Yu.N.	944
A Glass Half-Full, Perhaps Three-Quarters: Imperial Questions in Boris Mironov’s “Rossiiskaia Imperiia” Sunderland W.	955
Russian Imperial Principles and Technologies of the Management of Ethno-Confessional Diversity and of the Integration of Traditional Socio-Cultural Systems Verniaev I.I.	965
Historical Psychology in Boris Mironov’s “Russian Empire” Shkuratov V.A.	973
A Qualified Optimistic Analysis of Imperial Russia Worobec C.D.	981

“The Human Comedy” of Boris Mironov Ekshtut S.A.	989
The True Beginning of Post-Soviet Historiography of the History of the Russian Empire Kulikov S.V.	995
Do Russians Need Cliotherapia? Mironov B.N.	1003
Essays on Historical Optimism Cherkasov A.A.	1053

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 846-847, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



Column by editor-in-chief

Колонка главного редактора

От редакционной коллегии

Редакционная коллегия журнала «Былые годы» решила посвятить специальный номер обсуждению монументальной книги Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну» и тем самым продолжить сложившуюся в историческом сообществе традицию подвергать широкому обсуждению его новые работы. Как отметили участники круглого стола, Б.Н. Миронов считается самым полемичным историком в современной отечественной историографии. Естественно, опубликованная в декабре 2015 г. книга сразу была замечена читателями, о чем говорит масса пиратских копий, появившихся в Интернете уже через два-три месяца после ее публикации. На 25-м профессиональном конкурсе Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие книги года – 2015» «Российская империя: от традиции к модерну» была признана лучшей книгой года в номинации «Лучшая книга о России». В конкурсе приняли участие 136 издательств, которые прислали на конкурс 502 издания из 34 российских и 6 зарубежных городов. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялись 3 июня 2016 г. в рамках фестиваля «Красная площадь». Присутствовавший на фестивале Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев заметил и отметил «Российскую империю...».

Для участия в дискуссии редакция выбрала 30 отечественных и зарубежных специалистов в различных областях социальной истории России периода империи и послала им приглашения представить свои соображения для публикации, подчеркнув, что «приветствуется обсуждение спорных вопросов, академическая, т. е. конструктивная, аргументированная и уважительная к мнению автора критика, свежий взгляд на исторические проблемы». Освоить и оценить в короткий срок книгу почти в 3000 страниц, конечно, смогли не все, поэтому в круглом столе приняли участие 18 экспертов. Большая удача нашего круглого стола в том, что среди дискуссантов известные специалисты и авторы монографий по проблемам, рассмотренным в книге. *Л.М. Артамонова* занимается историей народного образования, гражданского общества и добровольных общественных организаций, социальной, интеллектуальной и политической историей; *И.И. Верняев* – исторической этнографией, этноконфессиональной политикой и трансформацией традиционных социальных институтов; *Ю.В. Веселов* – экономической социологией; *К. Воробец* – историей аграрных обществ, религии, национализма, семьи, общины, а также гендерной историей; *В.В. Керов* – этноконфессиональной политикой, историей старообрядческого предпринимательства и деловой культуры российских предпринимателей; *С.В. Куликов* – политической, социальной и сравнительной историей России XIX – начала XX в., историей государства, государственности и элит; *А.Б. Лярский* – историей детства и взаимоотношениями поколений в контексте модернизации; *Л.Н. Мазур* – методологией и методикой, урбанизацией и источниковедением массовых источников; *А.Ю. Морозов* – историей дворянства и добровольных общественных организаций; *И.В. Побережников* – методологией, модернизацией, традиционной культурой,

социальными конфликтами и менталитетом; *И.В. Поткина* – методологией, модернизацией, историей предпринимательства, права и культуры; *У. Сандерленд* – колонизацией, этноконфессиональными отношениями в московской, имперской, советской и постсоветской России, сравнительной историей, проблемами империй в сравнительной перспективе; *Н.Б. Селунская* – методологией, модернизацией, клиометрикой, экономической и политической историей; *Ю.Н. Смирнов* – историей колонизации и этноконфессиональной политики, военной историей и регионоведением; *Г.Н. Ульянова* – историей гражданского общества, общественного движения и интеллигенции, историей повседневности, предпринимательства, благотворительности и гендерной историей; *В.Г. Хорос* – методологией, модернизацией, культурологией, историей общественной мысли, общественного движения и интеллигенции; *В.А. Шкуратов* – исторической психологией, историей и теорией психологии и психологической культурологии; *С.А. Экинут* – историей общественной мысли, общественного движения и интеллигенции, интеллектуальной и альтернативной историей, контрфактическим моделированием и историей культуры. Многие из участников хорошо знакомы с зарубежной историографией. Словом, собралась представительная экспертная группа, включающая кроме историков (поскольку обсуждается междисциплинарное исследование) двух культурологов, социолога, психолога и этнографа. Мы надеялись, что участники круглого стола адекватно оценят «Российскую империю...», определят актуальные проблемы социальной истории, поставят задачи на будущее и что дискуссия отразит состояние историографии имперской России.

Поступившие тексты участников круглого стола публикуются без всякой цензуры и купюр. Автору мы также предоставили возможность ответить на многочисленные замечания безо всяких ограничений.

Круглый стол подготовил **А.А. Черкасов**

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.

ISSN: 2073-9745

E-ISSN: 2310-0028

Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 848-856, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>

ARTICLES AND STATEMENTS

UDC 94(47)

The Historical Optimism of Boris Mironov

Vladimir G. Khoros^{a, *}

^a Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Abstract

The article attempts to assess the contribution of B.N. Mironov's monograph "The Russian Empire: From Tradition to Modernity" to historiography. The author has reviewed other books by Mironov. While the reviewer's assessment is positive overall, a number of points defended by the author call for a rejoinder. The reviewer agrees with the main idea of the book: there was no permanent crisis and impoverishment of the working population in the history of imperial Russia in the 18th to the beginning of 20th centuries. On the contrary, there was some progress and achievements in terms of modernization. The revolutions in the beginning of the 20th century must be explained through other reasons. Credit undoubtedly belongs to Mironov for proof of this thesis. In such an approach, the Russian past appears more complicated and realistic than in many of the preceding investigations by Russian as well as by foreign scholars. An interesting feature of Mironov's approach is historical optimism, that is, an interpretation of Russian historical evolution as successful. However, sometimes this optimism seems excessive. Key observations are the following. First, overcoming one extreme (the permanent crisis in Russia), Mironov, to some extent, ends up at another extreme – an underestimation of those social and cultural problems in Russian society that stimulated the revolutionary climate. Second, there is an overestimation of the role of the intelligentsia as an agent of revolution, its characteristics are excessively negative, and there is an underestimation of the impulse to protest from below and the popular character of the Russian revolution of 1917. Third, despite a number of interesting ideas concerning the process of modernization in Russia, Mironov identifies this modernization with Westernization ("Europeanization"). But the author himself rightly demonstrates the difference between Russian and European civilizational values. This discrepancy become one of the reasons for the Russian Revolution. However, even these disagreements with Mironov's point of view attest to the creative character of his book and its great significance for our historical scholarship.

Keywords: Russian empire; modernization; the Russian revolution; Europeanization; tradition and modernity; historical optimism; intelligentsia; European trajectory; the construction of social reality; the color revolutions.

Я бы не решился высказаться по громадному трехтомнику Б.Н. Миронова, если бы не опыт моих размышлений (Хорос, 2000) по поводу его предыдущих трудов – «Социальная история России периода империи...» (Миронов, 1999) и «Благосостояние населения и

* Corresponding author

E-mail addresses: khoros@imemo.ru (V.G. Khoros)

революции в имперской России...» (Миронов, 2010). Собственно, эти работы (а также фрагменты из его книги «Страсти по революции» (Миронов, 2013), где Б.Н. Миронов отвечает своим оппонентам, в том числе мне) автор собрал в книге, которую мы обсуждаем. И не просто собрал, но добавил две новые главы, в частности очень содержательный очерк о русской культуре и крестьянском менталитете (Миронов, 2015b: 271–390), а также основательно доработал ряд других подразделов (Миронов, 2014: 195–261, 407–443; Миронов, 2015a: 59–107, 422–490, 544–606). Перед нами плод выдающегося трудолюбия историка, в котором обилие (лучше сказать, изобилие) фактического материала сочетается со стремлением к широкому концептуальному осмыслению, а кропотливое освещение прошлого – с попытками связать его с современностью, вывести отечественную историю в общемировой контекст.

Понятно, что столь значительный труд в любом случае не может не заслуживать признания. Я не раз высказывал его, хотя по ряду пунктов и спорил с автором. И сегодня, ознакомившись с обсуждаемым трехтомником, скажу: мое отношение к исследованиям и подходам Б.Н. Миронова в целом то же, что и прежде – как, если так можно выразиться, в пространстве согласия, так и в пространстве спора.

Еще раз подтверждаю: я принимаю основную идею исследования Бориса Николаевича о неадекватности так называемой «парадигмы кризиса и пауперизации» применительно к эволюции имперской России – «парадигмы», из которой следует, что эволюция эта проходила как бы по снижающейся траектории, через череду кризисов в жизни общества, что закономерно привело к революции в начале XX в. Как я понимаю, обоснование этой идеи было главной целью автора, и ему удалось ее достичь, что можно считать его большой заслугой перед нашей исторической наукой. Б.Н. Миронов представил историю имперской России гораздо более многосторонней, многоцветной и неоднозначной по сравнению со многими предшествующими исследованиями – как отечественными (дореволюционными и советскими), так и зарубежными.

Работам Б.Н. Миронова присуще то, что можно назвать историческим оптимизмом, намерением делать акцент на позитивных характеристиках российской истории. И это вызывает симпатию, особенно на фоне осуждающе-негативистских трактовок нашего прошлого, получивших распространение в постсоветские времена. Вспомним, как Пушкин в ответ на «Философическое письмо» Чаадаева писал ему, что нам нечего стыдиться своей истории, которую поэт не променял бы ни на какую другую. Точно так же на многих страницах своих трудов Б.Н. Миронов подчеркивает, что русская история вполне вписывается в основные тренды европейского и общемирового развития и отмечена значительными достижениями во всех сферах общественного бытия.

Но исторический оптимизм, как и все на свете, предполагает чувство меры. Так, тот же Пушкин, не приемля пессимистическую картину России, нарисованную Чаадаевым, вместе с тем не отрицал, что в российском прошлом и настоящем немало негативного – самовластие, игнорирование прав личности и прочее. И вот здесь – первый пункт моего спора с Борисом Николаевичем. Создается впечатление, что, борясь с одной крайностью – преувеличением кризисных процессов в имперской России, он, может быть, незаметно для себя порой стал впадать в другую крайность – сглаживание острых углов российского прошлого, приукрашивание реальной исторической действительности.

Я достаточно подробно писал о своих несогласиях на этот счет в своих предыдущих отзывах на книги Б.Н. Миронова, так что здесь лишь кратко обозначу их. Это, на мой взгляд, недостаточно критичная оценка Крестьянской реформы 1861 г., которая, как он уверен, учитывала «интересы не только помещиков, но и крестьян». Это – чрезмерно высокая оценка эффективности внутренней политики самодержавия в целом (ведь в этом плане трудно не видеть различий в эпохах Николая I, Александра II, Александра III и Николая II). Это – преувеличение креативности российского чиновничества (хотя, конечно, не все в нем походило на персонажей гоголевского «Ревизора»). Это – переоценка степени политической демократизации в России в начале XX в., поскольку Государственная дума во многом оставалась совещательным органом. Это, наконец, многочисленные статистические выкладки о доходах населения, налогах и т. п., призванные создать у читателя впечатление перманентного роста основных экономических и социальных показателей в России XIX – начала XX в., – хотя во многих исследованиях по данному периоду эти показатели выглядят иначе. Статистика, при всей ее полезности, это – не *ultima ratio*, она может приводить к разным результатам. И сам автор это, наверное, понимает, приводя, к примеру, большой

разброс в оценках соотношения зарплаток русских, английских и американских рабочих (Хорос, 2010).

Стремление к «оптимизации» исторической действительности ощущается во всей книге Б.Н. Миронова – даже применительно к тем временам, которые выходят за рамки его исследования. Так, говорится о том, что русский крестьянин довольно терпимо относился к крепостному праву, поскольку не видел в нем нарушения своих личных прав, а лишь «обязанность что-то исполнять, платить ренту, ходить на барщину» (Миронов, 2015b: 530). Высказывается мнение, что в России «до XVIII в. общество и государство жили едино и по большому счету в согласии» (Миронов, 2015b: 598) – как это соотносится с «бунташным» XVII в. и Расколом? Между тем российская государственность XVII в. объявляется «народной монархией» (Миронов, 2015b: 597). Утверждается, что «до Великих реформ общество в решающей степени самоуправлялось», что «в течение многих столетий самоуправление, основанное на настоящей демократии, являлось стержнем нашей повседневной жизни» (Миронов, 2015b: 719, 723). Звучит, мягко говоря, странно. А вот суждения уже о нынешней России: автор не согласен с теми, кто считает опыт российской модернизации в постсоветский период неудачным (Миронов, 2015b: 639) – ведь после спада 90-х гг. в стране начался «быстрый экономический рост, который можно назвать экономическим чудом» (Миронов, 2013: 223). На самом же деле – и это показано во многих работах отечественных экономистов – в постсоветский период происходили тенденции демодернизации, деградации индустриального сектора, а «экономическое чудо», т. е. достаточно скромные показатели экономического роста (на фоне, скажем, Китая или Вьетнама) в 2000-х гг. были достигнуты за счет сырьевого экспорта при благоприятной конъюнктуре мировых цен на энергоносители. В подобных довольно уязвимых заключениях, как мне представляется, сработала именно инерция «оптимистического» подхода Б.Н. Миронова.

Пореформенное развитие в России автор также называет «экономическим чудом», одновременно указывая на политические, социальные, правовые и другие достижения этого периода. Естественно возникает вопрос: почему же страна взорвалась революциями? Б.Н. Миронов отвечает на него двояко. Он признает, что даже успешное в целом развитие не исключало ряда экономических, социальных и культурных проблем (малоземелья и аграрного перенаселения в центральных губерниях, асимметричности между городом и деревней, отставания доходов населения от растущих потребностей и др.) – проблем, порожденных именно процессами быстрой и успешной модернизации. Более того, модернизация принесла с собой «системный кризис» – «конфликт традиции и современности» (Миронов, 2013: 228). (К этим соображениям автора о развитии России под углом зрения проблематики модернизации я еще вернусь.)

Но непосредственной причиной революции (или революций) Б.Н. Миронов считает идеологическую и политическую активность оппозиционной интеллигенции, «борьбу за власть между различными группами элит». Именно радикально-демократическая интеллигенция (от кадетов до большевиков) «создала в стране атмосферу социального и политического кризиса, подготовила почву для революции и вывела народ на улицы... воспользовавшись недовольством, вызванным старыми проблемами, усугубленными бедствиями войны» (Миронов, 2015b: 733). Здесь второй пункт моих несогласий с Борисом Николаевичем.

По этому пункту я уже полемизировал с автором (Хорос, 2010: 169–172). Но тема столь важна, что не грех и повториться. Ведь речь идет об оценке всей демократической общественной мысли и оппозиционного движения в России. «...Полтора столетия в общественной мысли и науке (в России. – В. Х.), – считает Б.Н. Миронов, – удерживалась неадекватная фактам концепция кризиса», которая «превратилась в научную парадигму, т. е. в своего рода теорию и способ поведения в науке, в образец решения исследовательских задач... и почти обязательный алгоритм исследования. Императивность парадигмы обуславливается тем, что она существует в научном сообществе и поддерживается им. Если исследователь идентифицирует себя с сообществом, он должен придерживаться господствующей парадигмы, иначе он будет в нем белой вороной, более того – рискует быть исторгнутым из него. В рамках парадигмы кризиса анализировалось развитие российского общества в XVIII – начале XX в. и происходило *конструирование социальной реальности*, парадигма стала фоновым знанием, молчаливо принимаемым на веру как аксиома» (Миронов, 2013: 185). Особая роль в утверждении данной парадигмы принадлежала

Чернышевскому, Герцену и Огареву, которые посчитали, что в ходе реформы 1861 г. правительство и помещики «ограбили крестьян» (Миронов, 2013: 45). В результате «виртуальные факты», конструирование «искусственной действительности» стали «частью русской общественной жизни» (Миронов, 2010: 673). Это была, как выражается автор, «идеологическая аберрация», но имевшая серьезные последствия для революционных событий в стране.

Конечно, в общественном мнении, науке, публицистике всегда в той или иной мере имеет место «идеологическая аберрация», инерция, проявления некритического восприятия каких-то «ходовых» идей, приобретающих влияние. Политическая и социальная борьба, столкновение различных мнений и групповых пристрастий не обходится без пережестов и крайностей, неадекватность которых выявляется потом. Точно так же любые теории или концепции – это «искусственные конструкции», «виртуальные факты», лишь частично воспроизводящие реальную жизнь. Но значит ли это, что подобные теории или «парадигмы» – а речь идет об идейных направлениях, существовавших многие десятилетия и отражавших интересы крупных социальных слоев, – существовали как бы помимо реальной действительности, не имели своего исторического основания, не обладали определенной объяснительной силой?

У автора вольно или невольно получается, что «полтора века» (т. е. начиная с А.Н. Радищева) оппозиционная демократическая мысль формировалась и реализовывалась как предвзятая, специально нагнетающая напряжение в обществе. Но что двигало оппозиционные демократические силы в России – от А.Н. Радищева, декабристов, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского до Н.В. Шелгунова, Н.К. Михайловского, М.М. Стасюлевича, Н.Ф. Анненского, А.В. Пешехонова и многих, многих других? Сначала – борьба за отмену крепостного права, затем – за более последовательное преодоление его пережитков, за облегчение положения трудящегося населения, за бессловесное общество, за политические свободы и т. д. Разве у «несогласных» не было оснований, чтобы бить тревогу и критиковать те или иные действия властей?

Б.Н. Миронов упрекает А.П. Чехова за «крайнее выражение» безрадостной картины тогдашней российской деревни в повести «Мужики» (Миронов, 2015b: 330). Но Антон Павлович был человек, что называется, вне всяких партий, он просто писал, что видел, не боясь при этом остракизма со стороны «сообщества». И примерно так же видели тогдашнюю российскую действительность многие крупные писатели той поры: В.Г. Короленко, А.М. Горький, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин и другие; причем они подмечали не только и не столько материальные лишения, сколько другой негатив – грубость человеческих отношений, кризис моральных ценностей, духовную ограниченность и прогресс. Надо ли считать это стремлением подыграть радикалам?

У автора заметно стремление развенчать оппозиционных деятелей, особенно революционеров. Он согласен с неким А.М. Мелиховым, что они примыкали к «оппозиционному движению, дабы «преодолеть ужас собственной ничтожности», «примкнуть к какому-то большому и красивому делу» (Миронов, 2013: 188). Конечно, в любом общественном движении всегда немало случайных попутчиков, негативных персонажей или даже монстров типа Нечаева и Верховенского. Но достаточно почитать, к примеру, мемуары В.Н. Фигнер и некоторых других, чтобы убедиться, что в оппозиционную борьбу людей приводили не жажда власти или желание убежать от «собственной ничтожности», а бескорыстие и самоотверженность, стремление помочь трудящемуся человеку, привнести в жизнь идеалы социальной справедливости – пусть это порой выглядело прекраснодушным и утопизмом.

По Б.Н. Миронову, на российской политической сцене в революционную эпоху все решалось в противостоянии элит и контрэлит. Безусловно, роль элит в политической жизни трудно отрицать, изучение этой проблематики ведется еще со времен В. Парето (на которого, в частности, ссылается автор). Но ведь элиты ведут политическую борьбу, привлекая к поддержке массы, классы, стремятся исходить из их интересов. Если элитам удастся так или иначе уловить, выразить эти интересы, то массы идут за ними; если нет, их ждет политическое фиаско. Рассмотрение элиты вне связи с массами (или же взгляд на массы как на простой объект манипулирования со стороны элит) ведет к искажению реальной картины. К сожалению, наш автор порой соскальзывает на этот путь – скажем, сравнивая революционные события в России с современными «оранжевыми» или «цветными» революциями, которые на деле не являются революциями, но действительно

результатом дирижирования протестными акциями со стороны умелых подстрекателей в эпоху, когда технические средства манипулирования общественными настроениями многократно возросли.

Я полагаю, что имеется немало серьезных исторических трудов – и отечественных, и зарубежных, – которые документируют массовое, «народное» качество российских революций начала XX в., их импульс не только «сверху», но и «снизу». Ограничусь свидетельством такого вдумчивого наблюдателя событий того времени, как М.М. Пришвин. В октябре 1917 г. он (кстати, относившийся тогда весьма критически к большевикам), писал в своих дневниках «о непонимании большевистского нашествия, которое... все еще считают делом Ленина и Троцкого», но «не понимают, что вожди тут не причем и нашествие это не социалистов, а первого авангарда армии за миром и хлебом, что это движение стихийное», что оно «началось с первых дней революции, и победа большевиков была уже тогда предопределена» (Пришвин, 1991: 386). Здесь все акценты расставлены четко – и массовый, «низовой» характер российской революции, и причины победы в ней одной из «контрэлит».

Понимание глубинного и в этом смысле объективного характера революции 1917 г. принципиально важно, потому что до сих пор в работах историков и в особенности публицистов (типа Сванидзе) муссируется версия «октябрьского переворота» за немецкие деньги и т. п. – вообще о неадекватном поведении, ошибках или преступлениях радикальных деятелей, повернувших колесо национальной истории в другую сторону. Некоторые признаки такого подхода присутствуют и в работах Б.Н. Миронова (ссылки на сотрудничество кадетов с японской разведкой, провоцирование перед Февральской революцией массовых беспорядков и пр.). Может быть, исходя из преувеличения роли элит в революционных событиях, их возможности повернуть эти события «туда или сюда» он как бы молчаливо допускает, что в феврале – октябре 1917 г. революции могло бы и не быть или что ее течение могло сложиться иначе. Во всяком случае он ставит вопрос о том, как могла бы развиваться Россия без революции и социализма. Он считает, что если бы в 1917 г. удалось немного потерпеть и Россия «попала бы в число победителей», то развитие страны пошло бы легче и успешней, человеческий капитал не был бы растрочен в Гражданской войне и т. д.

В принципе я вполне признаю альтернативный подход в исторической науке, и сам использовал его в своих работах (Хорос, 1996). Согласен, что без революционных потрясений был бы возможен прогресс с меньшими издержками. Как говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но ведь революция все-таки произошла, и произошла неслучайно. Ее вызвали к жизни не только социальные проблемы и тяготы войны тех лет, но и накопленный протестный потенциал еще со времен крепостного права. Конечно, радикалы приложили руку к разжиганию страстей. Но вспомним хотя бы, что события 1917 г. стали неожиданностью для Ленина и его соратников, которые уже не чаяли, что доживут до революции. А реально возник громадный взрыв снизу, разлом общества, приведший к хаосу и безвластию. Большевики не узурпировали власть, а скорее подобрали ее, так же как сумели оседлать радикальную массовую волну и одержать победу в Гражданской войне. Короче говоря, когда мы имеем дело с масштабными историческими процессами, тектоническими сдвигами в социуме, не вполне работает подход по типу «лучше, чтоб было иначе». Издержки здесь неизбежны, хотя в каких-то конкретных рамках (скажем, проживи Ленин дольше и сняв Сталина) можно говорить о возможных альтернативах внутри этих в целом суровых или кризисных эпох.

Справедливости ради, Б.Н. Миронов не ограничивается темой борьбы за власть между различными группами элит, но выдвигает и другие, объективные причины революции. Помимо тех или иных социальных противоречий и последствий войны он рассматривает эти причины в рамках теории модернизации, т. е. исторического перехода от традиционного, аграрного типа общества к современному, индустриальному. Эти страницы его книги интересны и подтверждают, что на сегодня концепция модернизации лучше объясняет революционные процессы, чем формационная теория. Еще С. Хантингтон (на которого вполне обоснованно ссылается Б.Н. Миронов) в своих ранних работах показал, что даже (и именно) успешная модернизация сопровождается растущей конфликтностью в обществе, что возникает «прямая связь между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью» (Huntington, 1968: 51). Экономический, социальный, политический и культурный прогресс в ходе модернизации в то же время создает различного рода диспропорции – между городом и деревней, растущей индустрией и отсталым сельским

хозяйством, между различными стратами общества и т. п. Проследившая это в истории пореформенной России, Б.Н. Миронов фиксирует «травму социальных изменений», парадоксальную «аномию успеха», «конфликт традиций и современности» и констатирует в результате, что российское общество «не справилось с процессом модернизации», хотя последняя по ряду показателей шла вполне успешно (Миронов, 2015b: 689–690; Миронов, 2013: 227 и др.).

Со всем этим вполне можно согласиться. Но мне представляется, что Борис Николаевич проходит мимо одной важной вещи, которая имеет отношение к специфике российской имперской модернизации и причинам ее краха. Он справедливо относит Россию ко второму эшелону всемирного процесса модернизации – т. е. ареалу тех стран (помимо России – Японии, Турции, Китая и некоторых других), где предпосылки модернизации к моменту ее исторического старта были выражены слабее, чем на Западе, а институты традиционного общества были еще достаточно сильны. И в этих странах успех модернизации во многом определялся не только перениманием технологических и организационных достижений более развитых стран, но и тем, насколько продуктивным оказался синтез традиционных и современных институтов и ценностей, приспособление традиционного наследия к задачам модернизации. Важность такого синтеза хорошо видна на примерах Японии, Южной Кореи, Тайваня, нынешнего Китая, отчасти Индии, Малайзии и некоторых других стран, где при всех экономических и политических изменениях общество сумело сохранить свои цивилизационно-культурные основы, что помогло облегчить, гармонизировать модернизационные сдвиги.

Между тем Б.Н. Миронов отождествляет модернизацию (в частности, в России) с европеизацией. Он все время примеряет к России европейскую «линейку» и даже подсчитывает, на сколько лет она к 1914 г. отстала от европейского уровня по ВВП на душу населения, продолжительности жизни, численности учащихся, длине железных дорог и т. п. (Миронов, 2015b: 623–628). Но помимо количественных показателей важны еще и качественные, и они-то как раз связаны с сохранением (при всех изменениях) своего национального социокультурного «лица». Думается в связи с этим, что в России «конфликт традиций и современности» (который автор признает) имел более деструктивный характер, нежели в вышеназванных странах, и во многом поэтому, говоря словами того же Б.Н. Миронова, российское общество «не справилось с процессом модернизации». Не случайно в книге констатируется, что «большинство народа участвовало в революции во имя восстановления попорченных ускоренной модернизацией традиционных устоев народной жизни» (Миронов, 2015b: 609).

Могут сказать: Япония или Китай – цивилизации существенно отличные от европейской, а Россия гораздо ближе к Европе, и потому для нее естественна «европеизация». Собственно, Б.Н. Миронов, по-видимому, так и думает. Но является ли Россия по своим социокультурным характеристикам «европоподобным» обществом (даже оставляя в стороне вопрос о России как особой, отдельной цивилизации)?

Безусловно, за последние три века Россия взяла очень многое из европейской культуры, европейского опыта модернизации. И тем не менее по ряду своих базовых ценностей и институтов российское общество отличалось и отличается от Европы. И подтверждения этому можно найти у самого же Б.Н. Миронова. В заново написанной главе 12 «Русская культура в коллективных представлениях» (Миронов, 2015b: 371–589) автор воспроизводит основные элементы взглядов российского крестьянства на мир и общественные отношения, выделяя в них общинное и семейное начало, идеалы справедливости и равенства, «умеренность в труде и в жизни» и другие. Этот мировоззренческий комплекс не ограничивался крестьянством, через институт землячества он проникал в городскую среду социальных низов, купцов, мещан, в учреждения (кооперативы, профсоюзы). Под влиянием «народного мировоззрения» находилась «значительная часть русской интеллигенции второй половины XIX – начала XX в.». В целом, по мысли Б.Н. Миронова, можно говорить о «единой народной культуре», которая, как показывали опросы того времени, материалы литературы и прессы, была сравнительно мало затронута буржуазными ценностями индивидуализма, накопления и тому подобного. И это обстоятельство сыграло свою роль в революционных процессах в России.

В частности, социал-демократическая и народническая пропаганда, как считает автор, имели успех у трудящегося населения из-за их сходства с общинными ценностями. Точно

так же небуржуазное в целом (а в каких-то элементах антибуржуазное) сознание российской молодежи в начале XX в. «косвенно способствовало победе большевизма». А советская модернизация вообще, по словам Б.Н. Миронова, «сводилась к технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных институтов» (Миронов, 2015b: 381, 382, 384, 392, 393, 395, 402, 403, 414, 453, 714 и др.).

Все это свидетельствует не только об особенностях российской «догоняющей» модернизации, но и о культурно-исторической обусловленности революции в России. Более того, это относится не только к прошлому, но и к настоящему и будущему. Ибо все успешные «догоняющие» или «запоздалые» модернизации (не говоря уже о неуспешных) никогда не повторяли тот образец (Запад), который они «догоняли» – и во многом в силу цивилизационно-культурных факторов. Модернизируясь, Япония осталась Японией, Индия – Индией, Китай – Китаем, сохраняя свою цивилизационную «самость». Поэтому мне трудно согласиться с Борисом Николаевичем, полагающим, что «наше ближайшее будущее будет определяться европейской траекторией развития» (Миронов, 2015b: 630). Во-первых, сейчас в мире нет самостоятельной «европейской траектории», а есть доминирующая американская. Во-вторых, современный Запад далеко ушел от тех начал европейской цивилизации, к которым с таким пиететом относились образованные русские люди, – в сторону рыночного фундаментализма, «финансомики», манипулируемой демократии, растущих социальных диспропорций, крикливой массовой культуры. Целесообразно ли сегодня «догонять» такой Запад, «стать Европой», как призывают нас с 90-х гг. российские неолiberaлы? (Да ведь в каком-то смысле и «догнали», послушно встроились в миросистему на правах поставщика сырьевых ресурсов и пособников господства доллара.) Не дальновиднее ли нащупать свой путь модернизации, опирающийся на собственный цивилизационный фундамент, и в этом смысле «стать Россией» (что, понятно, не исключает сотрудничества с более развитыми странами и использования полезных элементов их опыта)?

На этом закончу, хотя хотелось бы поговорить еще о многом, на что наводит книга Б.Н. Миронова. Может показаться, что «пространство» моего спора с ним гораздо больше «пространства» согласия. Но это не так, и дело вообще не в этом. Колоссальный труд Б.Н. Миронова очень много дает нашей (да, наверное, и мировой) исторической науке, поскольку расширяет горизонты видения прошлого и настоящего, ставит важные и острые проблемы, ранее не замечаемые или замалчиваемые, обогащает методологию исторического познания. Поэтому самостоятельный концептуальный подход автора, оснащенный обширнейшим фактическим материалом, – это не только его право, но и заслуга. Мне, честно говоря, непонятно, почему исследования Б.Н. Миронова вызвали такую бурю комментаторского негатива, что ему пришлось отвечать на него отдельной книгой. Наверное, это следствие того разброда и «атомизации» российских людей, которые принесла с собой псевдолиберальная российская перестройка.

А что касается спорных моментов, то бесспорных исследований не бывает или это опусы, полные никому не нужных банальностей. В трудах Бориса Николаевича, слава богу, есть с чем спорить и – на серьезном уровне. Хочу пожелать ему завершить его штудии по российской модернизации анализом советской эпохи (да и постсоветского времени), потому что об этом до сих пор слишком много пристрастности и просто вранья. И – чтобы на это хватило сил.

Литература

Миронов, 1999 – *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

Миронов, 2010 – *Миронов Б.Н.* Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. М.: Новый Хронограф, 2010. 848 с.

Миронов, 2013 – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015a – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

- [Миронов, 2015b](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- [Пришвин, 1991](#) – *Пришвин М.М.* Дневники. 1914–1917. М.: Московский рабочий, 1991. 448 с.
- [Хорос, 1996](#) – *Хорос В.Г.* Русская история в сравнительном освещении. М.: Центр гуманитарного образования, 1996.
- [Хорос, 2000](#) – *Хорос В.Г.* Оглянись, понимая // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 380–396.
- [Хорос, 2010](#) – *Хорос В.Г.* О причинах российской революции // Полис: Политические исследования. 2010. № 5. С. 161–175.
- [Huntington, 1968](#) – *Huntington S.P.* Political Order in Changing Societies. Princeton: Jale University press, 1968.

References

- [Khoros, 1996](#) – *Khoros V.G.* Russkaya istoriya v sravnitel'nom osveshchenii [Russian history in comparative perspective]. Moscow: Center for Humanitarian Education, 1996 [in Russian].
- [Khoros, 2000](#) – *Khoros V.G.* Oglyanis', ponimaya [Let you look back, with understanding] // Novoe literaturnoe obozrenie [The New literature review]. 2000. Nr 45, pp. 380–396 [in Russian].
- [Khoros, 2010](#) – *Khoros V.G.* O prichinakh russkoi revolyutsii [About reasons of the Russian revolution] // Polis: Politicheskie issledovaniya [Polis: Political studies]. 2010. Nr 5, pp. 161–175 [in Russian].
- [Mironov, 1999](#) – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].
- [Mironov, 2010](#) – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. Moscow: Novyi Khronograf, 2010. 848 p. [in Russian].
- [Mironov, 2013](#) – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nравы v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].
- [Mironov, 2014](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- [Mironov, 2015a](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- [Mironov, 2015b](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- [Prishvin, 1991](#) – *Prishvin M.M.* Dnevnik. 1914–1917 [The diary. 1914–1917]. Moscow: Moskovskii rabochii, 1991 [in Russian].
- [Huntington, 1968](#) – *Huntington S.P.* Political Order in Changing Societies. Princeton: Jale University Press, 1968.

УДК 94(47)

Исторический оптимизм Б.Н. МироноваВладимир Георгиевич Хорос^{а, *}

^а Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Российская Федерация

Аннотация. У автора есть опыт размышлений по поводу других трудов Б.Н. Миронова. И на этот раз мнение рецензента в целом позитивное. Вместе с тем ряд пунктов вызывает возражения. Рецензент согласен с главной идеей книги Б.Н. Миронова: в истории имперской России XVIII – начала XX в. не было перманентного кризиса и обеднения трудящегося населения. Революции начала XX в. надо объяснять иными причинами. Этот тезис является несомненной заслугой историка. Прошлое России в его освещении предстает более сложным и реалистичным по сравнению с предшествующими работами как отечественных, так и зарубежных специалистов. Интересной чертой подхода Миронова является исторический оптимизм – интерпретация российской исторической эволюции как успешной. Правда, иногда исторический оптимизм автора выглядит чрезмерным. Основные критические замечания следующие. Во-первых, преодолевая одну крайность (перманентный кризис в России), Б.Н. Миронов в той или иной степени впадает в другую крайность – недооценку тех социальных и культурных проблем российского общества, которые стимулировали революционные настроения. Во-вторых, есть элементы преувеличения роли интеллигенции как субъекта революции, чрезмерно негативные ее характеристики и вместе с тем недооценка протестного импульса снизу, народного характера русской революции 1917 г. В-третьих, несмотря на ряд интересных соображений о процессе модернизации в России, Б.Н. Миронов отождествляет российскую модернизацию с вестернизацией («европеизацией»). Но сам же Миронов правомерно показывает различие европейских и российских цивилизационных ценностей. Их несоответствие и послужило одной из причин российской революции. Но даже эти несогласия с Б.Н. Мироновым свидетельствуют о творческом характере его книги и ее большом значении для нашей исторической науки.

Ключевые слова: российская империя; модернизация; русская революция; европеизация; традиция и современность; исторический оптимизм; интеллигенция; европейская траектория; конструирование социальной реальности; цветные революции.

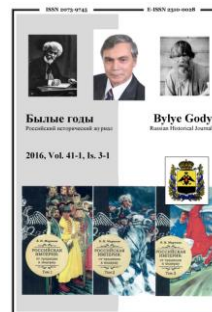
* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: khoros@imemo.ru (В.Г. Хорос)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 857-866, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

Analytism against Empiricism: Reflections on the New Book by B.N. Mironov

Lyudmila N. Mazur ^{a, *}

^a Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Russian Federation

Abstract

The article analyzes Boris N. Mironov's monograph "The Russian Empire: From Tradition to Modernity," and discusses the features of the author's style and methodology. The article focuses on the three main issues:

(1) Consideration of the features of an analytical work, to which category Mironov's book belongs. It has been suggested that empirical (concrete historical) and analytical (generalizing) works represent different categories of research, but have equal value, that is, they cannot be counter posed. If empirical study is focused on a complete and systematic description of historical events, then analytical study is focused on the identification of patterns and the examination of trends.

(2) The advantages and disadvantages of the integrated methodology used in the monograph for the interpretation of historical material. It is noted that one of the possible consequences of conceptual instrumentalism and pluralism is the confusion related to different terminological systems, which affects the correct perception of the information by the reader.

(3) The role of historian in creating historical myth. Focusing on the "positive" or "negative" approach to the assessment of historical events and processes contributes to the creation of historical myths because of their emotional connotation. Historians are actively involved in the formation and mythologizing of historical consciousness: in contrast to the Soviet myth of the Russian Empire as a "prison of peoples" and a country of "poverty and injustice", there is today a myth of "achievements," demanded by society.

Keywords: history of the Russian Empire; methodology of research; methods of research; analyticism; empiricism; population; family; urbanization; historical myth; modernization.

Обобщающий комплексный научный труд по социальной истории России имперского периода – важное событие в отечественной науке. Для появления таких работ требуется счастливое стечение нескольких обстоятельств: во-первых, достижение определенного уровня накопления информации и знаний по рассматриваемой теме; во-вторых, способность автора к проведению аналитического обобщения, предполагающего глубокое знание как источников, так и историографии по избранной теме; в-третьих, наличие авторского взгляда на рассматриваемые события или явления. А в случае, когда речь идет о комплексном подходе к репрезентации истории огромной страны на протяжении нескольких веков, важен не просто авторский взгляд, а концептуальное переосмысление данного периода истории, стремление найти свой ответ на «больные» вопросы.

* Corresponding author

E-mail addresses: Lmaz@mail.ru (L.N. Mazur)

Применительно к имперской истории – это оценка результатов развития Российской империи в XVII – начале XX в. и причин Революции 1917 г.

Рецензируемый труд, вышедший в свет в трех томах, можно рассматривать как закономерный результат всей предшествующей творческой деятельности Б.Н. Миронова, отразивший его авторскую манеру работы с исторической информацией, методологические подходы к пониманию социальных процессов и видение прошлого. Издание «Российской империи...» опирается на более ранние работы Б.Н. Миронова (Миронов, 1990; Миронов, 2010; Миронов, 2013) и прежде всего на его неоднократно переиздаваемый двухтомный труд «Социальная история России периода империи...» (Миронов, 1999; Миронов, 2000; Миронов, 2003). Однако новая монография не дублирует их, а уточняет, дополняет и расширяет.

В центре внимания Б.Н. Миронова находятся такие базовые понятия социальной истории как «население», «общество» и «власть». Им посвящены первые два тома (Миронов, 2014; Миронов, 2015а). Третий том (Миронов, 2015б), в некотором смысле итоговый, содержит ответы на наиболее дискуссионные вопросы российской истории: о месте и роли российского государства; причинах и характере русских революций; особенностях российского общества имперского периода. Все главы монографии и сюжетные линии работают на доказательство нескольких основных тезисов:

1) благосостояние населения России в период империи неуклонно росло, экономика и общество развивались, т. е. модернизацию следует признать успешной (Миронов, 2015б: 680–686);

2) ускоренная модернизация сопровождалась большими издержками, в том числе увеличением социальной и межэтнической напряженности, ростом конфликтности и насилия. Общество из-за форс-мажорных внутренних и внешних обстоятельств не справилось с процессом перехода от традиции к модерну (Миронов, 2015б: 689–691);

3) революции начала XX в. были обусловлены не столько социально-экономическими, сколько политическими факторами; их застрельщиками выступила интеллигенция (Миронов, 2015б: 733);

4) российская революция 1917 г. была антимодернистской, поскольку нарушила прогрессивный ход развития российского общества (Миронов, 2015б: 608).

Это неполный перечень положений, к которым в ходе своих исследований приходит автор. Интересные выводы содержит каждая из 12 глав, в концентрированном виде они изложены в главе 13 и Заключение. Не все идеи автора принимаются сразу. Многие уже обсуждались историческим профессиональным сообществом (Ахиезер, 2000; Круглый стол, 2000; Согрин, 2002), другие еще будут обсуждаться, поскольку перед нами не просто обобщающее исследование, а острополемический текст, в котором с «цифрами в руках» Б.Н. Миронов отстаивает свое мнение по узловым проблемам российской истории. И оно часто идет вразрез с представленными в исторической науке точками зрения.

Характерной чертой рассматриваемой работы является опора на отечественную и зарубежную историографию, которая нужна автору не только для показа сложившихся в науке подходов к изучению рассматриваемых проблем, но и для формирования информационной базы исследования. Выводы Б.Н. Миронова основаны преимущественно на изучении опубликованных исторических источников и научной литературы. Это замечание не снижает ценности проведенной работы, но служит для уточнения характера исследования – перед нами *аналитический проект с опорой на историографические источники, нацеленный на изучение процессных явлений* в их комплексе и взаимосвязи с акцентом на выделении общих трендов, закономерностей и качественных состояний/оценок.

Несмотря на то что монография содержит преимущественно фактографию второго уровня, т. е. уже введенную в научный оборот, а значит, критически осмысленную, Б.Н. Миронов подвергает тщательному анализу все используемые данные. В монографии нашли отражение несколько уровней работы с информацией – источниковедческий, методический и интерпретационный, что позволяет получить полное представление о творческой лаборатории исследователя. Такое отношение к используемой исторической информации заслуживает уважения и свидетельствует о высоком профессионализме.

Монография носит выраженный дидактический характер, недаром труд открывается посвящением студентам «бывшим, настоящим и будущим», приглашая читателя вместе с автором обсудить все основные проблемы изучения истории Российской империи и прежде

всего историографические подходы и источниковую базу. Раскрывая информационный потенциал исторических источников, Б.Н. Миронов последовательно анализирует все их особенности и недостатки. Особое внимание в монографии уделено критике массовых источников – ревизских сказок, данных метрического и административного учета населения и пр. Очень интересна предложенная автором методика «исправления» искаженных данных демографической статистики с использованием математических методов.

Импонирует стремление Миронова как можно более четко обозначить свой методологический статус – те подходы, которые были им использованы для интерпретации и объяснения исторического материала.

Все перечисленные моменты в совокупности раскрывают многомерность и комплексность проведенного исследования, которое позволяет каждому читателю почерпнуть из монографии что-то новое, интересное и полезное для себя.

Каким должно быть историческое исследование?

Среди многообразия затронутых в монографии сюжетов особого внимания заслуживают методологические и среди них вопрос о том, каким должно быть историческое исследование. Сам Б.Н. Миронов является сторонником *аналитической* истории, ориентированной на изучение закономерностей и тенденций. В Предисловии он пишет: «Тенденции, смысл и значение исторических событий становятся понятными в контексте: во-первых, истории всеобъемлющей, но рассмотренной под социальным и антропологическим углом зрения, во-вторых, в рамках длинных или средних периодов» (Миронов, 2014: 27). Именно на таком исследовательском подходе настаивает ученый, предвзято возражая оппонентов и обосновывая свою правоту не в мелочах, но в основных, базовых выводах.

Отличительными чертами рассматриваемого труда, определяющими творческую манеру автора, являются:

- *анализм*;
- обобщающий характер с упором на изучении *процессных явлений*, а не событий;
- ярко выраженная *методико-методологическая рефлексия*;
- *концептуализм* (синтез эмпиризма и рационализма).

Вслед за Ф. Броделем, который делил «историческое время» на три уровня: короткое время (событийная история); средней длительности, или циклическое время (история процессов); длительное время (история мегаобъектов) – и рассматривал последнее как наиболее содержательный объект для анализа, Б.Н. Миронов сосредоточивает свое внимание на категориях среднего и длительного времени. Конкретно-исторические исследования Борис Николаевич относит к «поверхностному» уровню событийной истории, подчеркивая, что «при изучении коротких периодов затруднительно, если невозможно, разглядеть долговременные изменения и тенденции» (Миронов, 2014: 27). Полемический запал автора понятен, но такое противопоставление едва ли оправданно. Аналитическая история (изучение закономерностей в длительной ретроспективе) невозможна без конкретно-исторических исследований; причем, по мнению Ф. Броделя, «кратковременность – наиболее капризная, наиболее обманчивая из всех форм деятельности. Поэтому у некоторых историков складывается настороженное отношение к традиционной истории, так называемой истории событий» (Бродель, 1977: 120).

Событийная история является основой для обобщающих трудов (что продемонстрировал в своей работе Б.Н. Миронов, активно используя работы российских и зарубежных историков для обоснования многих своих выводов). Поскольку информационный базис такого рода трудов составляют исторические источники, как правило архивные, а основные выводы и суждения опираются на их анализ и интерпретацию, вполне уместно говорить об *эмпиризме* как характерной черте конкретно-исторических исследовательских практик.

Обобщающие исследования их дополняют. Основная задача аналитических проектов – формирование целостных представлений о исторических мегаобъектах и объяснение исторических процессов. Изучение подобных тем требует от историка навыков обобщения огромных объемов исторических данных и склонности к *анализму*, который выражается в реализации аналитического подхода к научному исследованию и опирается на *методы типологии, моделирования, факторного, причинно-следственного и динамического анализа*, широко использованные Б.Н. Мироновым при изучении основных сюжетов.

Каждая из разновидностей исторического труда имеет свои плюсы и минусы. Возможности эмпирического исследования ограничены в широте выводов, но дают наиболее полную и системно выстроенную картину исторических событий и явлений, позволяющую учесть каждый факт. Аналитические исследования, напротив, способны на широкие обобщения, но уязвимы в мелочах: всегда можно найти факты, не вписывающиеся в логику абстрагированных суждений. Б.Н. Миронов это хорошо осознает, отмечая, что «преодоление фрагментарности знаний и выявление тенденций требуют жертвы деталями» (Миронов, 2014: 27).

В представленной монографии исследуются не просто мегаобъекты (Российская империя), предметом изучения выступают *процессные явления* – колонизация, социальная мобильность, демографические процессы, расселение, материальное благосостояние и пр., которые стоят над событийной историей и иллюстрируются динамическими рядами. Это наиболее уязвимый аспект работы – обоснованность отбора статистических данных, надежность используемой информации и ее достаточность для доказательных выводов. Если первые два момента вполне успешно контролируются автором, то третий нередко оказывается вне зоны внимания. «Жертва деталями» неизбежно ведет к упрощению исторической реальности, а в крайних вариантах может способствовать утрате историчности. Так, например, в главе 5 монографии, анализируя динамику развития сельской поселенческой сети, Б.Н. Миронов использует для иллюстрации своих выводов сглаженный 40-летний тренд, в результате чего отрицательная динамика численности сельских поселений фиксируется с 1917 г. (Миронов, 2014: 801), хотя рост их числа в России продолжался до конца 1930-х гг. и только после войны началось сокращение (Мазур, 2012: 47). Смещение вроде бы незначительное, но оно заметно специалистам. Не сомневаюсь, что автор столь масштабного труда прекрасно осознает свою уязвимость: огромное количество предложенной читателю информации дает широкий простор для критических замечаний.

Все элементы рассматриваемого исторического труда, начиная от определения объекта исследования, методов и завершая выводами, нацелены на выявление исторических закономерностей и придают ему черты *аналитического исследования*, определяя достоинства и недостатки проделанной работы. Достоинства здесь очевидны, а недостатки прогнозируемы. Сторонник эмпирической истории будет испытывать нехватку описательности, событийного нарратива. Осознавая этот запрос, Б.Н. Миронов стремится выполнить его за счет соблюдения правила «триединства», т. е. сочетания текста, статистики и иллюстраций. Плотность статистических таблиц и «картинок» в монографии очень высока: они встречаются едва ли не на каждой странице, выполняя функции переключения и поддержания внимания и представляя собой самостоятельный информационный ресурс. Особо следует отметить стремление автора к визуализации истории: в монографии используются портреты, фотографии, репродукции картин, иллюстрирующие основные сюжетные линии. Несмотря на монохромную печать, они удачно оживляют текст, способствуют визуальной конкретизации аналитической информации, добавляя ощущение прикосновения к истории.

«Когда б Вы знали, из какого сора растут цветы...»¹: методология как инструмент исторического исследования

Не менее интересен теоретико-методологический аспект рассматриваемой работы. Базовый подход к подаче и анализу исторической информации, который использует Б.Н. Миронов, задается уже в названии монографии, где есть указание на режим восприятия автором исторического материала: «от традиции к модерну». Модернизация – один из наиболее часто встречающихся в монографии терминов, используемых для концептуализации всех изучаемых процессов, начиная от колонизации и демографического поведения и завершая культурой. Весь фактографический материал препарирован в контексте модернизационной парадигмы и оценен в соответствии с ней, т. е. с позиций прогресса и поступательного движения вперед.

Осознавая недостаточность объяснительного потенциала теории модернизации для интерпретации всех явлений, Б.Н. Миронов расширяет свою методологическую базу за счет привлечения других теорий и декларирует в качестве основного «интегральный»

¹ Строчка из стихотворения А. Ахматовой использована Б.Н. Мироновым в качестве эпиграфа к Введению в 1-м томе.

(неоклассический) подход, основанный на аналитико-экспериментальной переработке различных объяснительных концепций (формационного, цивилизационного, модернизационного, мир-системного, институционального и синергетического подходов, а также постмодернизма), выявлении в них рациональных зерен и применении для оценки изучаемых явлений. Мне такая позиция понятна и близка, я всячески приветствую десакрализацию теоретического знания и перевод его в разряд инструментальных практик.

Вместе с тем инструментальность и плюрализм методологического арсенала также имеют свои плюсы и минусы. Достоинства хорошо показаны Б.Н. Мироновым и рационально обоснованы, а вот недостатки не отмечены. К угрозам методологического инструментализма следует отнести: во-первых, возможность «незавершенности» объяснительного акта, который в контексте используемого методологического подхода должен привести к уточнению и иллюстрации историческими примерами базовых терминов; а во-вторых, опасность смешения понятий, а иногда искажения понятийного аппарата.

Так, например, рассматривая в главе 4 процессы модернизации российской семьи, автор фактически уходит от ожидаемого уточнения понятий «традиционная» и «современная» семья, подменяя их характеристикой «патриархальной» и «демократической» семьи: типология остается незавершенной. Аналогичная ситуация складывается в главе 5, объектом которой выступают процессы модернизации города и деревни. Б.Н. Миронов отмечает, что «нет ясности относительно уровня урбанизации России» (Миронов, 2014: 517), поскольку нет возможности оценить ни количество городского населения, ни городов. Видимо, в силу этого автор не обращается к базовым проблемам истории урбанизации (в частности, выделению ее стадий, связанных с переходом от аграрного/традиционного к индустриальному и интегрированному расселению), уточнению исторических критериев и содержания понятия. Все внимание в главе сосредоточено на второстепенных вопросах типологии российского города XVII–XIX вв., механизмах его взаимодействия с сельской местностью.

Между тем при изучении урбанизации как исторического явления на первый план выходит проблема ее периодизации, в основе которой лежит вопрос о начале, отправной точке урбанизационных изменений. И хотя зафиксировать точную дату принципиально невозможно, но дать хотя бы относительные ориентиры необходимо. Иначе нет смысла говорить о каких-то существенных характеристиках, особенностях, стадиях этого процесса, его результатах и перспективах. Существуют два основных методологических подхода к периодизации урбанизации – мир-системный и модернизационный. Первый рассматривает урбанизацию как процесс создания и развития городов вообще, а его начало восходит к IV в. до н.э. В рамках модернизационного подхода урбанизация понимается как процесс кардинальной перестройки общества на городских началах, связанный с переходом от аграрного общества к индустриальному, и не совпадает с представлениями об историческом развитии городов. Остается неясным, какой точки зрения придерживается Б.Н. Миронов.

В результате смешения понятий, относящихся к различным терминосистемам, возникают невольные искажения в восприятии читателем процессов урбанизации. Это касается употребления понятий «интеграции взаимодействия города и деревни» и «интегрированное расселение». Первое используется автором для характеристики связей между городом и сельской местностью во второй половине XIX в. Оно пересекается с понятием «интегрированное расселение», используемым в урбанистике для обозначения структур, относящихся к мегаполисам и агломерациям. Появление интегрированного расселения в России фиксируется специалистами на несколько десятилетий позднее – в начале XX в. (Лаппо и др., 2010).

Интереснейшая глава об эволюции сословий и внутрисословной мобильности, где особое внимание уделено понятийному аппарату, также не лишена противоречий. Это касается, в частности, использования терминов «класс», который в отечественной науке прежде всего ассоциируется с марксизмом, а также «страта», взятого из более поздних социологических теорий. Б.Н. Миронов придерживается определения понятия «класс», предложенного П. Бурдьё, и связывает становление классов в России с профессионализацией (Миронов, 2014: 461) и трансформацией сословий (Миронов, 2014: 479). Для характеристики социальной структуры российского общества им используется также понятие «стратифицированные типы», усложняя и без того запутанную картину. Основной итог эволюции социальной структуры изложен в схеме социальной

стратификации российского общества начала XX в., в которой в качестве *классов* выделены *высший, средний, «синие воротнички» и низший (социальное дно)* (Миронов, 2014: 463–464). Данная классификация используется в зарубежной социологии и опирается в своей основе на показатели дохода. В связи с этим возникает немало вопросов: о критериях отнесения населения к той или иной страте помимо профессии и сословия. И самое главное: насколько такая схема исторична? Социальная структура основана не только на механизмах дифференциации, но и идентификации, в том числе самоидентификации, позволяющих человеку иметь представление о «своем месте» в общественной иерархии, которое в изучаемый период определялось сословным делением. Вряд ли кто из рабочих конца XIX в. идентифицировал себя как «синий воротничок». Более того, общественному сознанию начала XX в. была ближе марксистская теория классов, и антогонизм пролетариата и буржуазии воспринимался обществом того времени как социальная реальность.

Исследование социальной иерархии американского города было проведено У. Уорнером в 1930–1950-е гг. и отражало другую социальную действительность (Уорнер, 1997), адаптировать его схему «социальных классов» к позднеимперскому периоду очень сложно и требует проработки классификации в терминах того времени. В результате предложенная Б.Н. Мироновым схема классов весьма любопытна, но представляет собой теоретическую конструкцию, эпистемологический смысл которой для понимания структуры позднеимперского общества не вполне очевиден.

В целом, приветствуя познавательные возможности методологического инструментализма, все же хочется обратить внимание на его издержки, среди которых особое место занимает проблема терминологии. Каждая концепция оперирует своим понятийным аппаратом, их смешение и параллельное использование терминов из разных терминологических систем затрудняет понимание и использование полученных выводов, включение их в историографический контекст.

О задачах истории и историка

Еще один вопрос, на котором хочется остановиться особо, касается роли истории и историка. В предисловии к монографии автор определяет свою позицию как «исторический оптимизм» (Миронов, 2014: 17) и рассматривает «клиотерапию» в качестве надежного лекарства от «исторического пессимизма» – негативного восприятия результатов социально-экономического и политического развития Российской империи. В заключительном томе Б.Н. Миронов подчеркивает: «Необходимо создать новое адекватное позитивное прошлое, и оно должно стать письменным научным текстом, памятниками монументального искусства, живописи, кино и литературы. Только так новое объективное позитивное прошлое может стать частью не только исторического коллективного сознания, но и индивидуального сознания» (Миронов, 2015b: 724).

Стремление автора монографии сформировать *позитивный образ* имперской истории можно считать вполне реализованным, но это имеет весьма неоднозначные последствия: во-первых, образ всегда обращен к чувствам читателя, его эмоциональному восприятию прошлого; во-вторых, такой подход редуцирует научный взгляд на исторические процессы до бинарной оппозиции «хорошо – плохо» и способствует формированию *исторического мифа*.

Складывается любопытная ситуация: борясь против сложившихся в историографии мифов (отечественных и зарубежных), созданных еще в советскую эпоху и «унижающих национальное достоинство России», автор создает свой миф – *миф «достижений»*. Может быть, в этом есть своя закономерность, связанная с использованием «симметричных» методов борьбы: победить миф может только другой миф, сконструированный как антитеза на принципах контраста. Особую убедительность выводам Б.Н. Миронова придает постоянное применение «строгих» научных методов – количественного анализа, математической статистики. В результате мы получаем вариант «рационального» мифа, обращенного не только к чувствам, но и к разуму читателя.

Героем нового конструируемого автором мифа выступает государство, которое, играя роль хорошего хозяина, а в некоторых случаях «коменданта общежития», стремится поддерживать баланс в обществе и обеспечивать его развитие. В «Итогах развития...» Б.Н. Миронов делает вывод: «Не революционное движение, а верховная власть и правящий класс являлись двигателями прогресса в городе и деревне. В течение двух столетий, XVIII–XIX вв., в стране не возникало революционных ситуаций; реформы проходили по “манию

царя» (Миронов, 2015b: 651). Антигероем мифа выступают элиты, маргиналы-рабочие, национальные движения, революционеры и особенно интеллигенция, которые, борясь за свои интересы, мешают стабильному развитию страны и, в конечном счете, становятся виновниками революционных потрясений (Миронов, 2015b: 651), а причина революции видится в «социальной и культурной асимметрии», породившей социальное напряжение, усиленное Первой мировой войной.

В этих суждениях есть много правды. Трагическую роль интеллигенции в судьбе русской революции в свое время показал еще Н.А. Бердяев (Бердяев, 1991; Бердяев, 1998 и др.). Мало кто сегодня будет отрицать достижения российского общества на путях модернизации, в том числе результаты индустриализации, либерализацию политической жизни, рост уровня жизни. Роль государства как проводника реформ сегодня также признана многими, в том числе благодаря трудам Б.Н. Миронова. Все это правда, но правда, приобретающая черты «абсолютного» знания, а значит мифа.

Сила любого мифа, как отмечает А.Ф. Лосев, состоит в том, что о нем «ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии... Он – не выдумка, а содержит в себе строжайшую и определенной структуры и есть логически, т. е. прежде всего диалектически, необходимая категория сознания и бытия вообще» (Лосев, 1990). Миф всегда правдоподобен и убедителен; более того, он отражает ту правду, в которую хочется верить, поскольку она соответствует внутренним потребностям общества (т. е. тех, кому адресован миф), соответствует времени.

Положительная оценка результатов имперской модернизации, невзирая на все ее издержки, сегодня как никогда востребована обществом и на обыденном, и на управленческом уровне. Поэтому позиция и идеи Б.Н. Миронова должны найти широкую поддержку, особенно среди учителей, перед которыми остро стоит задача воспитания патриотизма в подрастающем поколении. Сложнее обстоит дело с теми представителями профессионального исторического сообщества, которых не устраивают упрощенно «позитивные» или «негативные» выводы, поскольку сама по себе природа исторических процессов, а тем более переходных периодов очень сложна и многогранна.

В заключение хочется подчеркнуть, что рассматриваемая научная работа представляет собой интереснейший документ, порожденный талантом и огромным трудом ученого. Рецензируемой монографии присуще очень важное качество – книга заставляет задуматься, еще и еще раз пересмотреть свои взгляды на имперское прошлое, которые иногда уместно обозначить обидным словом «стереотипы». Они свойственны не только «простым смертным», но и историкам.

По широте обсуждаемых вопросов, остроте их постановки и глубине анализа фундаментальный труд Б.Н. Миронова не имеет precedентов в современной отечественной науке. Энциклопедичность подачи материала с опорой на широкую библиографическую и источниковую базу позволяет использовать рецензируемое сочинение в самых разных режимах: 1) как учебник по методам работы с историческими данными; 2) как справочник-энциклопедию по социальной истории имперской России, где можно подчерпнуть историографическую, библиографическую, источниковедческую, методологическую, понятийную, фактографическую информацию по базовым сюжетам истории России XVII–XIX вв.; 3) в историографическом контексте монография представляет собой целостную, хотя и не бесспорную концепцию развития России при переходе от традиции к модерну, объясняющую ее исторический опыт. Так, несомненно оригинальны и интересны выводы о роли социально-экономических, политических, культурологических факторов Революции.

Особо следует отметить статистические таблицы и приложения, опубликованные автором, – это неоценимый ресурс, который будет востребован научным сообществом. Не сомневаюсь, что книга станет добрым помощником и источником новых идей не только для профессиональных историков, но также для учителей и студентов.

Литература

Ахиезер, 2000 – Ахиезер А.С. Специфика исторического опыта России: трудности и обобщения. Размышления над книгой Бориса Миронова // Pro et Contra. 2001. Т. 5, № 4. С. 209–221.

- Бердяев, 1991** – *Бердяев Н.* Новое средневековье: Размышление о судьбе России и Европы. М.: Феникс: ХДС-пресс, 1991. 81 с.
- Бердяев, 1998** – *Бердяев Н.* Духовные основы русской революции: Опыты 1917–1918 гг. СПб.: РХГИ, 1998. 432 с.
- Бродель, 1977** – *Бродель Ф.* История и общественные науки: Историческая длительность // *Философия и методология истории* / под ред. И.С. Кона; пер. Ю.А. Асеева. М.: Прогресс, 1977. С. 115–142.
- Круглый стол, 2000** – *Российский старый порядок: опыт исторического синтеза: материалы круглого стола* / сост. С. Секиринский // *Отечественная история*. 2000. № 6. С. 43–93.
- Лапшо и др., 2010** – *Лапшо Г., Полян П., Селиванова Т.* Городские агломерации России // *Полит.ру*. 2010. 16 февр. URL: <http://polit.ru/article/2010/02/16/demoscope407/> (дата обращения: 16.06.2016).
- Лосев, 1990** – *Лосев А.Ф.* Диалектика мифа. М.: Правда, 1990. 558 с. URL: <http://psylib.org.ua/books/losewo3/txt01.htm> (дата обращения: 16.06.2016).
- Мазур, 2012** – *Мазур Л.Н.* Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX–XX в.). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. 471 с.
- Миронов, 1990** – *Миронов Б.Н.* Русский город в 1740–1860-е гг.: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.: Наука, 1990. 272 с.
- Миронов, 1999** – *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.
- Миронов, 2000** – *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.
- Миронов, 2003** – *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.
- Миронов, 2010** – *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. М.: Новый хронограф, 2010. 911 с.
- Миронов, 2013** – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.
- Миронов, 2014** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.
- Миронов, 2015a** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.
- Миронов, 2015b** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- Согрин, 2002** – *Согрин В.В.* Клиотерапия и историческая реальность: тест на совместимость (Размышление над монографией Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи») // *Общественные науки и современность*. 2002. № 1. С. 144–160.
- Уорнер, 1997** – *Уорнер У.Л.* Социальный класс и социальная структура // *Рубеж: альманах социальных исследований*. 1997. № 10/11. С. 42–57.

References

- Akhiezer, 2000** – *Akhiezer A.S.* Spetsifika istoricheskogo opyta Rossii: trudnosti obobshcheniya. Razmyshleniya nad knigoi Borisa Mironova [Specifics of historical experience of Russia: difficulties of generalization. Reflections over Boris Mironov's book] // *Pro et Contra*. 2000. Т. 5, nr 4, pp. 209–221 [in Russian].
- Berdyayev, 1991** – *Berdyayev N.* Novoe srednevekov'e: Razmyshlenie o sud'be Rossii i Evropy [New middle ages: Thinking about the fate of Russia and Europe]. Moscow: Feniks: HDS-press, 1991. 81 p. [in Russian].
- Berdyayev, 1998** – *Berdyayev N.* Dukhovnye osnovy russkoi revolyutsii: Opyty 1917–1918 gg. [Spiritual foundations of the Russian revolution: The experiments of 1917–1918]. St. Petersburg: RKhGI [Russian Christian humanitarian Institute], 1998. 432 p. [in Russian].

Brodel', 1977 – *Brodel' F.* Istoriya i obshchestvennye nauki: Istoricheskaya dlitel'nost' [History and the social sciences: Historical duration] // *Filosofiya i metodologiya istorii* [Philosophy and methodology of history] / pod red. I.S. Kona; per. Yu.A. Aseeva. Moscow: Progress, 1977, pp. 115–142 [in Russian].

Kruglyi stol, 2000 – Rossiiskii staryi poryadok: opyt istoricheskogo sinteza: materialy kruglogo stola [Russian old regime: experience of historical synthesis: materials of the “round table”] / sost. S. Sekirinskii // *Otechestvennaya istoriya* [National history]. 2000. Nr 6, pp. 43–93 [in Russian].

Lappo et al., 2010 – *Lappo G., Polyani P., Selivanova T.* Gorodskie aglomeratsii Rossii [Urban agglomerations in Russia] // *Polit.ru*. 2010. 16 fevralya. URL: <http://polit.ru/article/2010/02/16/demoscope407/> (data obrashcheniya: 19.06.2016) [in Russian].

Losev, 1990 – *Losev A.F.* Dialektika mifa [Dialectics of myth]. Moscow: Pravda, 1990. 558 p. URL: <http://psylib.org.ua/books/losewo3/txt01.htm> (data obrashcheniya: 19.06.2016) [in Russian].

Mazur, 2012 – *Mazur L.N.* Rossiiskaya derevnya v usloviyakh urbanizatsii: regional'noe izmerenie (vtoraya polovina XIX–XX v.) [Russian village in the urban environment: a regional dimension (the second half of the 19th – 20th ages)]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo Universiteta [Publishing house of the Ural State University], 2012. 471 p. [in Russian].

Mironov, 1990 – *Mironov B.N.* Russkii gorod v 1740–1860-e gg.: demograficheskoe, sotsial'noe i ekonomicheskoe razvitie [Russian city in the 1740–1860-s: demographic, social and economic development]. Leningrad: Nauka, 1990. 272 p. [in Russian].

Mironov, 1999 – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].

Mironov, 2000 – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 2nd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2000. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].

Mironov, 2003 – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 3rd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].

Mironov, 2010 – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. Moscow: Novyi Khronograf, 2010. 848 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nnavy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Sogrin, 2002 – *Sogrin V.V.* Klioterapiya i istoricheskaya real'nost': test na sovmestimost' (Razmyshlenie nad monografiiei B.N. Mironova “Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii”) [Cliotheapy and historical reality: a compatibility test (Reflections on the “Social history of Russian Empire period” by B.N. Mironov)] // *Obshchestvennye nauki i sovremennost'* [Social sciences and modernity]. 2002. Nr 1, pp. 144–160 [in Russian].

Uorner, 1997 – *Uorner U.L. Sotsial'nyi klass i sotsial'naya struktura* [*Warner U.L. Social class and social structure*] // *Rubezh: al'manakh sotsial'nykh issledovaniy* [*Boundary: the almanac of social researches*]. 1997. Nr 10–11, pp. 42–57 [in Russian].

УДК 94(47)

Аналитизм против эмпиризма: размышления о новой книге Б.Н. Миронова

Людмила Николаевна Мазур^{а, *}

^а Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируется монография Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну», обсуждаются черты авторского стиля и методологии исследования. В центре внимания находятся три основных вопроса:

(1) Обсуждение особенностей аналитического труда, к категории которых относится монография Б.Н. Миронова. Высказывается мнение о том, что эмпирические (конкретно-исторические) и аналитические (обобщающие) труды относятся к разным категориям исследований, но имеют одинаковую ценность, т. е. их нельзя противопоставлять. Если эмпирическое исследование ориентировано на полное и системное описание исторических явлений, то аналитическое – на выявление закономерностей и изучение тенденций.

(2) Достоинства и недостатки интегральной методологии, использованной в монографии для интерпретации исторического материала. Отмечается, что одним из возможных последствий концептуального инструментализма и плюрализма выступает смешение понятий, относящихся к различным терминосистемам, что отражается на корректности восприятия информации читателем.

(3) Роль историка в создании исторических мифов. Ориентация на «позитивный» или «негативный» подход к оценке исторических событий и процессов в силу своей эмоциональной окрашенности способствует созданию исторических мифов. Историки активно участвуют в формировании и мифологизации исторического сознания: в противовес советскому мифу о Российской империи как «тюрьме народов» и стране «нищеты и бесправия» сегодня приходит востребованный обществом миф «достижений».

Ключевые слова: история Российской империи; методология; методика; аналитизм; эмпиризм; население; семья; урбанизация; исторический миф; модернизация.

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: Lmaz@mail.ru (Л.Н. Мазур)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 867-873, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 93(47)

Russian Imperial Modernization: The General and the Specific

Igor V. Poberezhnikov^{a, *}

^a Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Abstract

This article is devoted to the problem of the distinctiveness of Russian modernization in connection with a discussion of Boris Mironov's new monograph, "The Russian Empire: From Tradition to Modernity". There are different theoretical interpretations of the processes of modernization as the transition from traditional to modern society. According to one point of view, the process of modernization is subject to universal laws and is realized according to the same model. In this context it becomes possible to single out a certain standard, to which national variants of modernization can be compared. According to the other point of view, there are various national variants of modernization, caused by national cultural and other features. In the second case the selection of a standard becomes contentious. Mironov is closer to the first point of view. In comparison with with the standard model of modernization (which is associated with Western civilization), he draws conclusions about the basic identity of the Western and Russian paths of development, and about the normal, successful, and effective course of Russian modernization. Recognizing that Mironov's interpretation looks more convincing than various versions of Russian pseudo-modernization, the author of the given article turns his attention to the complexity of the first approach in the interpretation of modernization: the underestimation of accident and uniqueness in history; the underestimation of temporal, spatial, and situational variabilities of modernization; underestimation of network effects; and the problematical character of comparison to "the West," which itself produces its own various national variants of modernization.

Keywords: Imperial Russia; modernization; Eurocentrism; comparative historical analysis; explanatory model; network effect; center and periphery; the diversity of modernization processes; social history; methodology.

Последние десятилетия XX в. и начало XXI в. в гуманитарном знании, в том числе в историческом, прошли под знаком антропологического поворота, легитимировавшего многостороннее изучение индивида в его повседневной, эмоциональной, культурной, интеллектуальной жизни, стилей и стратегий поведения, человеческого восприятия, опыта людей в разных социальных группах, сообществах, культурах, ситуациях. Антропологический акцент способствовал миниатюризации методов и масштабов исследования, увлечению локальной истории, микроисторией. В последнее время, однако, вновь растет интерес к «большой» истории, к макроуровневым историческим обобщениям, что является естественным ответом на последствия глобализации, проявляющей себя во

* Corresponding author

E-mail addresses: pober1871@mail.ru (I.V. Poberezhnikov)

многих измерениях, на очевидную недостаточность и односторонность исследований, сфокусированных только на микромасштаб.

Дело в том, что исторический процесс конструируется действиями людей, постоянно вступающих во взаимодействия. Однако исторические персонажи действуют в «обжитой» среде, заполненной унаследованными от прошлого социальными структурами (технологическими, экономическими, социальными, политическими, институциональными, культурными, ментальными и т. д.), связанной глобальными зависимостями, обусловленными иерархическим устройством миропорядка, «пронизываемой» эстафетными механизмами, которые создаются самими людьми, теряющими впоследствии индивидуальный контроль за действием данных механизмов. Чтобы увидеть исторических персонажей «в среде», требуется эшелонированный подход, проникающий в прошлое на достаточную глубину, да и не ограничивающийся индивидуальными или локальными масштабами.

К «большой» истории обращается в своей новой трехтомной монографии «Российская империя: от традиции к модерну» и Б.Н. Миронов (Миронов, 2014; Миронов, 2015а; Миронов, 2015б). Издание представляет собой развитие прежде высказанных идей, капитальную переработку и интеграцию предшествующих исследований автора (Миронов, 1999; Миронов, 2012; Миронов, 2013). Это – особенное событие даже по сравнению с предыдущими, не менее интересными работами Б.Н. Миронова, настолько ее отличают комплексность, завершенность, широта охвата проблем, полемический настрой. Как признается сам автор, его общая концепция истории России имперского периода не претерпела коренных изменений в новом издании (Миронов, 2014: 12), тем не менее Б.Н. Миронов существенно обновил доказательный материал, учел современную литературу, сделал новые наблюдения и обобщения, еще более рельефно подчеркнул значение модернизации как вектора движения страны в имперский период.

Исследование базируется на следующих принципах: аналитическо-экспериментальная стратегия, что подразумевает открытую и сознательную теоретическую ориентацию; прагматический взгляд на концепции как на взаимодополняемые специфические подходы, задающие программу и гипотезы исследования, а также определенный ракурс анализа фактического материала (Миронов, 2014: 65); опора в методологическом плане на «неоклассическую модель исторического исследования», ориентированную на синтез социальной, культурной, экономической, политической истории, социально-исторической антропологии, исторической социологии, исторической психологии, междисциплинарный подход, макро- и микроанализ (Миронов, 2014: 12–13); далее – анализ в рамках новой социальной истории; изучение исторических изменений в перспективе длинной, средней и короткой темпоральности с акцентированием внимания на первые две, явное предпочтение системному видению, дающему «общую картину» (ибо «тенденции, смысл и значение исторических событий становятся понятными в контексте, во-первых, истории всеобъемлющей, но рассмотренной под социальным и антропологическим углом зрения, во-вторых, в рамках длинных или средних периодов») (Миронов, 2014: 27); дистанцирование от европоцентризма, прямолинейности, партийности при изучении преобразовательных процессов в стране, оценка их в том числе с точки зрения соответствия экономическим, социальным, психологическим и прочим возможностям и потребностям российского общества (Миронов, 2014: 17); видение российского исторического процесса как поступательного и нормального («Россия – не ехидна в ряду европейских народов, в ее истории трагедий, драм и противоречий несколько не больше, чем в истории любого другого европейского государства») (Миронов, 2014: 13).

Автор проанализировал влияние природно-климатических условий и территориальной экспансии на этносоциальное и экономическое развитие России, особенности социальной стратификации и социальной мобильности, эволюцию социальной структуры, динамику демографических процессов, эволюцию моделей семьи и внутрисемейных отношений, взаимоотношения города и деревни в контексте урбанизации и индустриализации, динамику крепостнических отношений, эволюцию общины и самоуправления, эволюцию российской государственности, становление гражданского общества и правового государства, эволюцию правовых отношений, динамику уровня жизни в стране, коллективные представления и развитие человеческого капитала с конца XVII в. до 1917 г. (заметим, что каждый из указанных вопросов заслуживает монографического изучения).

Схема российской модернизации в имперский период представляется Б.Н. Миронову следующим образом. Автор полагает, что эталонная модель модернизации была предложена западной цивилизацией (Западной Европой и Северной Америкой). Россия, по мнению Б.Н. Миронова, вследствие «европейского происхождения» основ «российской государственности, быта и менталитета», качественного сходства западных и русских национальных традиций и ценностей, была включена в мировой модернизационный процесс и «...в социальном, культурном, экономическом и политическом отношениях... в принципе изменялась в тех же направлениях, что и другие европейские страны» (Миронов, 2015b: 603). В целом российский путь модернизации Б.Н. Миронов оценивает как вполне благополучный и эффективный. Это нормальный исторический маршрут, который, правда, отличается некоторым своеобразием, поскольку Россия с опозданием вступила в процесс модернизации, поскольку страна «живет в другом часовом поясе» по сравнению со странами Запада. Данные автора подтверждают тягость бремени модернизации для населения (особенно в XVIII в.) и в то же время ее оправданность и историческую перспективность. Надо признать, что авторская интерпретация выглядит более убедительно, нежели различные версии российской псевдомодернизации.

Определенные же особенности модернизации страны Б.Н. Миронов видит в росте в российском обществе в течение XVIII–XIX вв. социальной и культурной фрагментации вследствие колонизации и асимметричной вестернизации, в то время как западноевропейские страны развивались в направлении нивелирования местных, региональных, сословных особенностей, интеграции и централизации политического, правового и культурного пространства в единое национальное пространство, в обычной асинхронности социальных изменений, происходивших в России и других европейских странах в XVIII – начале XX в., в вариативности глубины охвата России и других европейских стран различными социальными, экономическими, культурными и политическими процессами. Тем не менее модернизация в России, по мнению Миронова, шла путем успешного утверждения в стране институтов и ценностей европейской цивилизации; страна развивалась нормально и не являлась исключением из правил.

Если воспользоваться схемой шведского социолога и культуролога Й. Форнуса, дифференцирующего общество эпохи модернити на устойчивые структуры; на быстрые, непредсказуемые случайные события; на волнообразные периодические циклы, вызываемые, например, регулярными сменами поколений или циклическими кривыми капиталистической экономики, и, наконец, на собственно направленные, векторные процессы модернизации (Fornäs, 1995: 25), то можно, очевидно, признать, что Б.Н. Миронову в полной мере удалось реконструировать модернизационные тренды в истории России имперского периода.

При этом также очевидно, что хотя автор и отвергает европоцентризм, своеобразной общей моделью модернити, с которой сопоставляется российский вариант модернизации, является именно европейская, западная (или атлантическая) модель. Именно на фоне атлантического «зеркала» российская модернизация обретает качество «нормальности». Несомненно, сравнивать разнообразные варианты модернизации следует; также очевидна продуктивность сопоставления с наиболее успешным для XVIII–XIX вв. западным вариантом модернизации. Однако здесь есть и повод для дальнейших размышлений.

Сторонники современного модернизационного подхода, скорее, стоят на позициях исторического плюрализма, несводимости пространственного многообразия к какому-либо магистральному направлению, настаивают на многовекторности и своеобразии модернизаций, протекавших в различных культурно-цивилизационных контекстах и опиравшихся соответственно на различные социокультурные традиции. Действительно, исторические и современные успехи ряда стран незападной цивилизации (Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур и др.) свидетельствуют в пользу более широкого понимания модернизационного подхода, который должен быть чувствительным к историческому опыту не только стран Западной Европы и Северной Америки, но и других частей света. Попытки реинтерпретации модернизационного подхода, лежащие в русле плюралистического, в том числе мультицивилизационного, видения самого процесса перехода от традиционного к современному обществу, неоднократно предпринимались в последнее время. В первую очередь здесь следует упомянуть концепцию «множественных» или «других» модернов, сформулированную одним из разработчиков еще классической версии модернизационной парадигмы Ш. Эйзенштадтом (Эйзенштадт, Шлюхтер, 2007), который попытался в новых

условиях подвергнуть критике традиционные теории модернизации середины XX в., рассматривавшие западный («атлантический») проект модерна в качестве эталона, который неизбежно должен был восторжествовать во всех странах, с опозданием включившихся в мировой модернизационный процесс. По мнению Ш. Эйзенштадта, множественные процессы глобализации в современном мире по существу представляют собой последовательные попытки различных движений и элит в своих терминах переосмыслить, по-своему освоить модерн, переформулировать его дискурс. Причем такие попытки, подчеркивает Ш. Эйзенштадт, имели место и в более ранний период, в эпоху становления классических наций-государств, когда также существовали разные типы интерпретации модерна, например по линии дифференциации типов коллективной идентичности или степени аутентичности власти.

Представители современного модернизационного подхода признают возможность различных путей перехода от традиционного к современному обществу, т. е. различные национально-страновые последовательности решения в процессе модернизации тех или иных задач, разные варианты соотношения традиционализма и инновационизма и т. д. При этом национальное (страновое) своеобразие трактуется скорее как достоинство, а не как ущербность или недостаток (и как условие «нормальности», поскольку современные исследователи придают традиции значение ускорителя процессов развития и общественного стабилизатора). Кстати, подчеркивая «нормальность» и «равнение» на Запад российских модернизаций, Б.Н. Миронов указывает на весьма существенные их особенности, что дает почву для обсуждения страновой модели (или моделей) модернизации.

Далее, представляется, что в монографии имеет место недооценка сетевых эффектов, которые являются обыденностью истории. Под сетевыми эффектами можно понимать взаимодействия и взаимовлияния различных элементов исторической среды, порождающие своеобразие исторического момента. Пусть действительно в XVIII–XIX вв. Россия была исторически относительно молодым обществом. Пусть действительно она стремилась быстрее повзрослеть и использовала в этих целях механизмы диффузии и западные институты и ценности в качестве образцов для подражания (в этом плане страна не была оригинальной; по крайней мере с конца XIX в. диффузия вообще, вероятно, становится в высшей степени значимым двигателем мирового прогресса). Но сопровождалась ли эта диффузия «стиранием» старых институтов и ценностей и заменой их новыми? Думается, не совсем. Скорее происходило сложное взаимодействие между «традиционным» и «современным», которое сопровождалось трансформацией содержания того и другого, перестановкой акцентов в том и другом (в этом, кстати, убеждает и материал монографии). Могла ли возникавшая в результате этого амальгама «старого» и «нового» стать элементарной калькой с того, чем было, например, современное европейское сообщество? Не уверен. Вообще, может ли общество, которое находится не в вакууме, а в конкретном историческом контексте, который в свою очередь оказывает на него свое постоянное воздействие (через конъюнктуру мирового рынка, структуру «мировой системы», конкуренцию в области военных, политических, социокультурных технологий и т. д.), элементарно повторить чей-то исторический путь? Данный вопрос – одно из последствий прочтения монографии Б.Н. Миронова.

Кроме того, принимая Запад за эталон модернити, мы сталкиваемся с другой проблемой. Этот Запад, которому на самом деле не соответствует ни одна из европейских стран, в действительности сам оказывается мифическим и идеализированным. Модернизационные процессы в различных странах Западной Европы и Северной Америки протекали по-разному в разное время: отличались разными скоростями, различной ролью государства, разными механизмами. Данный тезис хорошо иллюстрирует наблюдение М. Малиа по поводу распространения в Европе пришедших на место «старого порядка» (*l'ancien régime* – т. е. абсолютная монархия, узаконенная социальная иерархия, монополия государственной церкви) структур *modernity*, характерных для Нового времени: «Так, начав с передового атлантического Запада, силы демократии и индустриализма, либерализма и социализма, классицизма и романтизма двигались с Запада на Восток. Однако в процессе этого движения каждый из этих аспектов современной цивилизации преобразался, а иногда и искажался, по мере проникновения в неравномерно развитые зоны. Таким образом, внутри большой Европы существует ряд подразделений: англо-французский Запад, германский Центр, славянский Восток и средиземноморский Юг. Кроме того,

существует дальний Запад – за Атлантическим океаном, в Америке, – сочетающий в себе элементы всех европейских подразделений» (Малиа, 2000: 122). Таким образом, возникает законный вопрос: с каким именно «Западом» проводится сравнение?

Кстати, в современной литературе подвергаются переосмыслению понятия «отсталость», «норма», «успех»; высокие темпы культурных, социальных, политических изменений уже не так однозначно квалифицируются как успех, в то время как противостояние изменениям, прочность правительств, стабильность образа жизни и системы ценностей не воспринимаются априорно как отклонение от нормы.

Своеобразие модернизаций в значительной степени зависело от того, какие механизмы развития задействовались на субстрановом, региональном уровне. Неоднородность странового пространства определяет субстрановую вариативность модернизационных процессов. Необходимость исследования модернизации на региональном (субстрановом) уровне обусловлена значимостью пространственных измерений модернизации, территориальным разнообразием модернизационных процессов, вариативностью функционирования территориальных единиц в контексте модернизации. Все сказанное означает, что процессы модернизации нельзя исследовать, абстрагируясь от пространственных характеристик, исходя из гипотетического представления о гомогенности пространства. Напротив, следует учитывать территориальную неравномерность распространения волн модернизации, региональные особенности разворачивающихся модернизационных субпроцессов, таких как индустриализация, урбанизация, бюрократизация, профессионализация, складывание своеобразной региональной структуры модернизации, включающей пространственные центры и периферии развития, наконец, региональные взаимодействия в контексте модернизации, сопровождавшиеся как модернизационными импульсами со стороны более продвинутых регионов, так и реакциями периферии, способными адаптировать или гасить подобные импульсы.

Конечно, в фундаментальном исследовании Б.Н. Миронова модернизация проанализирована широко, не только с точки зрения имперской столицы; богато представлен материал, иллюстрирующий особенности модернизационных процессов на местах, в регионах. Тем не менее пространственное измерение модернизации нуждается в более глубоком исследовании, поскольку по сути дела можно вести речь о разных региональных моделях модернизации.

Например, характер и динамика модернизации существенно различались на периферии Российской империи (Побережников, 2015). Вариативность была обусловлена размерами регионов, их природно-климатическими условиями, разницей во времени их присоединения, составом населения, геополитическим положением и уровнем безопасности, ресурсным обеспечением, временем начала модернизации, ролью государства и рынка как механизмов развития. Так, относительно благоприятные для модернизации условия имелись к началу XVIII в. на Урале: достаточная освоенность территории к XVIII в., богатство природных ресурсов, возможность заниматься производительным сельским хозяйством, фрагментарные геополитические риски (преимущественно на юге региона, на башкирском и киргиз-кайсацком фронтире). В результате именно Урал в XVIII в. стал одним из страновых лидеров протоиндустриальной модернизации, несмотря на то что процессы освоения еще были далеки до завершения. Северо-Западная Сибирь присоединялась к Российскому государству почти одновременно с Уралом, фактически в XVIII в. было покончено с угрозой нападений со стороны «кочевников тундры» – самоедов, однако неблагоприятные климатические условия серьезно затормозили не только освоение, но даже заселение региона русскими, которые оставались немногочисленными до рубежа XIX–XX вв. О модернизации применительно к Северо-Западной Сибири данного периода (даже начала XX в.) можно говорить лишь условно, поскольку население в основной своей массе все еще находилось во власти традиции. Что касается Дальнего Востока, то позднее присоединение не дало возможности для развертывания интенсивных модернизационных процессов в изучаемый период. Поздняя стабилизация границы, позднее формирование демографических основ региона, необходимость решать проблемы обеспечения безопасности не благоприятствовали модернизации, тем не менее во второй половине XIX – начале XX в. заметными становятся явления и процессы, которые связывают именно с модернизацией: урбанизация, развитие торговли, промышленного производства и т. д. То есть, рассуждая о российской модернизации, не стоит забывать и о России модернизаций.

В целом же в книге Б.Н. Миронова дана широкая панорама истории России XVIII – начала XX в. По существу данная монография – огромный компендиум знаний и познавательных инструментов. Доминирующая идея монографии – Россия развивалась нормально и поступательно, она не являлась исключением из правил – аргументируется практически на всем протяжении исследования, в различных ракурсах, на разных материалах. Б.Н. Миронову удалось, как мне кажется, убедительно пересмотреть многие устоявшиеся в историографии стереотипы. Данная книга – весьма крупное и значимое явление в современной историографии истории России.

Литература

Малиа, 2000 – *Малиа М.* Краткий XX век // Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М.: Наука, 2000. С. 119–131.

Миронов, 1999 – *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

Миронов, 2012 – *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд. М.: Весь мир, 2012. 848 с.

Миронов, 2013 – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015a – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015b – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Побережников, 2015 – *Побережников И.В.* Периферийная модернизация в Российской империи: региональные варианты // Цивилизации. Вып. 10: Модернизация и цивилизационные вызовы XXI века / отв. ред. А.О. Чубарьян; сост. О.В. Воробьева. М., 2015. С. 179–200.

Эйзенштадт, Шлюхтер, 2007 – *Эйзенштадт Ш., Шлюхтер В.* Пути к различным вариантам ранней современности: сравнительный обзор // Прогнозис. 2007. № 2 (10). С. 212–226.

Fornäs, 1995 – *Fornäs J.* Cultural Theory and Late Modernity. London, 1995. 312 p.

References

Eizenshtadt, Shlyukhter, 2007 – *Eizenshtadt S.N., Shlyukhter W.* Puti k razlichnym variantam rannei sovremennosti: sravnitel'nyi obzor [*Eisenstadt S.N., Schluether W.* Way to early modernity: a comparative overview] // Prognosis. 2007. Nr 2 (10), pp. 212–226 [in Russian].

Fornäs, 1995 – *Fornäs J.* Cultural Theory and Late Modernity. London, 1995. 312 p.

Malia, 2000 – *Malia M.* Kratkii XX vek [The short twentieth century] // Rossiya na rubezhe XXI veka: Oglyadyvayas' na vek minuvshii [Russia at the turn of the XXI century: Looking back at the past century]. Moscow: Nauka, 2000, pp. 119–131 [in Russian].

Mironov, 1999 – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genезis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].

Mironov, 2012 – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nравy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Poberezhnikov, 2015 – *Poberezhnikov I.V.* Periferiinaya modernizatsiya v Rossiiskoi imperii: regional'nye varianty [Peripheral modernization in the Russian Empire: regional variations] // Tsvivilizatsii [Civilization]. Vyp. 10: Modernizatsiya i tsivilizatsionnye vyzovy XXI veka [Modernization and civilizational challenges of the 20th century] / otv. red. A.O. Chubar'yan; sost. O.V. Vorob'eva. Moscow, 2015, pp. 179–200 [in Russian].

УДК 93(47)

Российская имперская модернизация: общее и особенное

Игорь Васильевич Побережников ^{а, *}

^а Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена проблеме своеобразия российских модернизаций в связи с обсуждением новой монографии Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну». Существуют разные теоретические трактовки процессов модернизации как перехода от традиционного к модерному обществу. Согласно одной точке зрения, процесс модернизации подчиняется универсальным закономерностям и осуществляется по одним и тем же моделям. В данном контексте возможным становится выделять определенный эталон, с которым могут сравниваться страновые варианты модернизации. Согласно другой точке зрения, существуют различные страновые варианты модернизаций, обусловленные национальными, культурными и другими особенностями. Во втором случае выделение эталона становится спорным. Миронов ближе к первой точке зрения. Сравнивая с эталонной моделью модернизации (которая связывается с западной цивилизацией), он делает вывод о принципиальном тождестве западного и российского путей развития, о нормальном, благополучном и эффективном ходе российской модернизации. Признавая, что интерпретация Миронова выглядит более убедительно, нежели различные версии российской псевдомодернизации, автор данной статьи обращает внимание на сложности первого подхода в трактовке модернизации: недооценка случайности и уникальности в истории, недооценка темпоральной, пространственной, ситуативной вариативности модернизаций, недооценка сетевых эффектов, проблематичность сопоставления с «Западом», который сам представляет собой множество различных страновых вариантов модернизаций.

Ключевые слова: имперская Россия; модернизация; европоцентризм; сравнительно-исторический анализ; объяснительная модель; сетевой эффект; центр и периферия; разнообразие модернизационных процессов; социальная история; методология.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: pober1871@mail.ru (И.В. Побережников)

Copyright © 2016 by Sochi State University

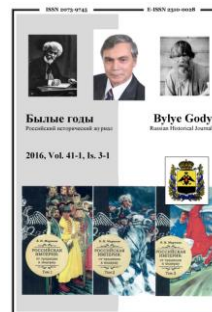


Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.

ISSN: 2073-9745

E-ISSN: 2310-0028

Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 874-881, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>

UDC 94(47)

In Search of the Best Explanation of Russian History

Natalia B. Selunskaja^{a, *}^a Moscow State University, Russian Federation

Abstract

This article discusses the methodological aspects of general models of historical explanation developed in contemporary Russian and foreign historiography and also interpretations of Russian history offered on their basis. This topic was initiated by the publication of the fundamental work of the well-known Russian historian Boris Mironov, “The Russian Empire: From Tradition to Modernity” and it is discussed in terms of its contents. Natalia Selunskaja focuses on the author’s “integrative” approach to the explanation of Russian history within the period of the 17th to 20th centuries, which combines different methodological concepts into a complex, suitable for the analysis of certain phenomena, processes, and problems. Mironov’s contribution is evaluated in an explanation of the nature and pace of the process of Russia’s transformation from “tradition” to “modernity” through concepts of temporal characteristics in comparative perspective. In Selunskaja’s opinion, the comparative methodology particularly increases the possibility of finding reliable historical conclusions and evaluations of the political and socio-demographic aspects of modernization of the Russian empire.

Keywords: modernization; 1917 revolution; Russian history; methodology; comparative perspective; Marxist paradigm; civilizational concept; explanatory model; the best explanation procedure; multi-conception approach.

Историческое объяснение всегда было ключевой проблемой философии истории, вызывающей острые дискуссии на протяжении всего последнего столетия, в фокусе которых находился процесс, в конце которого мы вознаграждаемся пониманием факта. Под объяснением понимался способ сделать прошлое понимаемым. В мировом и в национальных исторических сообществах постоянно ведутся дискуссии вокруг проблемы исторического объяснения. В условиях так называемого «постмодернистского вызова» и «лингвистического поворота» в истории уже в 1980-е гг. таким авторитетным в профессиональном историческом сообществе историографом, как Джордж Иггерс, выражалась особая озабоченность угрозой потери «социальным объяснением» всей своей независимой значимости. Основанием для отрицания исторического синтеза и исторического объяснения является в том числе и девальвация в профессиональном историческом сообществе теорий, создававших основу объяснительных моделей исторического процесса, его отдельных этапов. Крупнейший методолог XX в., автор известного переведенного на все языки мира труда «Методология истории», долгие годы возглавлявший журнал «История и теория», Ежи Топольский откликнулся на эту методологическую ситуацию, в частности, статьей «Историческое объяснение в теории

* Corresponding author

E-mail addresses: selounsk@yandex.ru (N.B. Selunskaja)

исторического материализма», в которой подчеркивал значимость для оценки роли объяснения для современного исторического исследования «целостного прочтения идей Маркса», а не подмены его «коллекцией цитат», в том числе «его известного письма». Необходимо, по мнению ученого, включить модель марксистского объяснения в контекст современной методологии исторического объяснения. Проведенное Е. Топольским сравнение «реализма» марксистской методологии и «инструменталистского подхода» продемонстрировало эффективность и высокий познавательный потенциал марксистского подхода к объяснению за счет «четкой структуры модели объяснения», «связи теории и методологии», «выделения двух аспектов в историческом процессе»: субъективного и объективного, рассмотрения исторических явлений и фактов на различных уровнях генерализации и др. (Topolski, 1990). Это предупреждение о значимости сохранения традиции дополнено замечанием о необходимости «конкретизировать абстрактную объяснительную модель» для исторических исследований, учитывая ее потенциал.

Вместе с тем актуализировался поиск «лучшего объяснения», оснований и аргументации для интерпретаций, исторических заключений и выводов. Так, известный своими исследованиями мировому историческому сообществу шведский историк и методолог Рольф Тоштендаль обсуждает возможности и пределы применения «процедуры наилучшего объяснения» (IBE) в историческом исследовании, используемой философом Питером Липтоном в его книге для описания развития знания в естественных науках (Lipton, 2005; Тоштендаль, 2014; Селунская, 2000). Представляется важным отметить два момента. Во-первых, историками признается возможность нескольких объяснений исторических событий, явлений и процессов. Во-вторых, подчеркивается, что «важным условием наилучшего объяснения является то, что оно не должно вступать в противоречия с объяснениями других историков...» (Тоштендаль, 2014). Таким образом, «наилучшее объяснение» предполагает поиск консенсуса в отношении выводов и заключений историка, объясняющих исследуемые явления и процессы.

Как видим, проблема объяснения рассматривается историками на историко-философском уровне, при котором в фокусе внимания находятся «тотальные модели объяснения». Однако историков прежде всего интересует познавательная функция моделей в качестве основы (схемы) для конкретно-исторического объяснения национальной истории, ее отдельных периодов и проявлений в исторических фактах, событиях, институтах, персоналиях.

Фундаментальное исследование Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну» (Миронов, 2014; Миронов, 2015a; Миронов, 2015b) имеет концептуальный характер и дает основание для дискуссии внутри исторического профессионального сообщества по поводу и самой процедуры исторического объяснения, и моделей объяснения российской истории в контексте парадигмы «Россия – Запад». Примечательно, что автор в своем «вступительном слове» особо отмечает внимание к методологическим аспектам как отличительную содержательную черту своей трехтомной монографии (Миронов, 2014: 12) и открывает ее введением «Концепции и парадигмы в современной историографии». В нем содержится сжатый обзор выбранных на основе авторских предпочтений современных тотальных моделей исторического объяснения, в рамках которых возможно вести изучение российской истории. Оценка познавательных возможностей семи моделей для объяснения российской истории предпринята Б.Н. Мироновым и в вступительном разделе и в тексте всего последующего исследования. Итоги рассмотрения истории имперской России, «развития России в рамках семи концептуальных подходов», «конструирующих специфический образ России, предлагающих собственные модели и свои трактовки предпосылок, движущих сил, механизмов и хронологии ее развития» (Миронов, 2015b: 649–670), создали основания для выводов методологического характера и конкретно-исторических оценок. Так, в теоретико-методологическом аспекте объяснения российской истории автор высоко оценивает познавательный потенциал «комплексного поликонцептуального подхода», объединяющего особенности всех концепций, на том основании, что он позволяет получить «многомерный, собирательный и потому более адекватный образ России» (Миронов, 2015b: 671). Структура заявленного комплексного подхода представлена совмещением модернизационной, цивилизационной и мир-системной концепций. Несомненный интерес к заявленному автором и реализованному им подходу основан на тех новых познавательных возможностях, которые рождаются от «сочетания различных точек зрения», то есть получения нескольких объяснений российской истории. Это одно из направлений движения современной

историографии, как уже отмечалось, на пути поиска «наилучшего объяснения». И это включение в дискурс больше разных голосов, по заключению автора монографии, дает историку больше шансов приблизиться в объяснении истории России к объективности и истине. Нельзя не согласиться с тем, что такой методологический плюрализм в подходе к объяснению расширяет горизонты видения российской истории, объемность и многогранность образа России. Б.Н. Миронов по-своему следует и второму условию «наилучшего объяснения» – поиску консенсуса между подходами, их общие черты. В таком авторском прочтении процедура поиска консенсуса, несомненно, усиливает обоснованность «совпадающих» конкретно-исторических выводов и заключений относительно образа имперской России, а «несовпадающие» могут рассматриваться как комплиментарные, обогащающие этот образ.

Представляется, однако, что заявленный автором синтезирующий (интегральный) подход к объяснению истории России не исключает для него как явные предпочтения к определенным объяснительным моделям, так и весьма критические оценки в отношении некоторых подходов из предложенного набора «великолепной семерки». Так, в фокусе внимания Б.Н. Миронова постоянно находится теория модернизации как основа объяснения российской истории XVII–XX вв. Автор справедливо отмечает, что «концепция модернизации до сих пор является прагматичной и работоспособной при изучении исторической динамики особенно России», что, по его мнению, связано с тем, что «наша страна не решила еще задачи модерна, в то время как самые продвинутые страны уже решают задачи постмодерна» (Миронов, 2015b: 672). В этой связи хотелось сделать два комментария. Представляется важным отметить особую актуальность, востребованность, «адекватность» и мотивированность выбора теории модернизации российским профессиональным историческим сообществом в качестве объяснительной модели национальной истории в период транзита нашей историографической традиции от безальтернативного доминирования одного теоретико-методологического подхода (формационного) к методологическому плюрализму, что заинтересовало меня еще в 90-е гг. XX в. (Селунская, 1995). Аргументом жизнеспособности этой теории и ее востребованности в нашей российской историографии является огромный поток специальной литературы, опубликованной за последние 20 лет и посвященной интерпретациям содержания самой теории, классификациям и интерпретациям типов модернизации, включающих, например, такие как «рецидивирующая модернизация» (Наумова, 2006), «модернизация через катастрофу» (Фадин, 1995), «самобытный вариант модернизации» (Зарубина, 1997), «современная российская модернизация» (Согрин, 1994), «модернизация в посттоталитарном мире» (Кандель, 1994). Историки пытались «адаптировать» модернизацию и для объяснений уникальности исторического пути России, и для обоснования ее включенности в процесс вестернизации, используя теорию в весьма широком хронологическом диапазоне, не имеющем практически верхней границы. Одной из причин особой популярности теории модернизации можно считать то, что ее сторонники, как отмечал Е. Ригли в своей работе 1987 г., посвященной историческому объяснению, стремились «преодолеть ограниченность двух классических подходов: экономизма (Смит – Маркс – Тойнби) и психологизма (Вебер – Фрейд – Парсонс)» (Wrigley, 1987). Нельзя не вспомнить и то, что истоки понятия «модернизация» восходят к работам А. Смита, Т. Мальтуса, П. Рикардо и К. Маркса. Как видим, существует обозначенная адептами теории модернизации ее связь с формационным подходом. Вот почему представляется необоснованной и некорректной негативно-критическая эмоциональная оценка марксистской парадигмы Б.Н. Мироновым, анонсированной в том числе работами советских историков 1950-х гг., и исключение формационного подхода из интеграции адекватных инструментов объяснения российской истории. Что касается цивилизационного подхода, то абсолютно согласна с авторской оценкой его невысокого познавательного потенциала для объяснения истории России. Доказательством являются приведенные автором «случаи из исследовательской практики», например сочинения А.С. Ахиезера, которые могут быть дополнены новыми публикациями (Маджаров, 2014).

В развитие темы поиска наилучшего объяснения следует остановиться на раскрытии смыслов ключевых понятий и концептов, которые используются автором. Значимым является тот факт, что уже в названии монографии Б.Н. Миронова отражены авторские методологические предпочтения через концепты «империя», «традиция», «модерн». Так, понятие «империя» несомненно является одним из ключевых для исторического

объяснения Б.Н. Мироновым характера и особенностей развития России и связано с апробацией автором мир-системного подхода, востребованного современной отечественной и зарубежной историографией. Доказательством являются проекты, посвященные исследованию истории Российской империи (Савельев, 1997; Кагарлицкий, 2004; Burbank, Ransel, 1998; Brower, Lazzarini, 1997; Каппелер, 1997). Как отмечается в историографии, «наряду с лидировавшими прежде тоталитарной и модернизационной школами, в западной историографии возникает третье направление, которое ставит во главу угла имперскую модель». Это направление в англоязычной историографии оформилось как «новая история империи» (new imperial studies) и отличается признанием преемственности между Российской империей и СССР, отрицанием роли 1917 г. как разрыва в истории страны (Большакова, 2003: 31). В методологическом аспекте сторонники этого направления ратуют за то, чтобы «изменить общие очертания исторического нарратива о Российской империи» и «изучать Россию как особый род империи в широком сравнительном контексте». Придавая особое значение фактору исторического времени и географического местоположения ряд сторонников направления «новой истории империи» относят Россию к разряду так называемых «территориально-протяженных континентальных империй», которые сильно отличались от западноевропейских империй с заморскими колониями (Большакова, 2003: 35).

Методологически значимым является и понятие «модернизирующиеся империи», содержание которого западная русистика названного направления считает как переход от империи «старого порядка» к «современной» империи, от полицентричной и дифференцированной политической системы к более централизованному и бюрократизированному государству, которое через элиты проводило политику унификации в области экономики, языка и культуры. Модернизация Российской империи связывается такими западными русистами, как Р. Суни, А. Рибер, С. Беккер с периодом конца XIX – начала XX в., который, по их оценкам, стал и периодом вступления континентальных империй в период фатального для них кризиса. Концепция Б.Н. Миронова отличается своеобразием и в употребляемых концептах, и в интерпретациях содержания, особенностей и темпоральных характеристик процесса транзита России от традиции к модерну. Так, в монографии Б.Н. Миронова этот процесс имеет название «имперской модернизации» (Миронов, 2015b: 713, 718), который длился в течение 300 лет, стартовал в период между правлением Петра и Екатерины и в конкретно-историческом аспекте привел к формированию собирательного образа России как «страны европейской культуры». Отличительные особенности же автором усматриваются в том, что как «европейская периферия» Россия живет в «другом часовом поясе» и переживает те же процессы и стадии, что и западноевропейские страны с определенным «временным лагом». Особый интерес представляет понимание автором «Российской империи...» темпоральных характеристик процесса модернизации вообще и их проекции на российскую историю в частности. Обращаясь к российской историографической традиции XIX–XX вв. объяснения истории России, нельзя не отметить устойчивость оценок содержания и темпов эволюции, периодизации истории России в концепциях Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова в контексте сравнения России и Запада. Представляется, что в масштабном исследовании Б.Н. Миронова иногда явно, а часто имплицитно, но присутствует, проступает и ощущается связь его подхода с отечественной традицией исторического объяснения. Так, например, выделение названными историками в периодизации российской истории «допетровской» России и России времен петровских реформ своеобразным эхом звучит у Б.Н. Миронова в определении нижней и далеко не бесспорной для советской и постсоветской историографии границы начала процесса «ранней» модернизации. Усматривается и своеобразное «преемство» в отношении интерпретации С.М. Соловьевым проблемы темпов исторического развития России и Запада через концепт «задержки», далеко нетождественный понятию «отсталости». В историческом объяснении Б.Н. Миронова введены новые понятия «иного часового пояса», временного «лага», «выключенности» России из мирового цивилизационного контекста исторической эволюции, в раскрытии смыслов которых присутствует и географическая среда, и фактор «внешней опасности» и «завоевания и ига». Представляется, что и при структурировании содержания трехтомного сочинения Б.Н. Миронов выделял значимые, по его мнению, для объяснения российской истории избранного им периода факторы, феномены, институты и структуры: колонизация, крепостное право, семья, община,

государство, право и суд. Именно вокруг перечисленных концептов, раскрытия их смыслов и велись дискуссии, в контексте которых формировалась и развивалась традиция объяснения российской истории в отечественной историографии, представленной персоналиями названных известных историков и их историческими концепциями. В то же время важно дополнить, что в объяснении Б.Н. Мироновым «имперской модернизации» явно проступает культурологический контекст при выявлении и интерпретациях факторов, влиявших на процесс «имперской модернизации». В этом плане объяснение автором транзита Российской империи от традиции к модерну вписывается в три магистральных ракурса объяснения «модернизации империй» представителями направления «new imperial studies», которые обозначены Альфредом Рибером как «сравнительное, географическое и культурное» (Rieber, 2001: 265). Так, по мнению Б.Н. Миронова, Россия имела существенные особенности в своих социальных институтах и структурах, которые обусловлены, во-первых, «условиями среды» – «оторванностью от греко-романской цивилизации в античную эпоху, восточным окружением во все времена, поздним приобщением к христианской цивилизации», а, во-вторых, «периферийным положением страны в христианском мире» (Миронов, 2015b: 671). Очевидно, что методология объяснения Б.Н. Миронова включает историко-антропологический подход, который проявляется и в выборе объяснительных факторов и в их эмпирической верификации путем представления и анализа мощного пласта источников, содержащих информацию демографического, социально-психологического и физиологически-биологического свойства. Даже бросив беглый взгляд на таблицы как форму репрезентации фактического исторического материала, характеризующие в сравнительной перспективе отдельные стороны развития России, легко увидеть заинтересованность автора в их отборе. Автор сам отмечает, что придерживается методологии, называемой неоклассической моделью исторического исследования, которая набирает силу в современной историографии и представляет собой синтез исторической науки, исторической социологии, антропологии, исторической психологии. Представляется, что Б.Н. Миронову удалось, как он и замышлял, «исследовать историю императорской России, опираясь на достижения отечественной и зарубежной историографии, используя понятийный аппарат и подходы современной социальной науки, избегая как негативизма, так и апологетики в отношении российских достижений» (Миронов, 2014: 12). Вместе с тем концептуальное по замыслу и исполнению сочинение Б.Н. Миронова демонстрирует профессиональному историческому сообществу и то, насколько сложны и многогранны методологические проблемы объяснения российской истории, рассмотренные в масштабной сравнительно-исторической перспективе (Миронов, 2013), и то, насколько значимы методологические аспекты исследования для конкретно-исторического объяснения движения России «от традиции к модерну».

Литература

- Большакова, 2003 – *Большакова О.В.* Российская империя: система управления (Современная зарубежная историография): аналитический обзор / РАН ИНИОН, Центр социал. науч.-информ. исслед., Отд. отеч. и зарубеж. истории; отв. ред. В.М. Шевырин. М., 2003. 92 с. (Сер.: История России).
- Зарубина, 1997 – *Зарубина Н.Н.* Модернизация и хозяйственная культура (Концепция М. Вебера и современные теории развития) // Социологические исследования. 1997. № 4. С. 46–54.
- Кагарлицкий, 2004 – *Кагарлицкий Б.Ю.* Периферийная империя: Россия и миросистема. М.: Ультра. Культура, 2004. 528 с.
- Кандель, 1994 – *Кандель П.Е.* Национализм и проблема модернизации в посттоталитарном мире // Полис: Политические исследования. 1994. № 6. С. 6–16.
- Каппелер, 1997 – *Каппелер А.* Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. Распад / пер. с нем. С. Червонной. М.: Прогресс-Традиция, 1997. 343 с.
- Маджаров, 2014 – *Маджаров А.С.* История России в теории цивилизации. Иркутск: ИГУ, 2014. 212 с.
- Миронов, 2013 – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.
- Миронов, 2014 – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

- Миронов, 2015a** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.
- Миронов, 2015b** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- Наумова, 2006** – *Наумова Н.Ф.* Человек и модернизация России. М.: Канон+: РООИ «Реабилитация», 2006. 592 с.
- Савельев, 1997** – Имперский строй России в региональном измерении (XIX – начало XX веков): сб. науч. ст. [по материалам межрегион. семинара «Региональные процессы в императорской России»] / Моск. обществ. науч. фонд; отв. ред. проф. П.И. Савельев. М.: МОНФ, 1997. 237 с.
- Селунская, 1995** – *Селунская Н.Б.* Россия на рубеже XIX–XX вв. (в трудах западных историков). М.: Рос. откр. ун-т, 1995. 65 с.
- Селунская, 2000** – *Селунская Н.Б.* К проблеме объяснения в истории // Проблемы источниковедения и историографии: Материалы II науч. чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М.: РОССПЭН, 2000. С. 44–63.
- Согрин, 1994** – *Согрин В.В.* Современная российская модернизация: этапы, логика, цели // Вопросы философии. 1994. № 11. С. 3–18.
- Тоштендаль, 2014** – *Тоштендаль Р.* Методика «лучшего объяснения» в историческом исследовании // Проблемы историографии, источниковедения и методов исторического исследования: Материалы V науч. чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М.: Изд-во МГУ, 2014. (Труды исторического факультета МГУ; вып. 66. Сер.: Исторические исследования; 27). С. 48–60.
- Фадин, 1995** – *Фадин А.* Модернизация через катастрофу? (Не более чем взгляд...) // Иное: Хрестоматия российского самосознания. 1995. <http://www.russ.ru/antolog/inoe/fadin.htm/fadin.htm> (дата обращения: 15.07.2016).
- Brower, Lazzerini, 1997** – *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917* / ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzerini. Bloomington, 1997. XX, 339 p.
- Burbank, Ransel, 1998** – *Imperial Russia: New Histories for the Empire* / ed. by J. Burbank, D. Ransel. Bloomington, 1998. 352 p.
- Lipton, 2005** – *Lipton P.* Inference to the Best Explanation. 2nd ed. London, 2005.
- Rieber, 2001** – *Rieber A.* From Reform to Empire: Russia's New Political History // Kritika. Bloomington, 2001. Vol. 2, nr 2. P. 261–268.
- Topolski, 1990** – *Topolski J.* Historical Explanation in Historical Materialism // Narration and Explanation: Contributions to the Methodology of the Historical Research / ed. J. Topolski. Amsterdam: Atlanta, 1990. P. 61–84.
- Wrigley, 1987** – *Wrigley D.A.* People, Cities and Wealth: The Transformation of Traditional Society. Oxford: Blackwell, 1987. X, 348 p.

References

- Bol'shakova, 2003** – *Bol'shakova O.V.* Rossiiskaya imperiya: sistema upravleniya (Sovremennaya zarubezhnaya istoriografiya): analiticheskii obzor [Russian Empire: control system (Modern foreign historiography): analytical review]. Moscow, 2003. 92 p. [in Russian].
- Brower, Lazzerini, 1997** – *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917* / ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzerini. Bloomington, 1997. XX, 339 p.
- Burbank, Ransel, 1998** – *Imperial Russia: New Histories for the Empire* / ed. by J. Burbank, D. Ransel. Bloomington, 1998. 352 p.
- Fadin, 1995** – *Fadin A.* Modernizatsiya cherez katastrofu? (Ne bolee chem vzglyad...) [Modernization through catastrophe? (Never more than a glance...)] // Inoe: Khrestomatiya rossiiskogo samosoznaniya [Other: reader of the Russian identity]. 1995. URL: <http://www.russ.ru/antolog/inoe/fadin.htm/fadin.htm> (data obrashcheniya: 15.07.2016) [in Russian].
- Kagarlitskii, 2004** – *Kagarlitskii B.Yu.* Periferiinaya imperiya: Rossiya i mirosistema [Peripheral Empire: Russia and the world system]. Moscow: Ul'tra. Kul'tura, 2004. 528 p. [in Russian].
- Kandel', 1994** – *Kandel' P.E.* Natsionalizm i problema modernizatsii v posttotalitarnom mire [Nationalism and the problem of modernization in the post-totalitarian world] // Polis: Politicheskie issledovaniya [Polis: Political studies]. 1994. Nr 6, pp. 6–16 [in Russian].

Kappeler, 1997 – *Kappeler A.* Rossiya – mnogonatsional'naya imperiya: Vozniknovenie. Istoriya. Raspad [Russia – a multinational Empire: The emergence. The history. The collapse]. Moscow: Progress-Traditsiya, 1997. 343 p. [in Russian].

Lipton, 2005 – *Lipton P.* Inference to the Best Explanation. 2nd ed. London, 2005.

Madzharov, 2014 – *Madzharov A.S.* Istoriya Rossii v teorii tsivilizatsii [The history of Russia in the theory of civilization]. Irkutsk: Irkutsk State University, 2014. 212 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nravny v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Naumova, 2006 – *Naumova N.F.* Chelovek i modernizatsiya Rossii [The man and the modernization of Russia]. Moscow: Kanon+: Reabilitatsiya, 2006. 592 p. [in Russian].

Rieber, 2001 – *Rieber A.* From Reform to Empire: Russia's New Political History // Kritika. Bloomington, 2001. Vol. 2, nr 2, pp. 261–268.

Savel'ev, 1997 – Imperskii stroi Rossii v regional'nom izmerenii (XIX – nachalo XX vekov) [The Imperial system of Russia in the regional dimension (19th – beginning of 20th centuries)]. Moscow: Moscow Public Science Foundation, 1997. 237 p. [in Russian].

Selunskaya, 1995 – *Selunskaya N.B.* Rossiya na rubezhe XIX–XX vv. (v trudakh zapadnykh istorikov) [Russia in the 19–20th centuries (in the works of Western historians)]. Moscow: Russian Open University, 1995. 65 p. [in Russian].

Selunskaya, 2000 – *Selunskaya N.B.* K probleme ob'yasneniya v istorii [The problem of explanation in history] // Problemy istochnikovedeniya i istoriografii: Materialy II nauchnykh chtenii pamyati akademika I.D. Koval'chenko [The problems of source study and historiography: Materials of II scientific readings in memory of academician I.D. Koval'chenko]. Moscow: ROSSPEN, 2000, pp. 44–63 [in Russian].

Sogrin, 1994 – *Sogrin V.V.* Sovremennaya rossiiskaya modernizatsiya: etapy, logika, tseli [Contemporary Russian modernization: stages, logic, purpose] // Voprosy filosofii [The problems of philosophy]. 1994. Nr 11, pp. 3–18 [in Russian].

Topolski, 1990 – *Topolski J.* Historical Explanation in Historical Materialism // Narration and Explanation: Contributions to the Methodology of the Historical Research / ed. J. Topolski. Amsterdam: Atlanta, 1990. P. 61–84.

Toshtendal', 2014 – *Toshtendal' R.* Metodika "luchshego ob'yasneniya" v istoricheskom issledovanii [The technique of "best explanation" in historical research] // Problemy istoriografii, istochnikovedeniya i metodov istoricheskogo issledovaniya: Materialy V nauchnykh chtenii pamyati akademika I.D. Koval'chenko [Problems of historiography, source study and methods of historical research: Materials of V scientific readings in memory of academician I.D. Koval'chenko]. Moscow: Moscow State University, 2014, pp. 48–60. (Trudy istoricheskogo fakul'teta MGU; vyp. 66. Seriya: Istoricheskie issledovaniya; 27) [in Russian].

Wrigley, 1987 – *Wrigley D.A.* People, Cities and Wealth: The Transformation of Traditional Society. Oxford: Blackwell, 1987. X, 348 p.

Zarubina, 1997 – *Zarubina N.N.* Modernizatsiya i khozyaistvennaya kul'tura (Kontseptsiya M. Vebera i sovremennye teorii razvitiya) [Modernization and economic culture (The concept of M. Weber and modern theories of development)] // Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological research]. 1997. Nr 4, pp. 46–54 [in Russian].

УДК 94(47)

В поисках «лучшего объяснения» российской истории

Наталья Борисовна Селунская^{а, *}

^а Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты общих моделей исторического объяснения, разработанные в современной российской и зарубежной историографии, а также интерпретации российской истории, предлагаемые на их основе. Тема инициирована публикацией фундаментального сочинения известного российского историка Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну» и рассматривается в контексте ее содержания. В центре внимания Н.Б. Селунской находится «интегральный» подход автора к объяснению русской истории в период XVII–XX вв., который объединяет различные методологические концепции в комплекс, пригодный для анализа определенных явлений, процессов и проблем. Оценивается вклад Миронова в объяснение характера и темпов процесса перехода России от «традиции» к «современности» через концепты темпоральных характеристик в сравнительной перспективе. По мнению Селунской, именно компаративистская методология повышает возможность получить достоверные исторические выводы и оценки политических, социально-демографических аспектов модернизации Российской империи.

Ключевые слова: модернизация; революция 1917 г.; русская история; методология; компаративный подход; марксистская парадигма; цивилизационная концепция; объяснительная модель; процедура наилучшего объяснения; поликонцептуальный подход.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: selounsk@yandex.ru (Н.Б. Селунская)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 882-889, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 93(47)

The Phenomenon of Russian Modernization: Research Approaches, Problems of Lawful Government, Administration, and Human Capital

Irina V. Potkina ^{a,*}^a Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Abstract

This article is a response to a number of important issues of the political and socio-economic development of the Russian Empire in the 18–20th centuries, which have been addressed in the fundamental and comprehensive monograph by Boris Mironov, “The Russian Empire: From Tradition to Modernity.” Potkina considers such topics as the situation in contemporary national historiography; the theoretical and methodological basis of research; national policy; religious and class discrimination of the country’s population; and the characteristics of public administration and its effectiveness. She drew attention to the need to expand the concept of human capital through incorporating issues of the formation of secondary and higher vocational education, which played an important role in providing commercial and industrial firms with certified specialists at the turn of the 20th century. The contribution of Russian entrepreneurs and their hired managers in strengthening links between industry and science is particularly emphasized, and the role of representative organizations of the commercial and industrial class in the development of professional education is revealed. The author also shows the complex interaction between traditional and modern Western culture in Imperial Russia during the period of modernization, their mutual influence and finally, their natural convergence. These processes are demonstrated through examples of the business culture of the Morozov merchant dynasty, the art of lacquered miniatures by Mstiora, Palekh, Kholui, and Fedoskino as well as Russian spiritual and classical music in the 15th to 20th centuries.

Keywords: historiography; research methodology; modernization; economic development; governance; the nationality question; technical education; engineering and technical personnel; commercial firms; traditional culture.

Выход в свет трехтомника Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну» – заметное явление в современной отечественной исторической науке.

Во-первых, это фундаментальный обобщающий труд, опирающийся на огромный массив разнообразных опубликованных и архивных документов, а также на солидную историографическую базу, которая включает труды отечественных и зарубежных ученых. В современной России появление обобщающего труда в последние годы стало довольно редким явлением, подавляющее большинство опубликованных работ относятся к категории конкретно-исторических исследований, в которых нередко абстрагируются от исторических обобщений.

* Corresponding author

E-mail addresses: potka@inbox.ru (I.V. Potkina)

Обращает на себя внимание своеобразный исследовательский прием, которым успешно пользуется автор, когда анализ историографии органично вплетается в общий ход рассуждений и пронизывает все подразделы трехтомника. При этом полученные другими историками результаты, несмотря даже на принципиальные разногласия с взглядами Б.Н. Миронова, используются последним для подтверждения его собственных наблюдений. Очень хочется, чтобы свободное владение отечественной и зарубежной историографией, неформальный и вдумчивый подход к изучению трудов предшественников, равно как и своих оппонентов по цеху, которым отличаются все работы Б.Н. Миронова, вошли в повседневную научную практику.

Появление любого обобщающего труда, посвященного изучению 300-летнего периода отечественной истории, неизбежно привлекает к себе внимание, поскольку данный период, в особенности XIX–XX вв., является, пожалуй, самым противоречивым и неоднозначным. Стремление специалистов познать и интерпретировать имперскую стадию максимально адекватно реальности, что нашло отражение в огромном количестве неравнозначных по качеству фиксации информации документах, с течением времени не ослабевает. И если ученому удалось ввести в научный оборот ранее не использовавшиеся массовые источники или по-иному взглянуть на старые, то известность его книге и широкое ее обсуждение гарантированы (Миронов, 2012; Миронов, 2013). В этом отношении Б.Н. Миронову с моей точки зрения нет равных.

Во-вторых, почему монография Б.Н. Миронова, на мой взгляд, в очередной раз завоевывает популярность и широкую читательскую аудиторию. Дело в том, что ученый уделяет повышенное внимание проблемам идейно-теоретического осмысления истории. Следует отметить, что он подметил одну тревожную тенденцию в развитии современной российской историографии, как то: или сознательный отказ от рассмотрения теоретико-методологических основ предпринимаемого тем или иным автором исследования, или формально-ритуальный характер данного подраздела в работах большинства историков. Борис Николаевич, напротив, подходит к этим вопросам и серьезно, и творчески, и, как всегда, оригинально. Он не просто отводит особый вводный подраздел, в котором рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к изучению исторического прошлого (Миронов, 2014: 31–74), но и достаточно убедительно и аргументировано показывает эффективность того или иного метода в решении исследовательских задач.

Сам Б.Н. Миронов пишет о том, что он не отдает предпочтение какой-либо теории, а берет сочетание инструментов анализа, свойственных различным концепциям, но, однако, тем, которые приводят к успешному результату. Такой прагматичный подход, на мой взгляд обоснованный автором, наверняка вызовет негативную реакцию у части исторического сообщества и обвинения в теоретическом эклектизме. Может быть, они и имели бы под собой определенные основания, если бы Б.Н. Миронов в завершении не остановился на вопросе о том, какие основные постулаты теорий не получили подтверждения в ходе предпринятого им комплексного историко-экономического, общественно-политического и социокультурного исследования. Автор успешно реализует не только междисциплинарный подход в своей работе, но и положительные возможности теоретического многообразия, или, как некоторые сказали бы с пренебрежением, эклектизма. А последний, как следует из текста монографии, не относится к недостаткам общих взглядов и исходных позиций исследователя.

Как показал Б.Н. Миронов, меньше всего «повезло» при объяснении 300-летней истории России марксистскому методу и цивилизационному подходу, однако и у их приверженцев он находит позитивные и конструктивные идеи, позволяющие интерпретировать прошлое. Этот подраздел небольшой по объему, но очень увлекательно написанный и провоцирующий на размышления. Например, расхожий тезис советских времен о классе, эксплуатирующем труд наемных пролетариев, вряд ли можно назвать плодотворным с познавательной точки зрения. Действительно, в системе координат марксистского метода с моей точки зрения нет полноценного объяснения феномену предпринимательства. Известно, что русский религиозный философ С.Н. Булгаков, кстати ушедший от «легального марксизма», рассматривал эту сферу деятельности человека как акт творчества, а Й. Шумпетер сформулировал концепцию «новатора». Эти идеи, равно как и других их современников, позволяют уйти от описательности и подойти к изучению феномена предпринимательства со строго научных позиций. В который раз работы

известного и, пожалуй, самого полемичного в современной России историка убеждают в том, что нет универсальных теорий, которые смогли бы дать максимально приближенное к неоднозначной и противоречивой реальности объяснение многослойному и многогранному историческому процессу. Спектр исследовательских приемов Б.Н. Миронова весьма широк: это полный набор традиционных методов исторического исследования, статистического анализа, а также антропометрия и методы демографического прогнозирования – все то, что было им ранее задействовано в других монографиях.

В-третьих, почему не останется незамеченным экспертным сообществом труд Б.Н. Миронова. На мой взгляд, потому что трехтомник посвящен одной из самых актуальных и дискуссионных тем российской истории, которую автор целенаправленно изучал все предшествующие годы. Новое произведение, как можно понять из его сопоставления с книгами «Социальная история России...» (Миронов, 2003) и «Благосостояние населения и революции в имперской России...» (Миронов, 2012), – это не механическое соединение ранее опубликованных трудов, а творческое развитие главных положений прежних изданий, с дополнениями и доработкой, с включением новых данных, вопросов и аргументов. В силу этого изменилась структура труда, тематические рубрики, претерпели корректировку таблицы. По-новому написаны предисловие, введение и заключительная глава. Неизменной осталась главная цель исследования – доказательство схожести процесса исторической эволюции России и стран Западной Европы от традиции к модерну. Это красной нитью проходит через все подразделы трехтомника, Б.Н. Миронов не отступает от своей идеи ни разу, последовательно убеждая читателя в своей правоте, которая опирается на прочный фундамент фактов, источников, научной и художественной литературы, исторических фотографий.

Например, глава, посвященная проблемам колонизации (Миронов, 2014: 75–321), значительно расширилась за счет включения вопросов национальной политики и управления национальными окраинами. Особый подраздел посвящен положению евреев в Российской империи, в этом вопросе действительно стоит спокойно и непредвзято разобраться, опираясь на источники, поскольку в литературе и в быту превалирует искаженное представление на сей счет. Не оспаривая сам факт имевшей место в истории России дискриминации по национальному и религиозному признаку, хочу отметить обнаруженную мной тенденцию постепенного снятия законодательных ограничений, которое завершилось отменой в 1915 г. черты оседлости и отказом от применения сословного принципа в предпринимательской деятельности еврейского населения. Показанные и обобщенные Б.Н. Мироновым факты свидетельствуют о неуклонной либерализации правительственной политики в национальном вопросе. Добавлю только как характерную деталь, что в Российской империи была национальная окраина-автономия – Великое княжество Финляндское, где коронная администрации сохранила прежнее шведское законодательство во многих сферах экономической и общественной жизни, а затем предоставила финнам самим заниматься его реформированием. Так вот, отношение к евреям там было, с моей точки зрения, просто ужасающим, но об этом сейчас почему-то неpolitкорректно говорить. Увы, факты национальной и религиозной дискриминации были характерны для многих стран Европы, и от нее избавлялись постепенно в течение десятилетий. То же было и в России. При этом я считаю, что самым ущемленным сословием у нас являлось крестьянство, для которого существовало свое особое законодательство, и оно, крестьянство, долго не могло реализовать в полной мере право частной собственности на землю. Эти наблюдения, полученные в результате анализа реконструированного массива законодательных источников под названием «предпринимательское право» Российской империи, находятся в полном согласии с выводами Б.Н. Миронова, сделанными в главе 10 «Право и суд, преступление и наказание» (Миронов, 2015b: 9–165).

То же можно сказать и о главе 8 «Государственность и государство» (Миронов, 2015a: 345–685), в которой поднимаются жизненно важные вопросы недоуправляемости, численности чиновников и дефицита административного ресурса, а главное – эффективности государственного управления. К решению этой проблемы Б.Н. Миронов подходит здраво и взвешенно, опираясь на опыт отечественных и зарубежных историко-экономических исследований и выдвигая научные критерии оценки. Причем эти критерии примерно одинаковы как для микроуровня (фирма), так и для макроуровня (государство), и, самое важное, они приняты мировым научным сообществом: историками-экономистами и политологами. Длительное изучение делопроизводственной и финансовой документации

различных крупных российских и иностранных компаний позволило сделать ряд важных выводов: о тенденции их устойчивого роста во второй половине XIX – начале XX в., несмотря на периодические экономические кризисы, а также о трансформации системы управления, продолжительном социальном спокойствии, повышении уровня заработной платы и в конечном счете улучшении качества жизни. Экономика России, как и остальных стран, представляла собой совокупность фирм, и, как уже доказано многочисленными исследованиями по «бизнес-истории», именно на этом уровне формируются конкурентные преимущества.

Трудно не согласиться с утверждением Б.Н. Миронова о том, что необходимо «опираться на данные о результатах функционирования государственного аппарата». Он солидаризуется с американскими политологами Г. Алмондом, Дж. Пауэллом, К. Стромом и Р. Далтоном, считая, что надо смотреть на долгосрочный устойчивый рост экономики, политическую и социальную стабильность, повышение жизненного уровня населения и улучшение его основных демографических характеристик (Миронов, 2015а: 570). Так вот, с этой точки зрения позиции России были не так уж плохи, и Б.Н. Миронов на протяжении многих лет в своих работах доказывает положительный тренд в развитии. Делается это и на страницах всего трехтомника, в особенности в заключительной главе 13 «Итоги развития России в период империи» (Миронов, 2015b: 591–709). Он подчеркивает, что именно в 1894–1914 гг. наблюдались наивысшие темпы развития страны во всех сферах, в том числе в государственном строительстве (Миронов, 2015а: 582). Следует отметить, что причины медленной модернизации, по убеждению автора, были обусловлены недоуправляемостью. Мне представляется, что в этом сыграли свою роль также размеры страны, масштабы экономики. Это все равно что река, которая неспешно течет по бескрайним просторам равнины.

Проблема человеческого капитала России, рассматриваемая в особом подразделе, раскрыта, как я думаю, не полностью. В новом произведении она получила дальнейшее развитие по сравнению с книгой «Благосостояние населения и революции в имперской России...», где затрагивался вопрос об образовании рекрутов на основе формулярных списков. Свое понимание термина Б.Н. Миронов дает на с. 745 (Миронов, 2015b). С самого начала автор конкретизирует исходные позиции, выбирая из разных измерителей величины человеческого капитала собственно уровень грамотности. В результате он ограничивает рассмотрение проблемы вопросом распространения грамотности среди населения, однако берет огромный отрезок времени в 1000 лет. Для ученого очень важна доказательственная база и в первую очередь массовые данные, которые дают целостную и более объективную картину по сравнению с нарративными источниками. С этой целью он опирается на материалы Первой всероссийской переписи населения и изучает динамику грамотности с 1797 по 1897 г. Что касается раннего периода, то Б.Н. Миронов привлекает сведения, полученные другими исследователями вопроса. Общий вывод сводится к тому, что грамотность среди простого населения до XVIII в. развивалась крайне медленно, и только с отменой крепостного права к ее приобретению наблюдается повышенный массовый интерес (Миронов, 2015b: 499–500).

Хотелось бы отметить, что в науке существует и более широкое толкование термина «человеческий капитал», которое связано с современной ситуацией. С точки зрения инвестиций эксперты Всемирного банка учитывают расходы семей на питание, одежду, жилище, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. Иными словами, если говорить кратко, то человеческий капитал – это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. Если приспособить современное содержание термина к истории Российской империи XIX – начала XX в., тогда получается следующее. Человеческий капитал – это также и становление среднего специального и высшего образования, уровень квалификации наемных работников на разных ступенях экономической структуры, каналы и способы взаимодействия высшего и среднего специального образования с торгово-промышленными предприятиями, обеспечение охраны труда и здоровья работников, а также организация досуга и развлечений. Из этого широкого толкования кратко остановимся на проблемах становления среднего и специального высшего образования и уровне квалификации управленческого персонала торгово-промышленных фирм. Как представляется, эти аспекты не менее важны для понимания тенденций экономического развития России на рубеже веков и высоких темпов роста, более того, они весьма показательны с точки зрения эволюции страны от

традиции к модерну и работают на общие взгляды Б.Н. Миронова. Концепция человеческого капитала в широком смысле наглядно показывает отличительную особенность России: совмещение различных стадий развития.

Процесс становления инженерно-технического образования в России растянулся практически на весь XIX в., причем он шел в двух направлениях. Во-первых, формирование системы специализированных ремесленных школ и коммерческих училищ, которые поставляли конторских служащих в набиравшие обороты торгово-промышленные предприятия. Во-вторых, в России во второй половине XIX в. стали появляться высшие инженерно-технические училища, которые готовили кадры для российской текстильной и тяжелой промышленности, а также для железных дорог. И в том, и другом случаях процесс усилился к концу XIX в. К 1913 г. Россия располагала в общей сложности 754 средними заведениями с численностью учащихся 119 720, которые были подведомственны министерствам народного просвещения и торговли и промышленности. Что касается высшего образования, то инженерно-промышленных институтов (государственных, общественных и частных) насчитывалось 17 с почти 24 тыс. студентов (Россия, 1995: 331, 337, 346–347). Говоря иначе, вступление Российской империи в фазу современного экономического роста потребовало привлечения в промышленность высококвалифицированных кадров, имеющих специальную подготовку. Быстрый рост числа учебных заведений говорит о том, что страна сумела ответить на вызов времени. Более того, по мнению некоторых отечественных специалистов, «Россия уже между 1904 и 1914 годами (вместе с США) стала мировым лидером в области технического образования, обойдя Германию» (Сапрыкин, 2009: 46).

В этом процессе есть еще один важный аспект, который характеризует успехи страны в подготовке инженерных кадров. Это та роль, которую сыграли представительские организации торгово-промышленного класса. Несмотря на то что в последнее время их история активно изучается, образовательной функции уделяется недостаточно внимания, и именно в контексте концепции человеческого капитала. Во-первых, сфера образования и просветительская деятельность стали полем взаимодействия государства и общественных организаций; во-вторых, инженерно-технический персонал коммерческих фирм сыграл важную роль в укреплении связи науки и производства. Лидером в развитии среднего технического образования являлось Русское техническое общество, организовавшее к 1903 г., по данным Н.Г. Филиппова, только в одном Петербурге 63 школы, в которых обучалось почти 7 тыс. подростков (Филиппов, 1976: 168). В целом Министерство народного просвещения ежегодно перечисляло 12 тыс. руб. на общие расходы, а на содержание некоторых школ доля государственных учреждений в финансировании колебалась от 36 до 76 % (Бюджет, 1908: 2, 4, 6). Подготовка инженерных кадров и специалистов среднего звена – это особая тема, и она требует глубокого изучения, и, конечно, как мне представляется, ее можно было поставить как проблему в рамках фундаментального и обобщающего труда Б.Н. Миронова. Что касается уровня квалификации управленческого персонала фирм, то и эта проблема слабо изучена в нашей историографии. Ограничусь только тем, что в ряде крупнейших торгово-промышленных предприятий ключевые посты в администрации и на производстве занимали специалисты не только с высшим образованием, но и получившие научные степени. Проблема человеческого капитала, решаемая в широком контексте, позволяет определить дополнительные аспекты в теме формирования гражданского общества и показать те позитивные сдвиги, которые произошли в позднимперский период.

В завершение обзора хотелось бы остановиться на некоторых вопросах взаимодействия традиционной и современной культуры в процессе модернизации Российской империи. И здесь можно обнаружить удивительные метаморфозы. Поскольку вопрос веры не обсуждается, то дискуссию переведем в другую плоскость. Возражая утверждению о том, что почитание икон и посещение святых мест – это не что иное, как предрассудки, относящиеся к элементам традиционной культуры, приведу следующее. Такие представители известной купеческой династии России, как Т.С. и М.Ф. Морозовы, сумевшие вывести Никольскую мануфактуру в ряды лидеров текстильной индустрии, оборудовали у себя в городской усадьбе в Трехсвятительском переулке моленную, по сути дела домашнюю церковь. Все 43 года, за которые в архивах сохранились главные книги Товарищества, в правом верхнем углу титульной страницы от руки неизменно писали «Господи благослови!». Супруги, не имевшие систематического высшего образования, привлекли к работе в Товарищество высококлассных бухгалтеров, делопроизводителей, инженеров-технологов,

механиков и электриков, которые представляли собой среднее и высшее звено управленцев. Их знания и умения помогли создать в итоге успешно работающее интегрированное предприятие с полным циклом производства и развитой социальной инфраструктурой. Религиозное воспитание старших Морозовых нисколько не помешало им активно поддерживать науку и искусство.

Другой не менее характерный пример. Как известно, искусство лаковой миниатюры по папье-маше пришло в Россию из Германии. Росписью шкатулок и табакерок занялись иконописцы миниатюристы – так у нас появились высокохудожественные народные промыслы Палеха, Мстеры, Федоскина, Холуя. Их материально поддержал старший сын Морозовых, Сергей, выпускник Московского университета. Художники работали, подпитываясь образами традиционной культуры, но создавали произведения с религиозными и светскими сюжетами. И, наконец, в России в церковной хоровой музыке наряду с древним одноголосным знаменным распевом со второй половины XVI в. культивировалось демественное (многоголосное) пение, а в светской – с XVII в. широкое распространение получили многоголосные канты. Инструментальная музыка западного образца пришла к нам только в XVIII в., и она легла на очень хорошо подготовленную почву. И поскольку русские люди воспринимали музыку не просто как совокупность нот, выстроенных в определенном порядке, а как нечто возвышенное, как ступени восхождения к Богу, то к концу столетия в нашей светской культуре уже имелись высокие образцы инструментальной музыки, которые принадлежали перу русских композиторов. В дальнейшем мы создали и собственную школу исполнительского искусства, теперь признанную во всем мире. А традиция создания духовных и светских произведений, как известно, начинает отчет с композиторов XVIII в. М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского и переходит к П.И. Чайковскому, С.В. Рахманинову, Г.В. Свиридову и др. Иными словами, в сфере культуры была более сложная и, я бы сказала, причудливая динамика по сравнению с общим движением от традиции к модерну. С моей точки зрения в России произошло органичное взаимопроникновение двух культур.

Б.Н. Миронов создал значительное произведение, которое требует внимательного прочтения и длительного осмысления. Этот обобщающий труд крайне необходим нашей науке, высшей школе и современным политологам.

Литература

Бюджет, 1908 – Русское Техническое общество. Бюджет Постоянной комиссии по техническому образованию на 1908 год. Б. м., б. г.

Миронов, 2003 – *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

Миронов, 2012 – *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд., испр., доп. М.: Весь мир, 2012. 848 с.

Миронов, 2013 – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015a – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015b – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Россия, 1995 – Россия 1913 г.: статистико-документальный справочник. СПб.: БЛИЦ, 1995. 416 с.

Сапрыкин, 2009 – *Сапрыкин Д.Л.* Образовательный потенциал Российской империи. М.: ИИЕТ РАН, 2009. 176 с.

Филиппов, 1976 – *Филиппов Н.Г.* Научно-технические общества в России (1866–1917). М.: МГИАИ, 1976. 216 с.

References

- Byudzhët, 1908** – Russkoe Tekhnicheskoe obshchestvo. Byudzhët Postoyannoi komissii po tekhnicheskomu obrazovaniyu na 1908 god [Russian technical society. Budget of the Standing commission for technical education on 1908 year]. B. m., b. g. [in Russian].
- Filippov, 1976** – *Filippov N.G.* Nauchno-tekhnicheskie obshchestva v Rossii (1866–1917) [Scientific and Technical Societies in Russia (1866–1917)]. Moscow: Moscow State Institute for History and Archives, 1976. 216 p. [in Russian].
- Mironov, 2003** – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 3rd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].
- Mironov, 2012** – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].
- Mironov, 2013** – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nnavy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].
- Mironov, 2014** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- Mironov, 2015a** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- Mironov, 2015b** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- Rossiia, 1995** – Rossiia 1913 god: statistiko-dokumental'nyi spravochnik [Russia in 1913: statistical and documentary reference book]. St. Petersburg: BLITS, 1995. 416 p. [in Russian].
- Saprykin, 2009** – *Saprykin D.L.* Obrazovatel'nyi potentsial Rossiiskoi imperii [The educational potential of the Russian Empire]. Moscow: Institute of History of Science and Technology RAS, 2009. 176 p. [in Russian].

УДК 93(47)

Феномен российской модернизации: исследовательские подходы, проблемы правового государства, управления и человеческого капитала

Ирина Викторовна Поткина^{a, *}

^a Институт российской истории Российской академии наук, Российская Федерация

Аннотация. Статья является откликом на ряд важных проблем общественно-политического и социально-экономического развития Российской империи в XVIII–XX вв., которые были рассмотрены в фундаментальной и комплексной монографии Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну». Поткина рассмотрела такие темы, как состояние современной отечественной историографии, теоретико-методологическая база исследований, национальная политика, религиозная и сословная дискриминация населения страны, особенности государственного управления и его эффективность. Обращено внимание на необходимость расширения концепции человеческого капитала за счет включения вопросов становления среднего и высшего специального образования, которое сыграло большую роль в обеспечении торгово-промышленных фирм дипломированными специалистами на рубеже XIX–XX вв. Особо подчеркивается вклад российских предпринимателей и их наемных управляющих в укрепление связи производства с наукой и

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: potka@inbox.ru (И.В. Поткина)

раскрывается роль представительских организаций торгово-промышленного класса в развитии профессионального образования. Автор также показывает сложное взаимодействие традиционной и современной западной культуры в имперской России в период модернизации, их взаимовлияние и в конечном счете органичное слияние. Указанные процессы раскрываются на примерах деловой культуры купеческой династии Морозовых, искусства лаковой миниатюры Мстеры, Палеха, Федоскина, Холуя, а также духовной и классической музыки России XV–XX вв.

Ключевые слова: историография; методология исследований; модернизация; экономическое развитие; управление; национальный вопрос; техническое образование; инженерно-технический персонал; коммерческие фирмы; традиционная культура.

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 890-898, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

“It is Necessary to Create a New Suitably Positive Past”: Boris Mironov in Russian Imperial Historiography

Valery V. Kerov^{a, *}^a National Research University Higher School of Economics, Russian Federation

Abstract

This article is devoted to the contemporary historiography of Russia as an empire from the 18th to the 20th centuries, the history of Russian “imperium.” This analysis is based on criticism of Boris Mironov’s monograph “The Russian Empire: From Tradition to Modernity.” The history of world empires is an important area of contemporary world historiography, which has the greatest relevance in current international relations. In Mironov’s multifaceted work, both the author’s own research and the historiographical results of the last two decades are used. The results of the analysis of the new social history of Russia (the history of the peasantry, urban groups, bureaucracies, intellectuals, businessmen, etc.) are given, as well as the new history of the state and law. Ethno-confessional politics and the “history of expansion” seem to be the central themes of modern imperial historiography. Mironov convincingly refutes the myth of Russia as a “prison of nations.” Confessional policy is also considered. The questions of heterogeneity and the endogenous character of revolutionary crises in Russia became the focus of the discussion within “new imperial history.” Here supporters of various historiographical orientations, despite formal differences, agree that the imperial system in Russia experienced crises caused by rapid modernization, and was followed by the new “imperial” (or quasi-imperial) period characterized by significant features and many common trends. An important feature of the modern “imperial” historiography and the history of Russia in general, according to the considered works, is the ideological approach of contemporary national scientific and historical discourse.

Keywords: Russian Empire; modern historiography; ethno-confessional politics; social history; history of mentalities; modernization; historical optimism; modernization; historical optimism; Old Believers; ethno-confessional relations; anti-Semitism.

Последние два десятилетия в нашей стране активно формируется «имперская» историография, или «новая имперская история». Это историография не истории Российской империи, но истории России как империи, истории ее «имперства».

За рубежом история империй Нового времени и современности начала свое развитие с середины XIX в. Сопоставительный анализ с использованием материала по Российской империи производился уже с 1890-х гг. К началу XXI в. Российская империя заняла прочное место среди объектов изучения мировой «имперской» историографии. Новейшая зарубежная и отечественная «новая имперская история» рассматривает весь спектр проблем исторического «имперства» (историографию см.: [Антология, 2005](#); [Щербина, 2007](#); [Соблиров, 2009](#); [Сухова, Ягов, 2015](#); и др.): от роли элиты в формировании империи и ее

* Corresponding author

E-mail addresses: vkerov@hse.ru (V.V. Kerov)

политики до мифологем имперского сознания. Основное внимание в последнее время уделяется соотношению «имперского» и «национального» в истории Российской империи, как и других исторических аналогов. Важное место занимает потенциальная кризисность империи и имперской системы, роль и место революций в имперской истории, а также роль империи в модернизации страны.

Вопрос условий и факторов ревитализации империи не вызывает острых споров. Здесь авторы лишь дополняют друг друга. Главная же дискуссия в российской историографии ведется вокруг закономерности самих революционных кризисов, завершающихся очередным «концом империи». Вызрели ли революционные кризисы длительный срок и имели ли они системный характер или империя могла развиваться еще долгое время?

Одна из точек зрения в наиболее выпуклой форме представлена в работах В.П. Булдакова, считающего, что «кризисная острота» «движения» империи обуславливалась в соответствующие периоды не только «бедственным положением» населения, но и «степенью несостоятельности властного начала в глазах народа». В России революционные кризисы, нарушавшие равновесие имперской системы, формировались постепенно. Они были вполне закономерны и «генетически» обусловлены (Булдаков, 2010: 663, 669–670, 900).

Противоположная точка зрения содержится в работах Б.Н. Миронова, входящего по версии РИНЦ в десятку наиболее цитируемых российских историков. В центральной исторической печати неоднократно обсуждались его работы (Круглый стол, 2000; Ахиезер, 2000; и др.). Особенный интерес вызвала «Социальная история России периода империи...» (Миронов, 1999). П. Гейтрелл авторитетно заявил, что ему «неизвестно ни одного равноценного исследования», тем более с индивидуальным авторством (Круглый стол, 2000: 45).

Недавно вышедший монументальный трехтомник «Российская империя: от традиции к модерну» включает материал «Социальной истории...» и является ее развитием. Труд основан как на собственных многолетних исследованиях Б.Н. Миронова, так и на обобщении российской и зарубежной историографии последних десятилетий. Он имеет энциклопедический характер, совмещая проблематику собственно социальной истории с историей государственных управленческих и правовых институтов, а также другие вопросы российской истории.

Очень важны для работы подразделы о ментальности различных социальных групп отечественного социума. Исследование включает очень интересные описания «картины мира» крестьян и рабочих, а также бюрократии. Значителен анализ других характеристик российских чиновников: от образования до управленческого профессионализма, быстрый рост уровня которого свидетельствовал о «движении к правовому государству».

При этом чрезмерно кратким и упрощенным выглядит материал о ментальности той общности, которую Миронов именует «буржуазией», в то время как в последние 25 лет возникла обширнейшая историография истории российских предпринимателей различных социальных подгрупп и этноконфессиональных сообществ. Многие работы касаются в том числе мировоззрения и менталитета наших бизнесменов. Историографически фундированная история этого очень значимого сектора российского социума, анализ его участия в модернизационных процессах, отношений с властью и пр. по непонятной причине отсутствуют в этой обобщающей монографии.

Интеллигенция также несколько «обижена» в работе чересчур схематизированными и противоречивыми описаниями. Однако в основном материал монографии дает возможность производить значительные выводы по различным вопросам российской истории.

Достоинством работы без сомнения также является успешная и последовательная борьба с историографическими мифами. Подраздел о крепостном хозяйстве и крестьянской реформе вообще чрезвычайно интересен весь, однако стоит обратить внимание на анализ эффективности крепостного хозяйства. Барщинные хозяйства, управлявшиеся вотчинной администрацией, были, по данным Миронова, вдвое более прибыльными, имели более высокую урожайность и более высокий сбор хлебов на одного работника, т. е. более высокий уровень производительности труда, чем оброчные. В условиях глубокого традиционализма русского крестьянина и его представлений о труде и собственности «более строгий надзор» владельцев обеспечивал большую эффективность, производительность труда и не менее высокий уровень жизни, чем у государственных крестьян.

Правда, не все аргументы здесь однозначны. Так, в качестве одного из доказательств вышеназванного тезиса приводятся данные об отсутствии различия в среднем росте («длине тела») различных категорий крестьянства, а также сведения о более высокой производительности рабского труда в США по сравнению со свободным трудом в этой стране. Желание меньше работать, якобы, стало главным стимулом антикрепостнических настроений российских крестьян, а единственной проблемой крепостничества для власти стала невозможность в первой половине XIX в. сохранять «прежний уровень насилия».

Одна из центральных по значимости тем монографии – национальная политика империи. Описание и анализ развития национальной политики в России с определением этапов и факторов ее формирования важны для общей концепции работы и в целом аргументированы. Здесь очень интересны подразделы, посвященные «русификации» национальных регионов в сопоставлении с европейскими аналогами. По выражению Б.Н. Миронова, Россия «не была ни тюрьмой народов, ни домом дружбы, а являлась... общежитием с комендантом во главе» (Миронов, 2014: 93). Этот «начальник», якобы, пытался со всеми общаться одинаково, хотя... у него были «свои фавориты и парии». Конфликты в таком «общежитии» были неизбежны, с развитием российского общества росло их число, как и количество мечтавших «об отдельной квартире». Национальные вопросы, тесно сопряженные с конфессиональными, делает вывод Миронов, верховная власть решала с общеимперской точки зрения.

Эта концепция, несмотря на ее некоторый схематизм и уместную скорее в лекции образность в целом адекватна реальности. Творец национальной политики начала XX в. П.А. Столыпин заявлял о ее мотивах: «...то, что нам всего ближе, всего дороже, – исторические державные права России». Если «народы забывают иногда о своих национальных задачах... такие народы гибнут, они превращаются в наем, в удобрение...» (Столыпин, 1991: 149, 305).

Эти интересы оказывались важнее, чем другие аспекты национально-конфессиональной политики. На границах империи приоритет отдавался русским элементам, которые должны были противодействовать сепаратистским и антирусским тенденциям (Столыпин, 1991: 208, 283, 325). Преследуемые в стране сообщества использовались как заслоны на пути «чужого» влияния вблизи рубежей страны, а также в противодействии укреплению влияния нерусских народов, имеющих за рубежом значительные анклавы. В Белоруссии и Правобережной Украине, а также в Прибалтике гонимые в центральной части империи православные русские старообрядцы не чувствовали нажима со стороны властей, наоборот, здесь они пользовались их поддержкой в противостоянии полякам и немцам.

Правительство при этом старалось не ущемлять и местные этносы окраин. Этот вывод Миронова полностью соответствует идеям руководителей России начала XX в. «Желание нанести полякам напрасное оскорбление... – утверждал Столыпин, – было бы не только не великодушно, это было бы не государственно» (Столыпин, 1991: 225). Даже черносотенцы поддерживали веротерпимость и этнотолерантность русского государства (правда, они делали исключение для евреев). По их мнению, национальный вопрос должен разрешаться «сообразно степени каждой народности служить России и Русскому народу в достижении общегосударственных задач».

Объективность и стремление избежать национальных конфликтов, по мнению Б.Н. Миронова, реализовывались в обязательном «сохранении существовавшего до вхождения в состав России административного порядка, местных законов и учреждений, отношений земельной собственности, верований, языка и культуры» (Миронов, 2014: 117), сотрудничестве с местной элитой. Национальная политика «отличалась прагматизмом и терпимостью» (Миронов, 2014: 272), что обеспечивало успешное решение национального вопроса.

В то же время такой глубокий исследователь, как Б.Н. Миронов, не мог делать вид, что не существовало множества случаев отступления от норм национальной и конфессиональной «толерантности». Их автор объясняет реакцией российского государства на «враждебность и сепаратизм» (например, Польша после восстаний 1830–1831 и 1863 гг.).

Однако совершенно неясным в рамках этой концепции остается вопрос о «враждебности и сепаратизме» евреев, ведь ни одного еврейского восстания в России зафиксировано не было. Объяснения ярко выраженного антисемитизма российской национальной и конфессиональной политики его «европейскими корнями» совершенно

недостаточно. Скорее в евреях видели агентов западного влияния. Черносотенцы объясняли необходимость ущемления евреев как раз тем, что это сообщество являлось, якобы, проводником западного влияния, поскольку «русское еврейство связано с мировым еврейством», которое «не покладая рук» работало «против России» (Шульгин, 1992: 27, 226–228 и др.). Кроме того, если руководствоваться концепцией реакции на «враждебность», то можно было бы объяснить ужесточение дискриминации евреев (1908–1909 гг. – пониженные «процентные нормы» на прием в высшие и средние учебные заведения; 1913–1914 гг. – существенные ограничения на участие евреев в руководстве акционерными обществами и др.) их ролью в революционном движении 1905–1907 гг. Однако государственный антисемитизм гораздо старше, чем революционаризм части еврейской молодежи и революционное движение в России вообще.

Б.Н. Миронов отмечает, что правительственные «ограничительные» меры были даже полезны, так как заставляли евреев интенсифицировать свои усилия в борьбе за личный успех. Однако относительно высокая традиционная грамотность евреев, их стремление преодолеть ограничения при помощи предпринимательской деятельности или путем получения высшего образования лишь в определенном смысле вызывались к жизни гонениями. Коммерческий успех и высокая доля евреев в среде российских юристов и медиков обуславливались прежде всего конфессионально-этической системой иудаизма и социальными традициями диаспоры. «Еврейский капитал» был успешен в том числе в странах, где гонений не было.

Вообще Б.Н. Миронов называет российскую антиеврейскую политику «либеральной политикой селективной интеграции» (!). «Назвать еврейскую политику российского правительства антисемитской вряд ли правильно и справедливо», – утверждает он (Миронов, 2014: 217). Здесь остается непонятным, как тогда оценивать более 500 дискриминационных законов, ограничивавших права «лиц иудейского вероисповедания» в стране, где проживало более половины мировой еврейской диаспоры (свыше 5 млн чел.), а также сам принцип «черты оседлости», в рамках которой российские евреи пользовались правами меньшими, чем обитатели известного венецианского острова Гетто.

Еще одним неоднозначно выглядящим аспектом монографии представляется описание и анализ репрессивной политики в отношении старообрядцев. Б.Н. Миронов относит старообрядческие общины наряду с декабристами и масонами (!) к «типичным» тайным политическим и религиозным ассоциациям, объединявшим людей, «не лояльных к существовавшему политическому режиму и официальной Православной церкви».

Историографическая мифология истории старообрядчества действительно содержит эпизод о «революционности» ревнителей древнего благочестия. Они, якобы, финансировали революционеров и сами, «увлеченные противоборством с вековым противником... были готовы взять в союзники любого, кто своими действиями способствовал их целям». В 1905 г. старообрядцы, по мнению некоторых авторов, формировали дружины, раздавали винтовки и сражались на баррикадах. В 1917 г. они вообще стали «наиболее активными деятелями» социалистической революции, а их «коллективизм», законсервированный в общинных принципах хозяйства, привел к появлению государства, которое соответствовало вере народных низов, «имевших староверческую окраску», в «Царство Божие на земле» (Пыжиков, 2013). Подобные мифы не имеют под собой никакого основания и получили должную оценку в литературе (Керов, 2014). Старообрядцы, как свидетельствуют источники, несмотря на нелояльное к ним отношение государства и особенно Синодальной церкви даже после Указа о веротерпимости от 17 апреля 1905 г., представляли собой вполне верноподданническую среду, где отсутствовали левые революционные тенденции. Соответственно, антистарообрядческая политика, переживавшая периоды интенсификации и некоторого ослабления, не может быть названа толерантной и вызывалась не «враждебностью» староверческих деноминаций, а иными факторами.

Следует отметить и другие неточности в работе Б.Н. Миронова в характеристиках старообрядцев. Неверно заключение о склонности старообрядцев к предпринимательству «по традиции, т. е. без рекламы, без холодного и точного расчета, с оглядкой на традиционные моральные принципы» (Миронов, 2015b: 400). Моральные принципы представляли собой развитие православной традиции в новых условиях, однако религиозный рационализм стал важным фактором воздействия конфессиональной системы

на возникновение и развитие системы старообрядческого хозяйствования. Старообрядцы выработали и организационно-экономический рационализм, для них была характерна жесткая самодисциплина и организованность.

Можно найти и другие дискуссионные положения монографии в связи с национальным и конфессиональным вопросами. Не вызывает поддержки аргументация положения о равенстве нерусских народов в Российской империи тем, что русские «подвергались дополнительной (? – В. К.) социальной дискриминации по сравнению с нерусскими» и «уступали... немцам, полякам и евреям... по степени урбанизированности, уровню грамотности, экономическому развитию, по числу лиц, занятых в сфере интеллектуального труда» (Миронов, 2014: 271–272). Вряд ли относительно низкий уровень «урбанизированности» русских явился результатом их дискриминации в империи.

В целом же очерки национальной политики можно считать удачей автора работы. Действительно, в начале XX в. руководство страны ясно осознавало необходимость ограничений в отношении различных этносов. П.А. Столыпин боролся за отмену или хотя бы ослабление дискриминации «лиц иудейского вероисповедания», за распространение земской реформы (пусть и в деформированном виде) на Западный край. Учитывая разницу в уровне жизни образования народов империи, различия в их традициях и культуре, он видел цель национальной политики в развитии российских этносов на службе России. «Для татар, для евреев существует особый способ комплектования войска, особое жребиеметание, особое свидетельствование. Набирают их отдельно, а потом сражайтесь вместе», – образно сказал премьер (Столыпин, 1991: 338). Нельзя не согласиться с тем, что концепт России как «тюрьмы народов» действительно представляет собой идеологический миф провокационного характера. Российская империя коренным образом отличалась в этом смысле от империи Британской с ее работоторговлей, тотальным ограблением «включенных» территорий и первыми в мире концентрационными лагерями для гражданского населения колоний. В то же время тезис о равенства народов Российской империи, так же как и определение национальной политики, в том числе в отношении евреев, как «либеральной политики селективной интеграции» выглядит чересчур безапелляционным.

Но все-таки главное историографическое значение имеют макровыводы в отношении имперской истории России.

Б.Н. Миронов убедительно доказал, что в XVIII – начале XX в. проходила «непрерывная форсированная глобальная модернизация», представлявшая собой «двухвековой гиперцикл» в развитии страны. Нельзя не согласиться с тем, что «имперская модернизация» имела и спонтанность, однако «главным образом» проводилась целенаправленно правящим классом, «направлялась и стимулировалась верховной властью, в политике, ориентированной на передовые страны и стремившейся насколько возможно сократить разрыв. Выдающаяся роль государства в процессе модернизации компенсировала не только недостаток инициативы со стороны народа, часто не понимавшего необходимости реформ и не желавшего их проводить, но и дефицит капитала, образования и культуры» (Миронов, 2015b: 718–719). «Традиция активной роли государства во всех сферах общественной жизни, часто опережавшая реальные стремления населения, была и остается исторически универсальной для России» (Миронов, 2015a: 733–735).

Внешние влияния при этом часто противодействовали российской модернизации. Ведущие зарубежные страны, включая те, откуда мы заимствовали модели создаваемых институтов и учреждений, «рассматривали Россию как соперника» и препятствовали ее утверждению в мировой экономике и политике. Тот факт, что эти мировые державы руководствовались собственными национальными интересами, вполне логичен: каждое государство обязано проводить политику именно в этом направлении. Однако часто «российская» политика Запада была обусловлена борьбой с потенциальным конкурентом на мировой арене. Особенно явно в изучаемый период это проявлялось в политике Британии, стремившейся доминировать над всем миром, якобы, в связи со своим предназначением. Сесил Родс (1853–1902), английский и южноафриканский политический деятель, активный проводник политики безудержной колонизаторской экспансии, сетовал: «Мир почти весь поделен, а то, что от него осталось, сейчас делится, завоевывается и колонизируется. Как жаль, что мы не можем добраться до звезд, сияющих над нами в ночном небе! Я бы аннексировал планеты, если бы смог; я часто думаю об этом» (Родс, 2016). Экспансия России в свете этого выглядит довольно умеренной, что и показал автор монографии.

Трехтомник Б.Н. Миронова можно назвать монументальной книгой выдающихся историографических достижений и маленьких историографических огрехов. Универсальность и многогранность исследовательского характера Б.Н. Миронова видна во всех его значительных трудах. Составляющие работу исследования различных вопросов российской истории будут, без сомнения, активно востребованы.

Главный же итог изучения работы можно сформулировать так: формирование общей теории кризиса имперских систем бесперспективно в рамках современного научно-исторического дискурса. Тезисы оппонентов в «имперской» дискуссии лишь внешне противоположны. В.П. Булдаков критикует Б.Н. Миронова за вывод об отсутствии «генетических изъянов» Российской империи и о возможности ее развития эволюционным путем и делает заключение о перманентности российского имперства, продолжающегося и в XX-м, и в XXI в. Империя восстанавливается синергетически, поскольку она – «скорее правило, чем временное состояние» нашей истории (Булдаков, 2010: 673). Но Б.Н. Миронов также говорит о существенной преемственности имперского советского и постсоветского периодов модернизации России (Миронов, 2015b: 713–718; Миронов, 2013: 77–92).

Следующий дискутируемый тезис – о спонтанности революционных кризисов. Некоторые историки считают, что имперская система сама продуцирует собственные кризисы, а развитие происходит на основе цикличности кризисов империи (Булдаков, 1997; Булдаков, 2010: 693). Б.Н. Миронов утверждает, что речь шла не о «глобальном перманентном кризисе», а о сочетании «неблагоприятных форс-мажорных внешних и внутрироссийских обстоятельств» (Миронов, 2015b: 691; Миронов, 2013: 77–92), которые не позволили обществу справиться с процессом модернизации. Однако здесь же он пишет о том, что революционный кризис «был болезнью роста» и результатом ускоренной модернизации, вызвавшей дезорганизацию и социальную напряженность, что на фоне ослабления социального контроля (также в связи с модернизацией) обеспечило резкий рост протестных движений. Миронов справедливо называет это «системным кризисом» (Миронов, 2015b: 690) (хотя и не таким, как «системный кризис», описанный в советской историографии).

В результате дискуссия оказывается концептуально иллюзорной и различия сводятся в основном к ответу на вопрос с сомнительным академическим смыслом: «хорошо» или «плохо» жили подданные Российской империи, бедствовало или богатело крестьянство, угнетались или гармонично развивались народы и т. п.? К чести Б.Н. Миронова, он сам это ясно понимает, так же как осознает условный характер доказуемости заключения по этому вопросу, которое определяется отнюдь не результатами эмпирического исследования российской имперской истории, а современными идеологическими целями. «Отечественным историкам, – пишет Б.Н. Миронов в своей монографии, – следует, как во всех “цивилизованных странах”, создать свое позитивное прошлое, которое бы помогало нам повысить свою самооценку и благодаря этому успешнее двигаться вперед. Позитивный образ не означает фальшивый. ...Новое адекватное позитивное прошлое... должно стать письменным научным текстом...» (Миронов, 2015b: 723–724). Вероятно, этот текст и будет представлять завтрашнюю российскую «имперскую» историографию.

Литература

Ахиезер, 2000 – Ахиезер А.С. Специфика исторического опыта России: трудности обобщения. Размышления над книгой Бориса Миронова // Pro et Contra. 2000. Осень. Т. 5, № 4. С. 209–221.

Антология, 2005 – Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: антология: сборник статей. М.: Новое издательство, 2005. 695 с.

Булдаков, 1997 – Булдаков В.П. Имперство и российская революционность // Отечественная история. 1997. № 1. С. 42–59; № 2. С. 20–47.

Булдаков, 2010 – Булдаков В.П. Красная смуга: Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 2010. 967 с.

Керов, 2014 – Керов В.В. Русская история сквозь призму старообрядческого фактора // Российская история. 2014. № 4. С. 203–213.

Круглый стол, 2000 – Российский старый порядок: опыт исторического синтеза: материалы круглого стола / сост. С. Секиринский // Отечественная история. 2000. № 6. С. 43–93.

Миронов, 1999 – *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

Миронов, 2013 – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015a – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015b – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Пыжиков, 2013 – *Пыжиков А.В.* Грани русского раскола: Заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года. М.: Древлехранилище, 2013. 646 с.

Родс, 2016 – Родс, Сесиль Джон // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81,%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD (дата обращения: 29.09.2016).

Соблиров, 2009 – *Соблиров Х.Х.* Исторический дискурс о России: «Многонациональная империя» или национальное государство // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. № 10-2. С. 100–104.

Столыпин, 1991 – *Столыпин П.А.* Нам нужна Великая Россия...: Полн. собр. речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911. М.: Молодая гвардия, 1991. 411 с.

Сухова, Ягов, 2015 – *Сухова О.А., Ягов О.В.* Имперская идентичность и формирование российской нации: историографические аспекты проблемы // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2015. № 3. С. 52–61.

Шульгин, 1992 – *Шульгин В.В.* «Что нам в них не нравится...»: Об антисемитизме в России. СПб.: Хорс, 1992. 286 с.

Щербина, 2007 – *Щербина А.В.* Современная западная историография об имперских институтах и политике имперской власти в России в конце XIX – начале XX в. // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2007. Спецвыпуск: Актуальные проблемы исторических исследований. С. 99–106.

References

Akhiezer, 2000 – *Akhiezer A.S.* Spetsifika istoricheskogo opyta Rossii: trudnosti obobshcheniya. Razmyshleniya nad knigoi Borisa Mironova [Specifics of historical experience of Russia: difficulties of generalization. Reflections over Boris Mironov's book] // Pro et Contra. 2000. Т. 5, nr 4, pp. 209–221 [in Russian].

Antologiya, 2005 – *Rossiiskaya imperiya v zarubezhnoi istoriografii. Raboty poslednikh let: antologiya* [The Russian Empire in a foreign historiography. Works of the last years]. Moscow: Novoe izdatel'stvo, 2005. 695 p. [in Russian].

Buldakov, 1997 – *Buldakov V.P.* Imperstvo i rossiiskaya revolyutsionnost' [Imperstvo and the Russian revolutionary] // Otechestvennaya istoriya [National history]. 1997. Nr 1, pp. 42–59; Nr 2, pp. 20–47.

Buldakov, 2010 – *Buldakov V.P.* Krasnaya smuta: Priroda i posledstviya revolyutsionnogo nasiliya [Red confusion: The nature and consequences of revolutionary violence]. Moscow: ROSSPEN, 2010. 967 p. [in Russian].

Kerov, 2014 – *Kerov V.V.* Russkaya istoriya skvoz' prizmu staroobryadcheskogo faktora [The Russian history through a prism of an Old Belief factor] // Rossiiskaya istoriya [Russian history]. 2014. Nr 4, pp. 203–213 [in Russian].

Kruglyi stol, 2000 – *Rossiiskii staryi poryadok: opyt istoricheskogo sinteza: materialy kruglogo stola* [Russian old regime: experience of historical synthesis: materials of the “round table”] / sost. S. Sekirinskii // Otechestvennaya istoriya [National history]. 2000. Nr 6, pp. 43–93 [in Russian].

Mironov, 1999 – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of

personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 т. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. Т. 1. 548 p.; Т. 2. 566 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nравy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Pyzhikov, 2013 – *Pyzhikov A.V.* Grani russkogo raskola: Zametki o nashei istorii ot XVII veka do 1917 goda [Facet the Russian split. Notes about our history from the 17th century to 1917]. Moscow: Drevlekhranilishche, 2013. 646 p. [in Russian].

Rods, 2016 – Rods, Sesil' Dzhon [Rhodes, Cecil John] // Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD (data obrashcheniya: 29.09.2016).

Shcherbina, 2007 – *Shcherbina A.V.* Sovremennaya zapadnaya istoriografiya ob imperskikh institutakh i politike imperskoi vlasti v Rossii v kontse XIX – nachale XX v. [Modern western historiography about imperial institutes and policy of the imperial power in Russia at the end of the 19th – early 20th century] // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Severo-Kavkazskii region. Obshchestvennye nauki [News of higher educational institutions. The North Caucasus region. Social Sciences]. 2007. Spetsial'nyi vypusk: Aktual'nye problemy istoricheskikh issledovaniy [Special issue: Actual problems of historical research], pp. 99–106 [in Russian].

Shul'gin, 1992 – *Shul'gin V.V.* “Chto nam v nikh ne nravitsya...”: Ob antisemitizme v Rossii [“That in them it is not pleasant to us...”: About anti-Semitism in Russia]. St. Petersburg: Khors, 1992. 286 p. [in Russian].

Soblirov, 2009 – *Soblirov Kh.Kh.* Istoricheskii diskurs o Rossii: “Mnogo-natsional'naya imperiya” ili natsional'noe gosudarstvo [Historical discourse about Russia: “The multinational empire” or national state] // Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovaniy [Scientific problems of humanitarian studies]. 2009. Nr 10-2, pp. 100–104 [in Russian].

Stolypin, 1991 – *Stolypin P.A.* Nam nuzhna Velikaya Rossiya...: Polnoye sobranie rechei v Gosudarstvennoi dume i Gosudarstvennom sovete. 1906–1911 [To us it is necessary Great Russia...: Complete collection of the speeches in the State Duma and the State Council. 1906–1911]. Moscow: Molodaya gvardiya, 1991. 411 p. [in Russian].

Sukhova, Yagov, 2015 – *Sukhova O.A., Yagov O.V.* Imperskaya identichnost' i formirovanie rossiiskoi natsii: istoriograficheskie aspekty problemy [Imperial identity and forming of the Russian nation: historiographic aspects of a problem] // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region. Gumanitarnye nauki [News of higher educational institutions. Povolzhskiy region. Humanities]. 2015. Nr 3, pp. 52–61 [in Russian].

УДК 94(47)

«Необходимо создать новое адекватное позитивное прошлое»: Б.Н. Миронов в российской имперской историографии

Валерий Всеволодович Керов^{а,*}

^а Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская Федерация

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: vkerov@hse.ru (В.В. Керов)

Аннотация. Статья посвящена современной историографии истории России XVIII – начала XX в. как империи, истории российского «имперства». Анализ строится на критике монографии Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну». История мировых империй является значимым направлением новейшей мировой историографии, обладающим высочайшей актуальностью в условиях современных международных отношений. В многосторонней работе Миронова использованы как собственные исследования автора, так и историографические итоги последних двух десятилетий. Приведены результаты анализа новой социальной истории России (истории крестьянства, городских слоев, бюрократии, интеллигенции, предпринимателей и др.), новой истории государства и права. Центральными темами современной имперской историографии представляются этноконфессиональная политика и «история экспансии». Миронов аргументированно опровергает миф о России как «тюрьме народов». Главным вопросом дискуссии в рамках «новой имперской истории» стал вопрос о гетерогенности и эндогенности революционных кризисов в России. Здесь сторонники различных историографических направлений, несмотря на формальные различия, сходятся в том, что имперская система в России переживает кризисы, порожденные ускоренной модернизацией, а вслед за ними наступает новый «имперский» (или квазиимперский) период, характеризующийся важными временными особенностями и многим общими тенденциями. Важной особенностью современной «имперской» историографии и вообще истории России, судя по рассмотренным работам, является идеологическая заданность современного отечественного научно-исторического дискурса.

Ключевые слова: Российская империя; современная историография; национальная политика; социальная история; история ментальности; модернизация; исторический оптимизм; старообрядцы; этноконфессиональные отношения; антисемитизм.

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 899-907, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

Modernization of “Collective Beliefs” and “Cultural Capital” in the Russian Empire: From Enlightened Absolutism to Civil Society

Ludmila M. Artamonova^{a, *}

^a Samara State Institute of Culture, Russian Federation

Abstract

This article concerns the issues touched upon by Boris Mironov in his book “The Russian Empire: From Tradition to Modernity,” which are connected with modernization processes in the sphere of culture and social interaction. Mironov uses the term “collective beliefs” to identify stable mass mental constructions in this sphere that are characteristic of different social groups, and he uses the concept of “cultural capital” as an important assessment of the level of development of society. L.M. Artamonova agrees with Mironov’s thesis, according to which accumulation of such capital in Russia took place, first of all, on the initiative of the supreme authority, which was enlightened during all the stages of its history as it did not abandon attempts to develop public education. In her opinion, ultimately, this prepared the conditions for the implementation of serious social, economic, and administrative reforms. An obvious example is the preparation of the conditions for future abolition of serfdom and other modernizing changes in society through the development of schools. Catherine II’s ideas on school reform were ahead of their time by a century or more. Artamonova supports Mironov’s view that the formation of elements of civil society in Imperial Russia began in the last third of the 18th century and provides additional arguments, in particular the rapid development of voluntary associations and the periodical press in the Russian provinces. In her opinion, Mironov’s insights are thanks to diligent work with sources, including archival ones. To get reliable statistical results, the use of labor-intensive quantitative methods is often required.

Keywords: Russia in the 17th to the beginning of the 20th century; modernization; history of culture; public education; cultural capital; social history; collective beliefs; mentality; enlightened absolutism; civil society; periodical press.

Б.Н. Миронов относится к числу видных отечественных историков, которые находятся на острие самых современных тенденций в историографии. Трудно найти вышедшую за последние годы диссертацию, монографию, серьезную статью по отечественной истории XVIII – начала XX в. без ссылок на его публикации по социальной истории, количественным методам, теоретическим вопросам нашей науки. На столь же внимательное отношение «обречена» и его новая рецензируемая книга. От академических научных центров истории и общество ждут появления прежде всего концептуальных и обобщающих трудов, которые концентрируют итоги проведенных исследований, помогают сориентироваться в пространстве современной науки, подсказывают перспективные направления ее развития. Такую работу, казалось бы, посильную только большому коллективу, в очередной раз

* Corresponding author

E-mail addresses: artamonovoi@mail.ru (L.M. Artamonova)

выполнил Б.Н. Миронов. Не все согласятся с его выводами, но равнодушных к проделанному им труду точно не будет. Когда дело делается с душевным подъемом, когда коллеги подпитывают друг друга не только знаниями, но и энтузиазмом, хочется, как сказал сам автор в одной из своих книг, «творить с ощущением: какое счастье жить в эпоху перемен и “служить по ученой части”!» (Миронов, 2013: 322).

Автор не замкнулся, как это иногда бывает, в узком отфильтрованном круге литературы. Он широко использует работы, подготовленные многочисленными исследователями в разных городах, по разнообразным поводам, в виде публикаций, отличающихся и по формам, и по объему. Привлекая труды ученых из регионов и тех, кто занимается локальными проблемами, автор избавляется от кривого зеркала, отражающего историю страны только под углом зрения из столиц.

По теоретическому, фактографическому, источниковедческому и историографическому охвату трехтомник Б.Н. Миронова отличается поистине энциклопедическим характером, да и своим представительным видом не уступит иным энциклопедическим изданиям. В нем поднимается целый ряд тем, которые трудно даже перечислить, от материальных и социальных последствий процессов территориальной экспансии, колонизации, урбанизации, эволюции общин, корпораций, гражданского общества, государственности до идеального непреходящего вопроса «Что такое счастье?». В ограниченном объеме текста невозможно дать подробное описание и всестороннюю оценку этой «энциклопедии русской жизни» за три века движения империи от традиционного общества по пути модернизации. Остановимся на тех темах и подразделах, мнением о которых хотелось бы поделиться особенно.

Путь к самым разным модернизационным преобразованиям был долгим и нелегким. Он начинался, конечно, не с реальных административных и законодательных шагов, а с идеальных представлений и перемен в сознании. Это касается и позиции имперской элиты, и «коллективных представлений» различных групп населения. Термин «коллективные представления» Б.Н. Миронову представляется более адекватным описываемому явлению, нежели «менталитет», заимствованный у школы «Анналов», или постмодернистский «повседнев» (Миронов, 2015b: 373–374). Согласны с его критическим отношением к последнему термину, поскольку «исследования повседневна имперской России пока не оправдали возлагавшихся на них надежд» (Миронов, 2014: 24). «Менталитет» же близок, но не схож по значению с «коллективными представлениями», поскольку помещается исследователями преимущественно в сферу бессознательного. Данное понятие в современной историографии применяется достаточно широко и успешно, а потому предложение о его замене вряд ли будет принято. Сам Б.Н. Миронов, высказав свои терминологические предпочтения, продолжает в тексте неоднократно использовать это понятие по отношению к народам и социальным группам. Например, принципиальное для него определение сословий предусматривает, что те «обладают специфическим менталитетом и сознанием» (Миронов, 2014: 332).

Глава 12 в книге Б.Н. Миронова, которая называется «Русская культура в коллективных представлениях» (Миронов, 2015b: 371–589), является, пожалуй, одной из наиболее интересных и новаторских. Автор недаром подчеркивает, что такой главы не было в «Социальной истории России...» (Миронов, 2014: 12). Добавим, что и понятие «коллективные представления» в том труде еще не использовалось, тогда в близких и схожих случаях Б.Н. Миронова удовлетворял термин «менталитет». Впрочем, неожиданным, скороспелым появлением и понятия, и соответствующего подраздела не назовешь. Глава под точно таким же названием впервые появилась в его «Исторической социологии России» еще в 2009 г. (Миронов, 2009). Однако в настоящем виде она, конечно, обстоятельней и обоснованней, чем текст шестилетней давности, к тому же предназначенный для учебного пособия, а не монографии.

Глава «Русская культура в коллективных представлениях» синтезирует и обобщает некоторые положения из предыдущих глав и подразделов. В ней предлагается не столько историко-культурный анализ имперского периода, как можно предположить из названия, сколько мировоззренческая, этическая, психологическая характеристика «отдельных социальных групп и сословий». Она, предупреждает автор, дается без этнической и национальной окраски (Миронов, 2015b: 374). При этом прослеживается отличие «коллективных представлений» в крепостную эпоху и в пореформенное время.

Среди оценок предложенного понятия Б.Н. Миронов выделяет особенно «антибуржуазный» характер «коллективных представлений» большинства населения России (крестьянства, рабочих, дворянства, духовенства, интеллигенции). Особенно обстоятельно автор иллюстрирует это на примере трудовой этики. Как полагает автор, не модернизационные устремления, а, наоборот, неизжитая ориентация на принципы производства и потребления, пришедшие из традиционного общества, сделала широкие массы подверженными социалистическим идеям, породила напряжение в обществе, чреватое революциями (Миронов, 2015b: 413–414).

Важную роль в модернизационной трансформации «коллективных представлений», которая так и не завершилась к концу империи, по мнению автора, играло развитие народного образования. Еще более весомым оно было для накопления «человеческого капитала», т. е. «богатства в форме знания или идей, совокупности интеллектуальных способностей, образованности, умений, навыков, моральных качеств, квалификационной подготовки индивидов» (Миронов, 2015b: 375). Впрочем, темы грамотности, просвещения, воспитания выходят далеко за рамки этой главы. Б.Н. Миронов поднимает их и рассматривает с разных точек зрения на протяжении всей книги. Так, образовательный аспект является в его интерпретации одним из ведущих факторов при формировании сословий, особенно дворянского (Миронов, 2014: 343) и духовного (Миронов, 2014: 367). С учетом того же аспекта рассматриваются вопросы «демографического перехода» от традиционного к современному типу воспроизводства населения и развития внутрисемейных отношений в сторону малой демократической семьи. Б.Н. Миронов совершенно прав, считая семью, прежде всего крестьянскую, «носителем традиции», а школу «проводником инноваций и каналом модернизации» (Миронов, 2014: 751–752). Отсюда его неоднократные и совершенно обоснованные обращения к теме просвещения в книге, посвященной модернизации.

Действительно свой след на пути ко многим переменам в ходе социальной эволюции империи оставили дела и идеи, рожденные в «эпоху Просвещения». Она в России ассоциируется со второй половиной XVIII в. и правлением Екатерины II, а также с первой четвертью XIX в. и царствованием Александра I. Однако и последующие Романовы оставались «просвещенными монархами» в самом прямом смысле этого слова. Верховная власть империи, как считает автор, была главным поборником народного образования, брала на себя ответственность за всю его сферу от начальной до высшей школы, обеспечивала его финансирование (Миронов, 2015b: 496).

Б.Н. Миронов с удовлетворением замечает, что «этот взгляд начинает получать поддержку в современной историографии» (Миронов, 2015b: 578). С цифрами в руках он убедительно и основательно развенчивает «миф о враждебности царизма просвещению» (Миронов, 2015b: 496), поощряя которое имперское правительство «при этом всегда немного забегало вперед» (Миронов, 2015b: 736).

Впрочем, некоторые мыслители и исследователи видят продолжение истории российского Просвещения и в философском смысле слова в середине XIX в. и даже в пореформенное время, чему есть определенные основания (Пустарнаков, 1999). К тому же часто употребляемая оценка «либеральный» в отношении русских абсолютных монархов и высокопоставленных сановников дореформенного времени выглядит несколько преждевременной для уровня модернизации русской элиты и «коллективных представлений» общества дореформенной эпохи. Более адекватным было бы использование понятий «просвещенный абсолютизм», «просвещенная бюрократия» (Смирнов, 2016) и т. п.

Не стали исключением последние десятилетия перед Великими реформами в правление Николая I. Оно воспринимается нередко в историографии как противоположность «просвещенному абсолютизму» Екатерины II и Александра I. Однако именно в николаевскую эпоху реально появляется массовая школа на селе. Сельская школа буквально насаждалась государством, усилиями Дворцового ведомства в удельной деревне и Министерства государственных имуществ – в казенной. Об этом, правда, в либеральной, народнической, марксистской историографии не говорилось. Справедливое замечание Б.Н. Миронова о начавшемся вмешательстве государства в культурно-воспитательную функцию деревенского мира надо перенести во времена Николая I, хотя сам автор связывал это явление только с пореформенной эпохой (Миронов, 2015a: 219). Требуется еще одна хронологическая поправка. Б.Н. Миронов отнес «введение во всех учебных заведениях в качестве обязательного предмета Закона Божьего» к 1743 г. (Миронов, 2015b: 813). На самом

деле в гимназиях и военных училищах это произошло при Александре I в 1811 г. (*Сборник..., 1864: 689–690*), а в университетах богословие стало обязательным предметом «для всех вообще студентов грекороссийского исповедания» при Николае I по Уставу 1835 г.

Автор верно указывает, что к концу николаевского царствования рост числа учебных заведений, преподавательских должностей стал важнейшим условием формирования российской интеллигенции (*Миронов, 2014: 449*). Добавим, что шло повышение оплаты и престижности труда на ниве просвещения. Такой труд носил почетный характер государственной службы – в отличие от современной России, где профессора и учителя считаются работниками учреждений, выполняющих «образовательные услуги». Об уровне внимания имперских властей к проблемам народного образования говорят также высокие награды, которые получали щедрые благодотворители образовательных учреждений. В число наград входило дарование чинов и дворянского достоинства (*Миронов, 2014: 458*). Вообще общеобразовательные средние и высшие учебные заведения стали одним из основных источников пополнения дворянства (*Миронов, 2014: 455*).

Новый труд Б.Н. Миронова отличается, как свойственно этому ученому, многочисленными количественными выкладками. Это усиливает его аргументацию, в том числе, когда речь идет о подсчетах уровня образованности отдельных социальных и территориальных групп населения России, о сравнении российских показателей (грамотных людей, учащихся, газет, библиотек, других учреждений культуры) с зарубежными. Каждый раз, осмысливая эти данные, видишь за ними прочную теоретическую конструкцию. В ее основе лежит концепция модернизации в «интегральной» или «прагматической» интерпретации, когда иные методологические подходы не отвергаются, а их достижения активно используются (*Миронов, 2014: 66–68*). Центр страны сравнивается с окраинами, русские преимущественно территории – с прибалтийскими губерниями, Российская империя в целом – со странами Европы и Америки. Делается это не для того, чтобы показать, чья «цивилизация» идет правильной дорогой, а чья не нашла верного пути. Речь идет о разнице в скорости движения по общей исторической магистрали, о причинах и уровне отставания. Характерны, например, таблицы, показывающие временной лаг в развитии России и СССР по сравнению с ведущими мировыми державами по ряду основных признаков, в том числе из области образования. Если в 1913 г. по показателям образованности и грамотности населения наше отставание составляло в среднем 113–226 лет, то к 1989 г. оно было ликвидировано (*Миронов, 2015b: 625, 628–629*).

Имперская власть до второй половины XIX в. в своих модернизационных усилиях по поддержке народного образования намного опережала потребности и инициативы общественных групп. Только в пореформенную эпоху представители образованных слоев и местного самоуправления активизировались настолько, что попытались стать ведущими в отдельных образовательных сегментах. В качестве примеров можно назвать усилия земств, городских обществ, церкви – в организации новых типов начальных школ; торгово-промышленных кругов – по развитию профессионального образования; деятелей интеллигенции – в обучении взрослых; благотворительных организаций – по устройству образовательных учреждений для особых контингентов детей с ограниченными физическими возможностями или оставшихся без попечения. В середине XIX в. совместными усилиями властей и общественности появляется средняя общеобразовательная, а затем и высшая женская школа, поскольку идея совместного обучения обоих полов не могла тогда еще реализоваться в России. По степени общественного интереса вопросы женского образования стояли, как считали современники и самые авторитетные историки эпохи, вровень с обсуждением отмены крепостного права (*Корнилов, 1993: 255*). Успехи в этом направлении были столь значительны, что уже в конце XIX столетия женщины заняли заметное место в здравоохранении и просвещении, сумели проявить себя в других сферах деятельности, выйдя далеко за пределы, отводимые для них в традиционном обществе (*Миронов, 2014: 829–830*).

Как видим, вопросы развития народного просвещения с середины XIX в. тесно смыкаются с темой становления гражданского общества. Конечно, и в более ранние времена были случаи активной материальной и моральной поддержки народного образования, научных исследований, эстетического просвещения, художественного творчества. Б.Н. Миронов даже утверждает, что в первой половине XIX в. под давлением или влиянием государства и местной администрации в губерниях уже возникали общественные

организации, инициатива в создании которых постепенно переходила к общественности (Миронов, 2015а: 694).

Однако, по нашим наблюдениям, к деятельности обществ, появившихся в столицах и университетских городах, присоединялись в провинции, как правило, лишь отдельные частные лица, даже если они действовали не в одиночку. Согласимся при этом с автором, что при создании всех этих «вольных», «императорских» и прочих научных, просветительских, культурных учреждений «верховная власть часто не имела в виду стимулирование самодеятельной общественной активности, а стремилась содействовать национальному развитию и продемонстрировать перед всем миром, что она осуществляет «просвещенное правление» (Миронов, 2015а: 694). «Ростки Просвещения» действительно долгое время насаждались сверху. По-настоящему они стали всходить на местах в годы общественного подъема, вызванного Крымской войной 1853–1856 гг., эпохой «гласности» в начале правления Александра II, подготовкой и началом проведения Великих реформ.

Не ставя под сомнение точность расчетов Б.Н. Миронова, трудно тем не менее принять вывод, что относительная доля «общественности» или «организованного общества» в XVIII в. уменьшилась сравнительно с московским периодом (XVII столетием) почти в 2 раза (с 8 до 4 %), а за первую половину XIX в. достигла «минимального уровня в 2,5 % в канун эмансипации» (Миронов, 2015а: 697). Полагаем, что «организованное общество», принимавшее Соборное Уложение и знакомое лишь с редкими печатными изданиями церковного содержания, качественно отличалось от «общественности», обсуждавшей и поддерживавшей Великие реформы, читавшей Пушкина и Гоголя, «Отечественные записки» и «Современник». Допустимы ли их количественные сопоставления, а если да, то при каких условиях? Что будет с ними, если пропустить эти цифры через фильтр наличия школьного образования или простого ценза грамотности?

В русской провинции именно с середины XIX в. можно заметить массовое и добровольное участие дворян, горожан, духовенства, чиновничества, учительства и даже крестьян в школьном строительстве. К этому надо добавить возникновение литературных и филармонических кружков, рост числа благотворительных обществ и придание современного облика их организации, движение по открытию воскресных школ, участие в патриотических акциях в связи с Крымской войной. Изменения в социальной и общественной жизни нарастали даже на селе, что подчеркивает Б.Н. Миронов: «В конце XIX – начале XX в. в деревню пришли книги, пресса и даже передвижной театр, развернули свою просветительскую деятельность представители интеллигенции, которые создавали общества трезвости, читальни, народные библиотеки, устраивали народные чтения, придумывали новые праздники и т. п., во многих общинах появились школы, которые в 1911 г. охватили 28 % детей в возрасте 8–11 лет. Школы и разные неформальные организации активно участвовали в социализации подрастающего поколения» (Миронов, 2015а: 218). Следует добавить, что ярким примером тому стали торжественные празднования различных исторических юбилеев (100-летие Отечественной войны 1812 г., 300-летие Дома Романовых и т. п.). Основная нагрузка по их проведению в провинциальных городах и селах была перенесена в школы, а целевой аудиторией прежде всего становилась учащая молодежь. Из нее же рекрутировались волонтеры на различного рода благотворительные акции, число которых резко выросло в канун Первой мировой войны и не сократилось в ее годы, приняв, конечно, содержательный оттенок, сообразный военному времени.

В России становление и деятельность добровольных ассоциаций ни в просветительской, ни в иной области никогда не оставались без контроля властей, хотя и в различной степени. Эта опека не обязательно носила открытый характер. Просто, когда в руководстве той или иной ассоциации оказывались лица императорской фамилии, над их местными отделениями брали шефство губернаторы, предводители дворянства, их супруги, родственницы и так далее. Может быть, поэтому Российское общество Красного Креста (РОКК) с его попечителями из высшей аристократии и бюрократии вызывало неприятие у оппозиционно настроенных либералов, несмотря на благие цели, эффективную деятельность, незапятнанную репутацию. Однако в целом «благословение», полученное от представителей власти и элиты, было добрым знаком для общественной организации, одним из слагаемых успеха ее деятельности. Для России это характерно вплоть до настоящего времени. Историкам, занимающимся общественными организациями в русской провинции, вовсе не кажется удивительным, что «почти все они были открыты по

инициативе или при активном содействии губернатора и высших должностных лиц губернии» (Миронов, 2015а: 695).

Трудно переоценить роль, которую сыграла в деле становления гражданского общества в России периодическая печать, особенно местная, хоть та и возникала повсеместно по распоряжению властей и первоначально входила в систему органов управления в виде газеты при губернской администрации. Согласимся с Б.Н. Мироновым в том, что «сотрудничество в газете, так же как и чтение публиковавшихся а ней материалов, содействовали созданию социальных связей в самом обществе и между обществом и бюрократией». Русская провинциальная «газета служила центром притяжения для людей, интересовавшихся прошлым и настоящим своего края, вокруг которых в русской провинции происходило зарождение “общественности” и общественного мнения» (Миронов, 2015а: 694). К выводам и примерам, полученным автором в основном на материалах «Владимирских губернских ведомостей», можно сделать уточнения. Новых корреспондентов и общественных активистов «Губернские ведомости», по крайней мере в Самаре, в пору начавшегося в 1850-е гг. общественного подъема привлекали громко, настойчиво и с ведома администрации. Газета иногда переходила дозволенные рамки, например в предании гласности обсуждения крестьянской реформы (ЦГАСО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 8. Л. 4). Она провоцировала всех читателей вопросом, так ли сложно уделить три часа в сутки «на общественную деятельность», «на разъяснение нужд своего сословия», «на содействие обществу в исцелении» от социальных болезней (СГВ. 1858. № 50). Это происходило в середине XIX в., а в конце того же столетия стали обычными газетные сообщения о том, как участники заседаний общественных организаций расходились не через три часа после начала, а далеко за полночь, несмотря на плохо освещенные улицы и отсутствие общедоступного транспорта.

Для всех, кто знаком с источниками, разница в состоянии общественной активности между первыми десятилетиями XIX в. и началом XX в. выглядит настолько разительной, что, кажется, речь идет о разных городах и даже странах. Это автор показывает на примере Владимира, это можно было проиллюстрировать на примере Самары или других провинциальных городов. Автор справедливо находит основания «для заключения, что гражданское общество к 1917 г. в общих чертах сформировалось», правда, делая оговорку, что это относится только к «городской среде Европейской России» (Миронов, 2015а: 842). Однако известны ситуации, в которых гражданское общество активно действовало за городскими заставами. Показательным считаем пример борьбы с последствиями неурожая 1911–1912 гг. Тогда на помощь голодающим крестьянам нескольких губерний пришли в медицинском и продовольственном (как тогда говорили, «врачебно-питательном») отношении прежде всего общественные организации, хотя не устранялись и власти. О степени активности и взаимодействия, размере привлеченных средств говорит факт договоренности участников акции по поводу разграничения мест работы и установления стоимости ежедневного пайка на уровне среднего значения, чтобы избежать нежелательного «соревнования и конкуренции отдельных организаций» (ЦГАСО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 52. Л. 84). В совместную работу были вовлечены предводители дворянства и дворянские собрания, земские начальники и земства, частные благотворители и крестьянские общества, дамские кружки и творческие самодеятельные коллективы, сельское учительство и духовенство (православное и мусульманское). Основные кадры администраторов и медицинских работников, значительные средства, аккумулированные из источников по всей России, были выделены РОКК. В результате удалось избежать голодных смертей, эпидемий, роста заболеваемости и других тяжелых последствий в пострадавших от неурожая районах. Пусть это было гражданское общество, которое, по оценке автора, сформировалось не в полной мере (Миронов, 2015b: 626), но оно уже могло решать задачи не только местного, но и общероссийского масштаба. Кстати масштаб рассмотренной акции может стать дополнительным аргументом в дискуссии Б.Н. Миронова с Л. Хэфнером, считавшим, что в позднеимперской России еще не было гражданского общества «ввиду отсутствия сетей коммуникации на межрегиональном уровне» (Миронов, 2015а: 843).

К сожалению, в чем автор тоже прав, «гражданское общество и его институты не дают гражданам индульгенцию от политических трагедий» (Миронов, 2015а: 696). Сложившаяся в дореволюционной России система государственно-общественной помощи жертвам природных катастроф была разрушена в результате междоусобиц и террора в 1917–1920 гг. Накопленный опыт и институты гражданского общества не могли быть использованы для

борьбы с катастрофическим голодом в Поволжье 1921–1922 гг., что предопределило размер бедствия.

Как и любые другие серьезные и принципиальные вопросы, политика имперской России в социальной сфере, в области просвещения, в отношении формирования гражданского общества будет вызывать споры и желание подвергнуть те или иные взгляды критической проверке. Это пойдет только на пользу науке. Сам Б.Н. Миронов считает, «чем больше разных голосов включаются в дискурс идентичности России, тем больше шансов мы имеем приблизиться к тому, что в классической философии называлось объективностью и истиной» (Миронов, 2015b: 671). В любом случае необходимо очистить отечественную историографию «от необъективных мифов» (Миронов, 2015b: 725). В частности, присоединимся к критике Б.Н. Мироновым распространенного представления об «отрыве правительственной политики от интересов общества и общества от политики на протяжении всего императорского периода» (Миронов, 2015a: 698). В своих выводах автор более чем убедителен, опираясь на глубокие теоретические построения, на хорошо подготовленную историографическую почву и надежный источниковый фундамент.

Сожалея, что нельзя подробно остановиться на всех проблемах, поднятых в книге, выразим признательность автору за хороший язык и ясность изложения. В результате большой объем и глубина анализа материала не мешают его восприятию, научная позиция излагается четко, аргументированно и не допускает двояких толкований. Книгу нужно рекомендовать не только коллегам-историкам и другим гуманитариям, но и широкой общественности, в том числе политикам и управленцам. Многовековые тенденции развития страны, став понятными и осознанными, укажут правильный путь в поиске пока неуловимой «национальной идеи». Ее не надо заново изобретать, а потом навязывать. Подобный урок уже проходили, повторять не стоит. Надо искать в прошлом и настоящем ту реальную «идентичность России», что поможет стране в будущем.

Выход обобщающего труда по истории имперской России является очень своевременным уже потому, что стимулирует ее дальнейшее изучение. Можно ожидать появления не менее интересных наблюдений и заключений, которые станут как развитием положений, выдвинутых в этой книге, так и появлением дискуссий по ее поводу.

Литература

Корнилов, 1993 – Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М.: Высшая школа, 1993. 446 с.

Миронов, 2009 – Миронов Б.Н. Историческая социология России: учебное пособие. СПб.: Изд. дом С.-Петербургский гос. ун-т: Интерсоцис, 2009. 536 с.

Миронов, 2013 – Миронов Б.Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015a – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015b – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Пустарнаков, 1999 – Пустарнаков В.Ф. Еще раз о сущности философии русского Просвещения 1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. 1999. № 4. С. 57–88.

СГВ – Самарские губернские ведомости.

Сборник..., 1864 – Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. 1: 1802–1825. IV, 1644 с.

Смирнов, 2016 – Смирнов Ю.Н. «Просвещенная бюрократия» в провинции накануне великих реформ: сотрудник самарского губернатора Грота Н.А. Воронов и его вклад в региональные исследования середины XIX века // Вестник Самарского гос. ун-та. 2016. № 1 (134). С. 28–39.

ЦГАСО – Центральный государственный архив Самарской области.

References

Kornilov, 1993 – Kornilov A.A. Kurs istorii Rossii XIX veka [The course of Russian history in the 19th century]. Moscow: Vysshaya shkola, 1993. 446 p. [in Russian].

Mironov, 2009 – *Mironov B.N.* Istoricheskaya sotsiologiya Rossii: uchebnoe posobie [Historical sociology of Russia: textbook]. St. Petersburg: Izdatel'skii dom S.-Peterburgskii gos. Universitet [St. Petersburg State University Press]: Intersotsis, 2009. 536 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nravny v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Pustarnakov, 1999 – *Pustarnakov V.F.* Eshche raz o sushchnosti filosofii russkogo Prosveshcheniya 1860-h gg. i vperve o ego krizise [Once again about the nature of Russian philosophy of the Enlightenment of the 1860s and for the first time of its crisis] // Istoriya filosofii [The history of philosophy]. 1999. Nr 4, pp. 57–88 [in Russian].

SGV – Samarskie gubernskie vedomosti [Samara Provincial Gazette] [in Russian].

Sbornik..., 1864 – Sbornik postanovlenii po Ministerstvu narodnogo prosveshcheniya [Collection of resolutions of the Ministry of Education]. St. Petersburg, 1864. T. 1: 1802–1825. IV, 1644 p. [in Russian].

Smirnov, 2016 – *Smirnov Yu.N.* “Prosveshchennaya byurokratiya” v provintsii nakanune velikikh reform: sotrudnik samarskogo gubernatora Grota N.A. Voronov i ego vklad v regional'nye issledovaniya sereдины XIX veka [“Enlightened bureaucracy” in the province on the eve of the Great Reforms: N.A. Voronov – an official of Samara governor Grot and his contribution in regional studies at the middle of the 19th century] // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Samara State University]. 2016. Nr 1 (134), pp. 28–39 [in Russian].

TSGASO – Central'nyi gosudarstvennyi arhiv Samarskoi oblasti [Central State Archive of Samara Region] [in Russian].

УДК 94(47)

Модернизация «культурных представлений» и «культурного капитала» в Российской империи: от просвещенного абсолютизма к гражданскому обществу

Людмила Михайловна Артамонова^{а,*}

^а Самарский государственный институт культуры, Российская Федерация

Аннотация. Статья касается тех вопросов, затронутых Б.Н. Мироновым в книге «Российская империя: от традиции к модерну», которые связаны с модернизационными процессами в области культуры и социальных отношений. Для обозначения устойчивых массовых ментальных конструкций в этой области, присущих различным общественным группам, Миронов использует термин «коллективные представления», а в качестве важной характеристики уровня развития общества – понятие «культурный капитал». Л.М. Артамонова согласна с тезисом Миронова, согласно которому накопление такого капитала в России происходило прежде всего по инициативе верховной власти, которая была просвещенной на всех этапах своей истории, так как не оставляла стараний по развитию народного образования. По ее мнению, в конечном итоге именно это подготавливало условия для осуществления серьезных социальных, экономических, административных преобразований. Очевидным примером является подготовку через школу условий для будущей ликвидации крепостной зависимости и других

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: artamonovoi@mail.ru (Л.М. Артамонова)

модернизационных изменений в обществе. Замыслы школьной реформы Екатерины II опередили свое время на столетие с лишним. Артамонова поддерживает точку зрения Миронова о том, что формирование элементов гражданского общества в имперской России началось в последней трети XVIII в. и приводит дополнительные аргументы, в частности быстрое развитие добровольных ассоциаций и периодической печати в русской провинции. По ее мнению, выводы Миронова сделаны благодаря кропотливой работе с источниками, в том числе с архивными. Чтобы получить убедительные статистические результаты, часто требовалось применение трудоемких количественных методов.

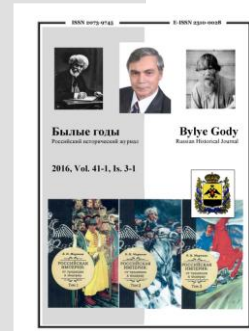
Ключевые слова: Россия в XVII – начале XX в.; модернизация; история культуры; народное образование; культурный капитал; социальная история; коллективные представления; менталитет; просвещенный абсолютизм; гражданское общество; периодическая печать.

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 908-916, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 93(47)

Historical Research of the Russian Modernization: Theoretical and Practical Aspects

Aleksander B. Liarskii ^{a, *}

^a North-West Institute of Printing Arts of Saint Petersburg State University of Technology and Design, Russian Federation

Abstract

This article is devoted to a discussion of B. N. Mironov's monograph "The Russian Empire: From Tradition to Modernity," which, according to A. V. Liarskii, is on the whole a significant step in the development of national historiography. As usual, his last book came under the spotlight and the heated debates of scientists. It discusses, based on an analysis of individual examples from Mironov's work, the limitations and possibilities of using the cliometric approach as a means of understanding the historical process and "cliotherapy" as the goal of historiography. Based on the monograph, it clarifies ideas about the modernization of Russia as a self-contradictory process that heightened archaic social tendencies. An important part of the work done by Mironov is the attempt to seek the sources of the particularities of Russian modernization through historical psychology and anthropology, in the cultural specifics of the imperial population. Along with a warm approval of this trend, the article criticizes some features of Mironov's "anthropological turn," for example his attitude to folklore sources or certain conclusions about the nature of the Russian Revolution, based on the study of collective peasant beliefs and the characteristics of peasant thinking. In conclusion, the monograph is characterized as a fundamental interdisciplinary study of the modernization of the Russian empire over the long term, without which it would be difficult to imagine the development of historical scholarship over the course of the next decades.

Keywords: historical anthropology; modernization; Russian Empire; cliometrics; collective representations; "cliotherapy"; Kalmyk Buddhism; micro-studies; macro research; interdisciplinarity.

Книга Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну» не является, как подчеркивает и сам автор, простым расширенным переизданием его «Социальной истории России...» (Миронов, 2003). Также не является эта монография и только лишь попыткой свести в один текст два грандиозных труда – «Социальную историю...» и «Благосостояние населения...» (Миронов, 2012). По утверждению самого Б.Н. Миронова, книга подводит итог «многолетним исследованиям периода империи». Автор скромно говорит о своих исследованиях, но не будет преувеличением сказать и об итоге целого историографического этапа, который начался с первого издания «Социальной истории...» (Миронов, 1999). Эти 17 лет немислимы как без работ Б.Н. Миронова, так и без резкой, к сожалению – жестокой, но интересной и глубокой полемики вокруг них (Миронов, 2013). Эта полемика наложила свой отпечаток и на текст новой монографии – он объемён и многослоен, иногда внутренне противоречив; он дышит рефлексией и жаром прежних «боев за историю».

* Corresponding author

E-mail addresses: lam732007@yandex.ru (A.B. Liarskii)

По сравнению с «Социальной историей...» в текст введены новые сюжеты, и их количество довольно велико – фактически весь третий том, не говоря уже о значительно расширенных главах первого и второго томов. Но все эти новеллы призваны прежде всего усилить аргументацию уже сделанных выводов, доказать правоту автора на новом материале. Поэтому, при бесспорных достоинствах новой монографии Б.Н. Миронова, все сомнения, высказанные в адрес предыдущих работ автора, безусловно, сохраняются, как сохранились они у меня. Некоторые примеры, взятые из нового текста, позволят мне проиллюстрировать эти сомнения, но критика не должна являться в данном случае самоцелью. Во многих случаях не соглашаясь с выводами Б.Н. Миронова, я вполне понимаю, что сама дискуссия возможна только благодаря гигантской проделанной автором работе. Чрезвычайно важно использовать опыт исследователя для развития и усиления именно социально-исторического и историко-антропологического направления в исторической науке.

Вычисления и высказывания

Как и многие критики Б.Н. Миронова я не сомневаюсь в достоверности его вычислений. Меня больше настораживает следствие из авторского клиометрического приоритета и это следствие – небрежность к языку выводов. Приведу пример. В подразделе «Положение отдельных народов в империи и их роль в экономической и общественной жизни» (Миронов, 2014: 152–162) Б.Н. Миронов определяет роль, которую играл тот или иной народ в «экономической и общественной жизни». Автор, используя данные переписи 1897 г., вычисляет «относительную активность представителей каждого этноса во всех сферах жизни». Делается это по следующей методике: доля представителей того или иного народа в той или иной сфере делится на долю этого народа в общей массе населения и получается, что «типичный русский человек участвовал в управлении, суде и полиции примерно в полтора раза активнее, чем типичный... подданный империи, соответственно немец в 1,1 раза активнее... а еврей в сфере управления был в 5 раз пассивнее». В итоге получается, что «самым активным в управлении и в армии был русский, в церковных делах – калмык, в свободных науках и искусствах, а также в накоплении капитала – немец, в торговле и финансах, на транспорте и коммуникациях, а также в промышленности – еврей...» (Миронов, 2014: 157). Если выводы о русском и еврее ожидаемы, то калмыцкий приоритет в церковных делах, согласитесь, поражает. И заставляет спросить: а что это значит? Если мы обращаемся к первоисточнику (*Общий свод...*, 1905: 350), то видим, что действительно из 50 116 самостоятельных хозяев 2098 человек проходят по четырем категориям переписи, учитывающим тех, кто так или иначе связан с богослужением – или с самим осуществлением культа, или с исполнением различных должностей при объектах культа. Это соотношение, действительно, чрезвычайно велико, по сравнению с подобным образом вычисленными данными у других народов (Миронов, 2014: 155–156). Однако что демонстрирует эта цифра?

Калмыки исповедовали буддизм тибетского толка, который в обыденном русском языке носит название ламаизм. Исследователи калмыцкого буддизма в XIX в., указывая на действительно большое количество священнослужителей, обращали внимание на несколько факторов. С одной стороны, речь шла об обычае отдавать в монахи хотя бы одного из мальчиков в семье; кроме того, указывалось на льготы и привилегии, которыми пользовалось ламаистское духовенство у калмыков, что привлекало людей в «духовное сословие» (Леонтович, 1880: 392–393). С другой стороны, выдающийся исследователь буддизма, ведущий монголовед конца XIX – начала XX в. А.М. Поздеев в статье для словаря Брокгауза и Ефрона «Калмыцкое вероучение» подчеркивал важность вмешательства российского законодателя: «По всей Монголии и у чжунгаров посвящение в высшую степень гэлунга составляет явление довольно редкое, потому что требует согласия целой монастырской общины, каждый член которой самостоятелен; у калмыков с предоставлением всего дела избрания и посвящения в гэлунга единой личности ламы (что явилось следствием действия имперского законодательства. – А. Л.) все исполняется гораздо проще. Лама посвящает каждого или по его просьбе, или даже по своему личному желанию...» (Поздеев, 1895: 73).

Два эти взаимодополняющих объяснения дают нам понять, как сложилась подмеченная Б.Н. Мироновым ситуация. Она неслучайна, она верно зарегистрирована, но ее интерпретация явно оставляет желать лучшего. Небольшой народ, о котором большинство населения России и слыхом не слыхивало, жил собственной, для остальных экзотической

жизнью. Говорить без дополнительных комментариев о том, что наиболее активны в церковной жизни были калмыки, – это значит повторить ошибку российских чиновников, организовавших буддизм наподобие православной иерархии, и, кроме того, создавать не соразмерную реальности картину.

Конечно, здесь же возникает вопрос о том, какими данными снабжает нас перепись, на основании которой Б.Н. Миронов делает свои подсчеты. Например, если бы в соответствующем ключе были учтены народы, которые практиковали так называемый домашний шаманизм, то чукчи по активности «церковной жизни» калмыкам бы фору дали. Но главное, что демонстрирует калмыцкий случай, на мой взгляд, – это важность перевода – с языка цифр на язык терминов, понятий и даже метафор. И вот здесь выбор Б.Н. Миронова не всегда удачен, тем более что у читателя может остаться четкое ощущение, что народы, учтенные Б.Н. Мироновым, участвовали в той или иной деятельности исключительно потому, что так хотели, а не потому, что так им предписывал обычай, необходимость или закон: «Например, полякам заниматься финансами и торговлей нравилось в 2,7 раза... меньше, чем всему населению в целом... У русских тяга к промышленным занятиям была немногим выше среднего... Любимые занятия евреев – торговля и финансы...» и т. д. (Миронов, 2014: 152).

Во многих случаях подсчеты делают реальность очевидной. А вот сделать очевидное понятным – это работа, требующая отдельных усилий и к подсчетам не сводящаяся. Безусловно, результаты, полученные Б.Н. Мироновым (не только в области этнических вкладов, конечно), во многих случаях требуют не столько погромных интонаций в голосе критиков, сколько дополнительной работы по их интерпретации.

Урок, который можно извлечь из этого «калмыцкого дела», довольно банален и прост: каждое масштабное исследование, построенное на массовых количественных данных, необходимо и обязательно должно поверяться не столько анализом других массивов количественных данных, хотя бы даже и с корреляционными вычислениями, а сколько качественным микроисследованием, иначе друг степей навсегда станет образцом церковного бытия. Я думаю, необходимо внимательнее отнестись к идее Б.Н. Миронова о том, что «преодоление фрагментации знаний и выявление тенденций требуют жертвы деталями, но дают компенсацию – общую картину» (Миронов, 2014: 27). Слишком много искажений в деталях не позволят получить достоверную картину. Мне кажется, что проверка результатов исследования «большого масштаба» на микроисследовании является не прихотью исследователя или делом его исследовательского вкуса, а дополнительной гарантией достоверности. Это методологическая необходимость исследователя-практика; отдавать предпочтение одному методу – это все равно, что стоять на одной ноге. Однако, как справедливо замечает по этому поводу сам Б.Н. Миронов – на это жизни не хватит. Но благодаря тому, что работа Бориса Николаевича проведена и проведена так качественно на макроуровне, возможно и декларированное мною углубленное понимание реальности на микроуровне.

Клиотерапия

В каком-то смысле Б.Н. Миронов повторяет судьбу Н.М. Карамзина: «История государства Российского» как раз и начиналась с рассуждений о том, что «и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушалось...» (Карамзин, 1989: 13). Это совпадает по интонации с одной из любимых мыслей Б.Н. Миронова о «клиотерапии» – лечении общества с помощью истории: «...историки могут помочь обществу избавиться от негативных мифов, устаревших институтов, вредных практик и ментальных установок...» (Миронов, 2014: 18) или в другом месте: «...национальные историографии во всем мире занимаются в той или иной степени клиотерапией, думают о воспитании у народа здорового патриотизма и воздерживаются от пропаганды и тиражирования негативных исторических мифов» (Миронов, 2014: 20). Не удивительно ли, что и Н.М. Карамзин был обвинен в восхвалении «прелестей кнута», и Б.Н. Миронов записан некоторыми критиками в ряды тех, кто оправдывает любые государственные деяния вопреки исторической очевидности. Компания Карамзина – не такая уж и плохая, но закономерность настораживает, поскольку не очень ясно, о чем она говорит: характеризует ли стереотипы читателя или оплошности в методологии автора?

Мои претензии к этому методологическому подтексту работ Б.Н. Миронова носят несколько эмоциональный характер – судя по всему, у нас разные представления о том, в чем должна заключаться клиотерапия.

Возьмем пример национальной политики по отношению к евреям, описанной в традиционном для Б.Н. Миронова «государственно-оптимистическом» ключе. Автор совершенно справедливо называет ее «непоследовательной, извилистой и многозначной», но при этом отказывается признать ее антисемитский вектор: «Назвать еврейскую политику российского правительства антисемитской вряд ли правильно и справедливо...» (Миронов, 2014: 217). Дело в том, что Б.Н. Миронов нормализует процесс, демонстрируя его внутреннюю логику: введение черты оседлости – логично, поскольку интеграция еврейского населения не удалась, вызвав острейшее неприятие со стороны самого еврейского населения, купцов-конкурентов, РПЦ, и христианского городского населения (Миронов, 2014: 197). Также логичны квоты на образование: «Чтобы воспрепятствовать ненормальному с точки зрения властей повышению доли не желающих ассимилироваться евреев в российской элите, и была введена процентная норма для их приема в средние и высшие государственные учебные заведения...» (Миронов, 2014: 206). С моей точки зрения это все и есть антисемитизм, как бы логично он не выглядел.

Кроме того, следуя логике государственного мышления, автор обосновывает некоторые весьма неблагоприятные действия имперских властей тем, что в их основе были соображения реактивного свойства: «Большинство правительственных мер, направленных на преодоление еврейской замкнутости или подрыв их традиционных занятий с целью примирить их с местным населением, оказались временными и несостоятельными...: например, их выселение из деревень западных губерний для пресечения их винного промысла...» То есть на самом деле правительство хотело интегрировать евреев, а не дискриминировать их, и многие меры Николая I были направлены именно на преодоление сопротивления евреев модернизации (Миронов, 2014: 204–205). С моей точки зрения это и есть дискриминация по национальному признаку, и от того, что несправедливость имеет внутреннюю логику, она не становится менее несправедливой.

На мой взгляд, проблема в том, что Б.Н. Миронов не отказывается признать наличие дискриминационных мер, но, встраивая их в большой контекст, он убирает эмоциональный пафос, в полном согласии с духом «клиотерапии» минимизирует эмоциональную боль, а с ней и обличительный подтекст описания государственной дискриминации. А этого делать, на мой взгляд, не надо из соображений как раз терапевтических, поскольку обличение государственных машин с помощью истории – это один из механизмов минимизации опасности, исходящей от любого государства.

Подводя итог, я могу сказать, что не являюсь сторонником идеи «клиотерапии» в ее государственно-апологетическом изводе не потому, что отрицаю положительное влияние государства на социальное развитие империи, а потому, что вижу много искажающих и упрощающих реальность моментов в этой концепции. Возникает вопрос: насколько автор сам осознает влияние на итог работы своей терапевтической, смягчающей и нормализующей установки? Борясь с негативными мифологемами историографии не выводит ли он на новый уровень положительно-бравурные мифологемы? С другой стороны, у клиотерапии есть, на мой взгляд, иная положительная сторона – автор постоянно преодолевает локальность отечественной истории, проводя сравнение с европейскими странами; кроме того, его исследование демонстрирует, как подмеченные им закономерности и свойства процесса модернизации реализовались за хронологическими рамками имперского периода. Это дает монографии не часто встречающуюся перспективу, позволяющую читателю осознать, что история – это не наука о прошлом, а наука о самом что ни на есть настоящем, если мы хотим это настоящее понимать.

Многослойность и сложность

Говорить о том, что автор чего-то недопонял или ему что-то мешает увидеть истину, – это означает говорить высокомерные нелепости. Фантастическая по качеству и объему работа, сделанная Б.Н. Мироновым, позволяет и дает ему право на выводы, которые другим кажутся спорными. Наша большая удача заключается в том, что мы являемся современниками и читателями этой работы; опираясь на нее, мы можем строить собственные реконструкции, не обязательно совпадающие с выводами Б.Н. Миронова. В этом и заключается коллективная суть научной работы в области истории.

Разберем еще один пример. Такая же последовательность рассуждений, как и в случае с «еврейским сопротивлением», явлена в третьем томе, в главе 12, в подразделе, связанном с уровнем образования российского населения (Миронов, 2015b: 474–535). Б.Н. Миронов утверждает, что «важнейшей причиной медленного распространения грамотности можно считать отсутствие у населения достаточной мотивации и настоятельной потребности в ней», о чем, по справедливому рассуждению Б.Н. Миронова, свидетельствует рецидив безграмотности (Миронов, 2015b: 497). Однако, по мысли автора, это положение прежде всего доказывает несправедливость обвинений в адрес имперских властей, которые якобы «из-за страха утраты контроля над подданными являлись главными врагами просвещения». По мнению Б.Н. Миронова, это миф. У читателя, знакомого с историографией, недоумение вызывает прежде всего безапелляционность этого утверждения, игнорирующая все охранительные аспекты образовательной политики России. Во многих основополагающих документах, исходящих из правительственных недр, мы найдем две препятствующие развитию образования мысли: во-первых, правительство боролось с распространением «опасных идей» и, во-вторых, стремилось воспрепятствовать тому, чтобы равный доступ к образованию размывал основы сословного строя России, о чем и сам Б.Н. Миронов, разумеется, осведомлен (Миронов, 2014: 455).

Как и Б.Н. Миронов, я вполне убежден в том, что во многих случаях грамотность детей виделась крестьянину и опасной, и ненужной. И в этом смысле охранительные стремления государства совпадали с крестьянской косностью вполне. Более того, стремление удержать людей в их сословном положении были не столько злым умыслом, сколько часто свидетельством архаичного мышления самих коронных чиновников. Они действительно опасались евреев и действительно считали разрушение сословного строя нарушением разумного порядка вещей. Но эти наблюдения, на мой взгляд, позволяют не столько определить ведущую роль в модернизации государственных структур, сколько обратить внимание на сложность и неоднозначность модернизационного процесса.

Вообще модернизация шла успешно там, где совпадали вектора правительственных и общественных (коммерческих, например) устремлений, и была чрезвычайно затруднена там, где совпадали правительственный и общественный консерватизм. И уж конечно, совершенно неожиданные последствия возникали там, где эти устремления были разнонаправленными: в этих случаях я вижу процесс модернизации не запланированным и векторным, а по большей части спонтанным, часто разнонаправленным и реактивным по отношению к внешним обстоятельствам, – процессом, чья внутренняя логика в конкретный период или в конкретном случае не совпадает с логикой больших обобщений.

Если принять это положение, то можно согласиться с выводами Б.Н. Миронова об издержках модернизации, однако я бы перенес фокус внимания с оптимистичной восходящей траектории на ужасающее наслоение архаизмов, которые, причудливо сплетаясь с модернизационными потоками, давали катастрофический эффект. Так, довольно типичное для модернизационного процесса явление, подмеченное Б.Н. Мироновым в динамике развития крестьянской семьи (от нуклеарной к патриархальной), модернизация не убирает, а обостряет и усиливает архаичные элементы жизни, иногда придает им новый импульс и только при подобном усилении эта архаика может быть преодолена. Например, именно индустриальное развитие продемонстрировало несправедливость низкого социального статуса женщины и ребенка – через использование этого статуса в жестокой эксплуатации. Традиционная культура не видела в таком положении дел ничего особенного, и только фабричная жизнь показала, какую опасность может нести в себе низкий культурный статус. Или религиозный фундаментализм, не представляя собой ничего нового, являет свою бесчеловечность с особой силой в эпоху Интернета и автоматического оружия и навязывает другому миру настоящую войну. Или архаичное восприятие взятки, вполне адекватно описанное Б.Н. Мироновым (Миронов, 2015a: 524–531), становится страшной угрозой именно в современном модернизированном государстве. И т. д. Тут важно подчеркнуть, что все построения Б.Н. Миронова, в которых революция описывается как побочный продукт модернизации (Миронов, 2015b: 676–690), мне кажутся вполне достоверными, но сложность взаимодействия традиции и модерна в этой схеме требует, на мой взгляд, основного, а не дополнительного положения.

Антропологический поворот

Таким образом, все, что составляло предмет дискуссии при обсуждении предыдущих работ Б.Н. Миронова, осталось в силе. Но, как отмечалось выше, книга дополнена новыми исследованиями, которые логично вписываются в концепцию автора, обогащают ее и усиливают.

Именно в силу многозначности и противоречивости модернизационного пути кажется вполне логичным и оправданным дрейф Б.Н. Миронова в сторону исторической антропологии (хотя сам Б.Н. Миронов говорит об историко-психологическом направлении своей работы) и исследования коллективных стереотипов. Мне эта часть в «Российской империи...» кажется чрезвычайно привлекательной. Сам Б.Н. Миронов неоднократно подчеркивает, что перед нами лишь предварительный набросок и первые шаги в исследовании (особенно в том, что касается собственно историко-психологических сюжетов), но и уже первые шаги приводят к ярким результатам – автор делает убедительные выводы о наличии у российских работников – пролетариев и крестьян – особого отношения к труду, времени, доходу, об особенном их мировосприятии и в итоге приходит к обоснованному выводу: «...если иметь в виду благосостояние населения в период империи, то не крепостное право и не самодержавие задерживали его повышение, а то, что вплоть до 1917 г. большинство людей в своей повседневной практике полагались на принципы субсистенциальной трудовой этики, жили на основе христианских заповедей...» (Миронов, 2015b: 469). Конечно, можно задаться вопросом, не ставит ли автор телегу впереди лошади и не была бы этика русских крестьян несколько иной при отсутствии крепостного права или при иных формах правления, но это скорее относится к категории общих рассуждений, чем к компетенции исторической науки.

Как и предупреждал сам автор, все в этой главе может быть подвергнуто критике:

а) и источниковая база (например, автор в качестве источника для выяснения крестьянских коллективных представлений использует пословицы и поговорки, но делает это довольно непоследовательно: так, паремии являются основным источником для крепостного периода, однако, когда автор изучает коллективные представления крестьян пореформенного времени, поговорки почему-то не используются: Б.Н. Миронов явно отдает предпочтение статистике кредитных сделок. Почему не привлекаются пословицы, собранные в конце XIX – начале XX в.? Если бы Б.Н. Миронов использовал более поздние сборники пословиц и поговорок, изданные в конце XIX – начале XX в., то он, возможно, обнаружил бы, что текстуальные совпадения слишком велики, чтобы говорить о динамике в коллективных представлениях на основании паремий, а это значит, что либо эти представления не менялись, либо пословицы не несут необходимой нам информации. Кроме того, автор полностью игнорирует то известное обстоятельство, что пословицы у разных народов совпадают: значит ли это, что коллективные представления русских и, скажем, народов Африки одинаковы или использовать пословицы в качестве исторического источника надо как-то иначе (Пермяков, 1988)? Кроме того, всегда возникает классический вопрос: что является отражением нормы – то, что мы говорим, или то, что мы делаем? Следующий пример: автор пытается реконструировать коллективные представления интеллигенции, обращаясь к материалам журнала «Нива» (Миронов, 2015b: 396–398). Может ли подобная тактика привести к адекватным результатам? Журнал скорее отражал вкусы мелкой городской буржуазии, мещанского сословия – тех, кого мы сейчас назвали бы носителями массовой культуры, а А.П. Чехов называл «пестрым читателем». Кроме того, слишком часто разбираются весьма специфические тексты (некрологи и юбилейные статьи, подозреваю, что последние нужно проверять на предмет заказа) без всякой поправки на жанр и стиль подобного рода статей. Я бы скорее предположил, что перед нами идеализированная самопрезентация буржуазного городского сообщества, вполне, кстати, совпадающая с культурой буржуазной этики. Еще один пример: автор пытается проследить особенности этики российской буржуазии на основании воспоминаний и мемуаров самих предпринимателей и приходит к закономерному выводу, что эти тексты свидетельствуют «о склонности к предпринимательству по традиции, т. е. без рекламы, без холодного и точного расчета, с оглядкой на традиционные моральные принципы...» (Миронов, 2015b: 400). Думается, что реальная деятельность самой буржуазии и ее погоня за прибылью были скорее вполне в русле европейского капиталистического мира; и т. д.);

б) и некоторые методические установки, из которых автор исходит при анализе психологии необразованных слоев населения России (при всех оговорках, сделанных

Б.Н. Мироновым, его трактовка мифологического сознания сама по себе в некоторых аспектах достаточно архаична с точки зрения современных достижений антропологии. Так, например, не понятно, как можно говорить о том, что «устная трансляция культуры ориентирует человека на простое воспроизводство того, что он слышал, запомнил, чему научился от предков», если весь опыт фольклористики говорит нам о динамичном и творческом характере устной культуры? Эта же архаичность не позволяет Б.Н. Миронову использовать его собственные аргументы более эффективно. Так, например, Б.Н. Миронов приводит свидетельства учителей о том, что крестьянские дети «не знали имен своих отцов, матерей, деда и бабушки...» (Миронов, 2015b: 517). Речь, на мой взгляд, действительно идет о весьма архаичном пласте крестьянской культуры, но не о «незнании»: во многих культурах существует запрет на произнесение имен близких людей, тем более в присутствии чужого человека. И т. д.);

в) и некоторые выводы, которыестораживают читателя. Так, Б.Н. Миронов использует свои исследования коллективных крестьянских представлений и особенностей крестьянского мышления, в том числе для того, чтобы сделать выводы об особенностях движущих сил русской революции: «Психологи установили: малообразованные люди легче поддаются внушению, а значит, манипулированию... Кроме того, малообразованный человек легче подчиняется авторитетам; мыслит стереотипами, навязываемые ему стереотипы усваивает бессознательно, дорефлективно и очень прочно. Благодаря этому сообщество малограмотных людей, с одной стороны, твердо поддерживает существующий общественный порядок, с другой – легко поддается воздействию пропаганды, агитации и пиару, что повышает вероятность манипулирования. Это классически проявилось во время революции 1917 г.» (Миронов, 2015b: 534). Вопрос, который ставит в этом случае перед нами история XX в., прост: что делать с историей Германии, население которой, по крайней мере по сравнению с Россией, никак не назовешь малообразованным? Или понятие «малообразованный» надо толковать расширительно, или надо обратиться к тем авторам, которые утверждали, что в Третьем рейхе реализуются очень архаичные структуры мышления европейца – не знаю, но проверку эта взаимосвязь «малообразованность – манипулирование – революция» явно требует не только на русском материале.

Многие промежуточные выводы и рассуждения, таким образом, в культурно-исторических изысканиях Б.Н. Миронова, как он сам и предупреждал, и могут, и должны быть подвергнуты сомнению, но это никак не отменяет, на мой взгляд, справедливость основной посылки – именно в культурных особенностях русского населения необходимо искать многие истоки специфики российской модернизации. И самое главное, конечно, в том, что предварительные наброски Б.Н. Миронова (сами по себе сделавшие бы честь многим исследователям) легитимируют культурные, антропологические изыскания в качестве основных, а не периферийных направлений в академических исследованиях имперской истории России.

И все же, на мой взгляд, к работе, проделанной Б.Н. Мироновым, не следует относиться ни как к хранилищу статистических данных, ни как к клиотерапевтической апологии государства. Перед нами не только исторический труд, каждая глава которого потянет на весомую монографию. «Российская империя...» это еще и размышление о судьбе страны, в этом смысле совершенно не постмодернистское, а вполне классическое рассуждение. От таких текстов мы просто отвыкли. Как и всякая книга подобного рода, она может многое рассказать не только об изучаемой эпохе, но и об эпохе, в которую создавалась. И еще о нас, и о нашем страстном желании видеть Россию нормальной страной с перспективами на будущее.

Литература

Карамзин, 1989 – Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т. М.: Наука, 1989–1993. Т. 1. 638 с.

Леонтович, 1880 – Леонтович Ф.И. К истории права русских инородцев. Калмыцкое право. Ч. 1. Одесса, 1880. 439 с.

Миронов, 1999 – Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

Миронов, 2003 – Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и

правового государства: в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

[Миронов, 2012](#) – *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд. М.: Весь мир, 2012. 848 с.

[Миронов, 2013](#) – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

[Миронов, 2014](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

[Миронов, 2015a](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

[Миронов, 2015b](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

[Общий свод..., 1905](#) – Общий свод по империи результатов разработки, данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. СПб.: 1905. Т. 2. 417 с.

[Пермяков, 1988](#) – *Пермяков Г.Л.* Основы структурной паремологии. М.: Наука, 1988. 236 с.

[Поздеев, 1895](#) – *Поздеев А.М.* Калмыцкое вероучение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. СПб., 1890–1907. Т. 14 (27). СПб., 1895. С. 72–74.

References

[Karamzin, 1989](#) – *Karamzin N.M.* Istoriya gosudarstva Rossiiskogo [History of the Russian State]: 12 t. Moscow: Nauka, 1989–1993. Т. 1. 638 p. [in Russian].

[Leontovich, 1880](#) – *Leontovich F.I.* K istorii prava russkikh inorodtsev. Kalmytskoe pravo [The history of the rights of Russian foreigners. Kalmyk right]. Ch. 1. Odessa, 1880. 439 p. [in Russian].

[Mironov, 1999](#) – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 т. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. Т. 1. 548 p.; Т. 2. 566 p. [in Russian].

[Mironov, 2003](#) – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 т. 3rd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. Т. 1. 548 p.; Т. 2. 566 p. [in Russian].

[Mironov, 2012](#) – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].

[Mironov, 2013](#) – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nravny v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

[Mironov, 2014](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

[Mironov, 2015a](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

[Mironov, 2015b](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

[Obshchii svod..., 1905](#) – Obshchii svod po Imperii rezul'tatov razrabotki, dannyh pervoi vseobshchei perepisi naseleniya, proizvedennoi 28 yanvarya 1897 goda [A common set of Empire the development results, the data of the first General census of the population produced 28 January 1897]. St. Petersburg, 1905. Т. 2. 417 p. [in Russian].

[Permyakov, 1988](#) – *Permyakov G.L.* Osnovy strukturnoi paremiologii [The foundations of structural paremiology]. Moscow: Nauka, 1988. 236 p. [in Russian].

Pozdeev, 1895 – Pozdeev A.M. Kalmytskoe verouchenie [Kalmyk creed] // Entsiklopedicheskii slovar' Brokgauza i Efrona [Encyclopedic dictionary Brockhaus and Efron]: 86 t. St. Petersburg, 1895. T. 14 (27), pp. 72–74 [in Russian].

УДК 93(47)

Историческое исследование российской модернизации: теоретический и практический аспект

Александр Борисович Лярский^{а,*}

^а Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена обсуждению монографии Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну», которая, по мнению А.Б. Лярского, в целом является значительным этапом в развитии отечественной историографии. На примере анализа отдельных сюжетов этого труда обсуждаются границы и возможности применения клиометрического подхода как способа понимания исторического процесса и «клиотерапии» в качестве цели историографии. С опорой на монографию уточняются представления о модернизации России как о внутренне противоречивом, усиливающем архаические стороны общества, процессе. Важной частью проделанной Мироновым работы представляется попытка искать истоки особенностей российской модернизации на путях исторической психологии и антропологии, в культурной специфике населения империи. Наряду с горячим одобрением этой тенденции в статье подвергаются критике некоторые особенности «антропологического поворота» Миронова, например отношение к фольклорным источникам или определенные выводы о природе российской революции, сделанные на основе исследования коллективных крестьянских представлений и особенностей крестьянского мышления. В итоге монография характеризуется как фундаментальное междисциплинарное исследование модернизации Российской империи в долгосрочной перспективе, исследование, без которого будет трудно представить развитие исторической науки на протяжении ближайших десятилетий.

Ключевые слова: историческая антропология; модернизация; Российская империя; клиометрика; коллективные представления; «клиотерапия»; калмыцкий буддизм; микроисследования; макроисследования; междисциплинарность.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: lam732007@yandex.ru (А.Б. Лярский)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 917-926, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 93(47)

The History and Sociology of Nutrition

Yuri V. Veselov^{a, *}^a Saint Petersburg State University, Russian Federation

Abstract

The article is devoted to the history and sociology of food in the context of discussion about Boris Mironov's monograph, "The Russian Empire: From Tradition to Modernity." According to Veselov, Mironov was among the first researchers to study nutrition in Russian history. For the first time in Russian historiography, he analyzed the fundamentally important questions of the nutrition of all social classes in the period of the Empire from the point of view of quantity, quality, and conformity with the physiological needs of human beings. Veselov considers that Mironov's approach has an integrative and systematic character. It is not limited to the study of cultural practices and rituals, or to the symbolic meanings of food. Mironov also analyzes what, when, and how much people ate, evaluates the adequacy of nutrition, its impact on human health and labor efficiency, and also the modernization of consumption. Veselov suggests that Mironov's findings, according to which the nutrition of the urban and rural population in the Imperial period was more or less satisfactory, are thoroughly and convincingly substantiated, and that this became possible due to the fact that the modernization of consumption and production of food products took place in close interaction.

Keywords: history of food; eating practices; malnutrition; food consumption; modernization of food production; modernization of consumption; the European trajectory of Russia; energy balance; social differences of consumption; consistency analysis; Russian Empire.

Фундаментальное исследование петербургского историка Б.Н. Миронова охватывает широкий круг вопросов социальной истории России, преимущественно периода империи. Пожалуй, нет ни одной важной проблемы, которую бы автор обошел вниманием. Все три тома (Миронов, 2014; Миронов, 2015а; Миронов, 2015б) написаны, что называется, на совесть и представляют добротную сделанную работу профессионального историка. В книге нет широко распространенных в настоящее время околонуточных мифов об истории российской империи. Выводы подтверждены проверенными фактами из достоверных источников, много статистики – в книге 383 таблицы. Структура работы логична и выверена.

Миронов показывает нам, что Россия в годы империи встает в один ряд с европейскими державами; ее общество, экономика, культура и право существенно модернизировались, причем по тем же основным направлениям, что и европейские общества. У России не было и нет какого-либо особенного пути развития; она идет той же исторической дорогой, что и соседние европейские государства, только с некоторым опозданием, живя как бы «в другом часовом поясе» по метафорическому определению

* Corresponding author

E-mail addresses: yurivitalievichveselov@yahoo.com (Yu.V. Veselov)

автора (Миронов, 2015b: 671). Это запаздывание никак не связано с какой-либо специфической отсталостью России и ее народа, просто процессы модернизации начались несколько позднее. Этот вывод крайне важен сегодня, причем не только для историков, но и для социологов: он дает нам основание считать, что *Россия сегодня – это сформировавшееся общество европейского типа*, безусловно обладающее своей национальной и культурной спецификой, своим историческим своеобразием, но общества, не имеющего отношения к евразийскому или азиатскому пути развития. Эти идеи Б.Н. Миронова находят понимание и в зарубежной историографии, о чем говорят многочисленные переводы его работ (Mironov, 1985; Mironov, 1993; Mironov, 1999; Mironov, 2000a; Mironov, 2000b; Mironov, 2012a).

Не представляется возможным в рамках одной статьи осветить все вопросы, разбираемые в книге. Поэтому я остановлюсь подробнее только на одной теме – истории и социологии питания в России времен империи. Б.Н. Миронов впервые в российской историографии поднял эту принципиально важную и актуальную проблему на должную высоту. Совсем не случайно она вызвала в 2000-е гг. бурную дискуссию среди отечественных историков, которая нашла отражение и на сайте *cliodynamics.ru* (Миронов, 2008; Миронов, 2010a; Миронов, 2010b; Миронов, 2013). Сейчас появляется много новых работ по истории русской кухни (Сюткина, Сюткин, 2012), но история и социология питания гораздо шире. Она охватывает не только проблему потребления и приготовления продуктов питания, но целую цепочку связанных с нею вопросов: производство, обмен и распределение продовольствия; уровень жизни, благосостояние и здоровье всех слоев населения; социальное расслоение и дифференциация в потреблении продуктов питания и т. д. В зарубежной историографии тема питания стала предметом исследования в рамках истории повседневности. Много внимания уделил этой проблеме Ф. Бродель (Бродель, 2002; Бродель, 2006). Тема истории питания не уходит и сегодня со страниц работ европейских авторов, стоит отметить интересные книги итальянских историков А. Капатти и М. Монтанари (Капатти, Монтанари, 2006; Монтанари, 2009).

Подход Б.Н. Миронова к истории питания комплексный и системный. Он не ограничивается изучением культурных обычаев питания, застольных ритуалов, символического значения пищи. Его интересует не только что и когда ели, но влияние питания на здоровье населения, калорийность, соответствие потребления физиологическим нормам и трудозатратам. Он рассматривает собственно потребление в связи с экономикой производства сельхозпродукции и ценами продуктов; анализирует семейные бюджеты и долю доходов, которая уходит на покупку продовольствия; проводит международные сравнения. Его подход принципиально отличается от того, как изучали питание в советской историографии, которая всегда имела априорную «модальную установку»: история питания России – это история постоянного недоедания трудящихся и неумеренного потребления верхних, что способствовало обострению противоречий между классами и в итоге привело к социальной революции. Такой взгляд и сегодня распространен среди историков (Медкович, б. г.; Пьянков, Михалев, 2015; и др.).

Но как могла существовать империя больше двух столетий, если она плохо кормила своих работников? Почему в империи наблюдался феноменальный рост численности населения – с 1646 по 1914 г. оно выросло в 10,4 раза (с 7 млн до 73 млн) в границах 1646 г. (Миронов, 2014: 95)? Откуда взялись силы для громадной работы по освоению северных и восточных территорий? Чтобы ответить на эти вопросы, в книге последовательно рассматривается питание горожан, крестьян, привилегированных слоев. На основе массовых статистических данных и моделирования баланса энергозатрат автор доказывает, что дело питания в целом в империи было поставлено удовлетворительно, по крайней мере не хуже, чем в других европейских странах XVIII–XIX вв. Народное потребление обеспечивало расширенное воспроизводство населения и соответствующий ему уровень общественного здоровья. Разумеется, голод посещал Российскую империю, что для традиционных крестьянских обществ было обычным явлением ввиду низкой урожайности, резких колебаний урожаев и неразвитой инфраструктуры. Но в имперской России, как показано в книге, происходил процесс модернизации питания: потребление росло и становилось более разнообразным, стабильным и обильным благодаря прогрессу в производстве, хранении, обмене и транспортировке продовольствия. Причем прогрессивные изменения происходили в потреблении всех классов, но в разной степени – они затронули в большей мере городское население – к 1915 г. это 15 % населения страны.

Почему горожане шли впереди? Потому что они питались преимущественно покупным продовольствием, хотя в городах периода империи, даже столичных, жители активно занимались сельским хозяйством (Миронов, 2014: 810–824). В XVIII – первой половине XIX в. не было специальных исследований питания. Поэтому получить представление о нем можно только по косвенным сведениям – по данным о поступлении продовольствия на городские рынки и его производстве в подсобных хозяйствах. Согласимся с Б.Н. Мироновым, что такой подход – ориентировочный и скорее всего занижает потребление, поскольку продукция подсобных хозяйств (а огороды были распространены во всех городах) учитывалась неполно, собирательство, охота и рыбалка вовсе не принимались во внимание. Между тем мы знаем, что и сегодня в городах России полно грибников и рыбаков, о чем говорит объявление на всех мостах Петербурга: «Рыбная ловля с мостов запрещена».

Вот расчетные данные об ориентировочном потреблении продуктов питания горожан в среднем на душу населения в год в 1840–1850-х гг.: картофель и овощи – 90 и 45 кг соответственно; молоко – 108 кг; рыба – 11 кг; соль – 25 кг (огромная цифра – учитывался, видимо, расход соли на засолку); сахар – 3,8 кг; масло растительное – 8,4 кг; яйца – 46 шт.; мясо – 44,2 кг чистой массы, т. е. за вычетом отходов (Миронов, 2015b: 272, 275). Давайте сравним с современными показателями: средний потребитель в Ленобласти за 2013 г., по данным Петростата, потребляет: картофеля – 73,4 кг; овощей – 86 кг; молока – 295,8 кг; рыбы – 16,3 кг; масла – 10 кг; яиц – 201 шт.; мяса – 101,7 кг; сахара – 30,9 кг (Потребление..., 2015: 5). Как видим, нет разительной разницы – мы едим картофеля примерно столько же, овощей – почти в 2 раза больше (что полезно), молока – в 3 раза больше; примерно столько же рыбы и масла; намного больше (в 5 раз) яиц и сахара (в 10 раз – что вредно) и больше мяса – но мы стали мясоедами только в последние 50 лет. Что поражает в потреблении городского населения России в середине XIX в., так это изменения в структуре питания, аналогичные тем, которые происходили во всех европейских странах: картофель, американский продукт, распространен весьма широко (а ведь в XVIII в. мало кто о нем даже слышал); горожане «кушают» кофе – 0,026 кг в год, но чай, китайский продукт, популярнее – 0,51 кг в год на душу населения.

Правильно оценить количество и качество питания населения – трудная задача. Б.Н. Миронов с ней успешно и на современном уровне справился, используя принятую во всем мире концепцию энергетического баланса – потребляемое количество калорий от пищи должно соответствовать расходованию энергии человеком. Качество питания оценивается с помощью принятой диетологами системы сбалансированного питания по соотношению белков, жиров и углеводов. Сегодня к этому добавили бы еще и наличие микронутриентов в пище: витаминов, минералов, пищевых волокон и т. д. Но, наверное, это не так уж важно, поскольку, судя по составу пищи горожан и крестьян, витамина С в достатке давала капуста – свежая летом и квашеная зимой. Да и питание россиян в целом было довольно разнообразным. К счастью, России удалось избежать участи стран, перешедших к моноспециализации сельского хозяйства. Например, переход Ирландии на выращивание картофеля сопровождался голодовками (самая страшная произошла в 1845–1849 гг.), когда из-за болезней вдруг весь урожай погибал; в странах Центральной и Южной Европы чрезмерное распространение кукурузы и повсеместное использование ее в пищу привело к массовым заболеваниям пеллагрой, которая двигалась следом за кукурузой, начиная с ее подъема в 30–40-х гг. XVIII в. и до окончательного закрепления на европейских полях после голода 1816–1817 гг. В испанской Валенсии выращивание в больших количествах риса привело к эпидемиям малярии. Как видим, шоковая модернизация традиционного сельского хозяйства чревата проблемами.

Б.Н. Миронов корректно рассчитывает энергетический баланс питания. Во-первых, он определяет потребление так называемого чистого продукта, без отходов. Во-вторых, учитывает нормы усвояемости продуктов. В-третьих, оценивает энергетический состав продуктов (совершенно справедливо считая, что в то время химический состав продуктов был несколько иной: употребляемое в пищу сегодня – продукция индустриального производства, например яйца не от деревенских куриц, а со специальных фабрик; в Европейском союзе эти домашние яйца «free range eggs» ценятся гораздо больше и стоят существенно дороже промышленных). В-четвертых, рассчитывает нормы потребления калорий по социальным группам населения и в зависимости от степени физических затрат труда. В-пятых, принимает во внимание чистые (реальные) энергозатраты работника,

занятого физическим трудом, в зависимости от числа рабочих, праздничных и выходных дней. И только после этого составляет баланс и оценивает степень соответствия потребляемого и расходуемого количества калорий. При этом нормы усвоения продуктов и их энергетический состав Миронов принимает такими, какими они были в XIX – начале XX в. (Кабо, 1918), а не в начале XXI в., что правильно. Оценив состав и калорийность питания среднего горожанина в середине XIX в., автор приходит к выводу: он получал 3353 ккал в сутки, из которых усваивал – 2988; «полный едок», или взрослый мужчина, потреблял на 40 % больше калорий – 4183 ккал в день (Миронов, 2015b: 274).

Сравним вычисленную величину потребления взрослого мужчины с фактическими затратами энергии. В среднем в год (365 дней) при 240 рабочих и 125 выходных и праздничных днях в году среднесуточная суточная норма потребления калорий составляла 3675 ккал. Взрослый мужчина, занятый тяжелым физическим трудом, потреблял примерно 4183 ккал в день, а расходовал 3675 ккал. Проведенные расчеты показывают: с количественной точки зрения городской работник получал достаточное количество калорий для поддержания положительного энергобаланса.

Чтобы оценить питание с точки зрения качества, необходимо учесть соотношение белков, жиров и углеводов. Обычно считается, что их оптимальное сочетание по массе – 14 : 18 : 69, по калориям – 11 : 13 : 56; а для работника физического труда – 16 : 18 : 66 и 13 : 33 : 54. Если оценить состав питания среднего горожанина, то окажется, что качество питания близко к идеальному – не доставало лишь белков животного происхождения. Но такова была практика питания того времени во всех европейских обществах: мясо по праздникам или выходным. Россия не была исключением – питание народа в до- и раннеиндустриальных обществ основывалось на углеводной пище, ели сам хлеб, а не «с хлебом», как сегодня.

Для начала XX в. доступны более прямые данные о питании горожан. В 1900–1916 гг. было обследовано 13 594 семей. Согласно полученным сведениям, средний горожанин съедал в день 1273 г продуктов, что давало ему 3040 ккал (2677 усвоенных ккал). Средняя калорийность питания, как ни странно, уменьшилась на 10 %. Собранные данные позволяют проанализировать процессы социальной дифференциации питания: что едят низшие социальные слои (рабочие, прислуга, мещане), средние слои (мелкие служащие, чиновники, духовенство), высшие слои (промышленники и фабриканты, крупные чиновники, интеллигенция). Как оказалось, различий в потреблении хлеба, картофеля и овощей практически нет; существенные различия наблюдались в потреблении мяса (низшие слои потребляют в 2 раза меньше, чем средние, и в 3 раза меньше, чем высшие), молока, сахара. Соответственно, низшие слои получали животного белка в 2 раза меньше идеальной нормы (Миронов, 2015b: 281, 284). Данные о потреблении водки не дифференцированы по социальным группам. В среднем по 50 европейским губерниям в 1913 г. выпивалось примерно 9,7 л на душу городского населения в год. Крестьяне потребляли водки меньше, поскольку общее потребление водки на душу населения в 1909–1913 гг. составляло примерно 7,9 л (Миронов, 2014: 208). Много это или мало? В России в «лучшие» времена, в 2010 г., потреблялось до 18 л алкоголя на душу населения, в 2015 г. несколько меньше – 13,5 л. Из чего следует, что вряд ли можно говорить о традиции «повального пьянства» в России.

Отмеченные выше особенности наблюдались и в питании крестьян. В 1840–1850-е гг. Русское Географическое общество проводило массовые исследования крестьянских хозяйств, а в 1850-е гг. Генеральный штаб провел статистическое описание 25 губерний России. Эти исследования затрагивали вопросы питания крестьянства, главным образом с точки зрения потребляемых продуктов и меню. Вот как описывается состав пищи крестьян в первой половине XIX в., который мало изменился и в пореформенную эпоху: в обычные дни – капустные щи, забеленные сметаной, черный ржаной хлеб, овсяные блины, пироги с творогом, кислое молоко, картофель вареный; в постные дни – щи из капусты, картофель вареный или жареный в льняном масле, блины овсяные; в праздничные дни – щи с мясом, пироги ржаные с овсяной крупой, пироги с творогом, картофель жареный в сале, свиной жир с овсяными блинами, молочная каша, яичные оладьи. Из овощей присутствуют капуста, картофель, огурцы, свекла, редька, лук, чеснок, хрен. Каши – гречневая, овсяная, ячменная. В праздники (а праздничных и выходных дней в около 100 в году) пироги из пшеничной муки, молоко, яйца, свинина или баранина, свежая и соленая рыба. Мясо, как и рыбу, также солили, коптили, вялили и замораживали (забой скота происходил в декабре).

Б.Н. Миронов правомерно подчеркивает значение собирательства в обычном питании крестьян – на каждом столе грибы, ягоды, фрукты, орехи. Режим приема пищи 4–5 раз в день (что сегодня назвали бы дробным питанием). В зависимости от режима работы формируется и режим питания, часто в поле берут еду, питье и закуски. Крестьянин четко знает: какая работа какой требует пищи, если работают много, то и питание на уровне 5000 ккал, а если работы нет – питание существенно сокращается. Завтрак – хлеб, каша, овощи, кисель; обед – самая обильная трапеза, обязательно предполагает горячее – суп и каша («щи да каша пища наша»); полдник – квас, молоко и легкие закуски; ужинают без горячего, тем, что осталось от обеда. Из напитков самый популярный квас, но в XIX в. в моду входит покупной чай и самовары. Из алкогольных напитков распространены брага и домашнее пиво и, конечно, самогон, но покупное вино и водка не пользуются спросом. Питание крестьян состояло в основном из растительной пищи: 70–75 % энергии обеспечивал хлеб (как правило, ржаной); 25–30 % – каши и овощи. Как и у горожан, не хватало в достаточном количестве животных белков и жиров.

Крестьянский режим питания регулировался традицией соблюдения религиозных постов. Постных дней насчитывалось около 180 в году, это два постных дня в неделю – среда и пятница плюс продолжительные посты – Великий пост, Успенский, Петровский и Рождественский. В эти дни запрещалось есть мясную пищу, молочные продукты, животные жиры. Соблюдались ли посты? По некоторым оценкам, постились примерно 60 %, но для крестьян этот процент был явно выше. Что не упоминает Б.Н. Миронов, у крестьян, как у всех православных, не было абсолютно запрещенных продуктов, как системы халяльного у мусульман или кошерного питания у евреев. Всякий продукт пригоден в пищу, не употребляется лишь дичь (мясо голубей, лебедей, кабанов, зайчатина, медвежатина – в разных губерниях по-разному). На потребление крестьян, которые в дореформенное время не были широко включены в регулярные рыночные обмены, сильно влияли урожаи. В неурожайные годы питание существенно сокращалось, случалось и голодание. Но голод был не столько следствием самого неурожая, сколько следствием натуральности хозяйства – хлеб можно было купить на рынке, но не было денег. В пореформенное время питание улучшается, поскольку повышается урожайность и повышается товарность крестьянского хозяйства. В некоторых губерниях картофель становится важнейшей пищевой культурой, заменяя хлеб, подсолнечное масло вытесняет льняное и конопляное. Повышается роль покупных продуктов: чая, сахара, «белого вина». Питание крестьян А.Н. Энгельгардт считал рациональным, имея в виду его дешевизну и то, что цель его – не удовольствие, как у состоятельных людей, а получение энергии для работы: «Питание крестьян – бедное по ассортименту и дешевое, оно сугубо рациональное, так как предназначено для получения энергии» (цит. по: [Миронов, 2015b: 295](#)).

При характеристике питания крестьян в начале XX в. Б.Н. Миронов использует сведения о потреблении, собранные анкетным методом в 1896–1915 гг. по 13 европейским губерниям в 7381 крестьянском хозяйстве (в 1920 г. они были обобщены С.А. Клепиковым ([Клепиков, 1920](#))). Согласно им общая энергетическая ценность питания крестьян в это период равнялась 3337 ккал в день, усвоенных – 2952 ккал. Основные калории давал хлеб – 2003 усвоенных ккал и картофель – 298 ккал; мясо только – 64 ккал, зато молочные продукты – 376. Для взрослого мужчины-крестьянина состав питания таков: белки – 14 % (животные 6,8 %); жиры – 18 %; углеводы – 69 % (здесь у Б.Н. Миронова небольшая неточность – в сумме получается 101 % ([Миронов, 2015b: 298](#))).

Упущением в анализе питания крестьян, по моему мнению, является недостаточное внимание к неурожаям, голодовкам и их социальным последствиям, хотя работа социолога П. Сорокина о голоде времен Гражданской войны ([Сорокин, 2003](#)) Б.Н. Миронову известна. Он также знает данные о погодных колебаниях урожаев и числе неурожайных лет за 1801–1914 гг. «В 1801–1891 гг. отмечено 18 лет с урожайностью ниже, чем в 1891 г.: 1801, 1805, 1811, 1815, 1821, 1822, 1823, 1830, 1831, 1832, 1833, 1839, 1848, 1850, 1855, 1859, 1865, 1867 гг., причем все эти годы приходились на дореформенное время и 1860-е гг.; после отмены крепостного права урожай ни разу не опускались ниже сам-3 – уровня, признаваемого современниками как неурожайный» ([Миронов, 2012: 472–473](#)). В ходе модернизации деревни частота голодных лет и продолжительность периодов голодовок сокращались, что должно было приводить к сглаживанию пиков колебаний в потреблении продуктов питания. К сожалению, приведены эти данные в другой главе «Российской империи...» ([Миронов, 2015a: 574–575](#)) и в другой работе ([Миронов, 2012: 472–474](#)), а в подразделе о

питании, где бы они были очень уместны, автор их даже не упомянул и не сделал на них ссылку.

Б.Н. Миронов полагает, что голодовки не являлись главной причиной высокой смертности крестьянства и населения России в целом. Пики смертности совпадали не с пиками повышения хлебных цен, а с распространением инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний. А при отсутствии социальной гигиены и необходимой медицинской помощи эпидемии приводили к катастрофическому росту смертности. Недостаток питания способствовал ослаблению иммунитета и росту заболеваний. Автор отмечает, что огромная детская смертность была напрямую связана с неправильным питанием и плохим уходом за детьми. Крестьянки очень рано отнимали детей от груди, а недостаток молока в питании детей приводил к снижению иммунитета, заболеваниям и высокой детской смертности (до 5 лет выживало 50 % детей). Самых маленьких перепоручали старшим детям в возрасте 7–10 лет, которые не могли хорошо за ними ухаживать.

В сфере питания не только крестьян, но и горожан наблюдалась гендерная и детская дискриминация – в первую очередь и лучше кормить следовало мужчин-работников, потом женщин и детей (Миронов, 2015b: 319). По оценкам врачей, удовлетворительно питались около половины учащихся начальных учебных заведений, хорошо – 28,4 % и неудовлетворительно – около 26 %. У девочек питание было несколько хуже, чем у мальчиков.

Социальное расслоение деревни в процессе потребления продуктов питания не так велико, как нас учили в советское время (нет никаких обжирющихся кулаков и голодающей бедноты), калорийность пищи низшей группы всего на 23 % меньше в сравнении со средней калорийностью питания всех крестьян. Взрослый мужчина из бедняков располагал суточной нормой в 3182 ккал. Если учесть 95 праздничных и воскресных дней, то вполне достаточно энергии для повседневной работы. С.А. Клепиков также не отмечает у бедных крестьян существенного недостатка калорий. Питание, конечно, не богатое по составу, но вполне достаточное по количеству. Это подтверждает индекс массы тела (отношение массы тела, выраженного в килограммах, к квадрату роста, выраженного в метрах), который в течение XIX – начале XX в. не опускался ниже 21,4, а в конце XIX – начале XX в. увеличился до 23,3 (Миронов, 2015b: 300). Индекс менее 18 свидетельствует о недостаточном питании, в диапазоне от 18 до 25 – о нормальном питании и более 25 – об избыточном питании. Видим, что население России, как и других доиндустриальных обществ, хорошо приспособилось к углеводному питанию. Об этом говорит и тот факт, что у земледельцев, как правило, преобладает вторая группа крови, в то время как у охотников – первая, у скотоводов – третья.

Считается, что питание привилегированных слоев населения в России характеризуется избыточностью. «Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй», – писал В. Маяковский. Но так ли на самом деле? Привилегированные классы – дворяне, купцы, духовенство – в 1858 г. составляли 1,9 млн чел., или 3,2 % всего населения России. Но и из них, судя по доходам, избыточным питанием могли похвастать далеко не все. Российские дворяне и чиновники в целом не отличались богатством, если расходы на одежду и обувь, входящие в систему демонстративного потребления, поддерживали на достаточном уровне, то на еде зачастую экономили. Встречались и толстяки, как Собакевич у Гоголя, кушавший «бараний бок с кашей» и «кулебяку, заложенную с четырех углов», но худощавых было гораздо больше. Однако многодетные дворяне при любой возможности старались пристроить детей учиться на казенный счет, мальчиков отдавали в кадетские корпуса, девочек – в пансионы и институты. Там питание, как и дома, не было избыточным, и температуру в помещениях поддерживали около 15 градусов. Вот каков был рацион воспитанниц Смольного института в середине XIX в.: на утро ломтик черного хлеба, посыпанный зеленым сыром или с тонким, как бумага, кусочком мяса, молочная каша или макароны; в обед суп без говядины, на второе говядина из супа, на третье пирожок с вареньем; на ужин кружка чая и половина французской булки. Не удивительно, что воспитанниц все время преследовало чувство голода. В пореформенное время питание с количественной и качественной точки зрения улучшилось, но все равно оставалось умеренным.

Не отличался особой роскошью даже царский стол, по крайней мере о пирах Гелиогабала и других римских императоров можно не вспоминать. Б.Н. Миронов приводит дневное меню семьи Николая II (Миронов, 2015b: 307), которое ничем не лучше меню

современного отеля all inclusive. Часто думают, что священники питались избыточно и потому отличались дородностью. Но полнота объяснялась не их высокими доходами и пристрастием к застольям, а тем, что паства оплачивала их услуги натурой – продуктами сельского хозяйства (Миронов, 2015b: 254–258). Снижалась урожайность, крестьяне урезали потребление и расходы, и духовенство вынуждено было садиться на диету. В 1901–1909 гг. численность самодельных лиц, входивших в 10 % самых богатых, составляла лишь 810 тыс. человек (Миронов, 2014: 469–470). Из высших классов только верхняя страта дворян-помещиков и гильдейское купечество отличались богатством и избыточным питанием. Но в Европейской России на рубеже XIX–XX вв. их насчитывало около 300 тыс.: 20 тыс. дворян помещиков высшей страты, 116,4 тыс. купцов и 156,6 тыс. почетных граждан (Миронов, 2014: 358, 388). Привилегированные слои питались, конечно, намного лучше крестьян, мещан и рабочих, особенно в плане разнообразия и качества питания, но огромной пропасти между питанием различных социальных классов в имперской России не существовало.

Итак, Б.Н. Миронов подготовил интересный, насыщенный фактами и сложными расчетами очерк по истории питания в России периода империи. Мы получили достаточно полную картину (во всяком случае самую полную из того, что опубликовано), как питались россияне разных классов и достатка и как со временем потребление модернизировалось.

В заключение хотелось бы отметить, что социологи весьма высоко оценивают работы Б.Н. Миронова по социальной истории России, в частности к ним часто обращаются студенты, магистранты и аспиранты, специализирующиеся в области экономической социологии. На мой взгляд, новая книга представляет собой выдающийся вклад и весьма важную веху в российской историографии. Думаю, что «Российская империя...», как и предыдущие книги автора, вызовут горячие споры. Однако только в споре рождается истина, к которой мы становимся ближе благодаря этому замечательному труду.

Литература

Бродель, 2002 – Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3 ч. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Бродель, 2006 – Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: в 3 т. 2-е изд. М.: Весь мир, 2006.

Кабо, 1918 – Кабо Р.М. Потребление городского населения России (по данным бюджетных и выборочных исследований). М.: Моск. Сов. тип., 1918. 69 с.

Капатти, Монтанари, 2006 – Капатти А., Монтанари М. Итальянская кухня: История одной культуры. М.: НЛО, 2006. 476 с.

Клепиков, 1920 – Клепиков С.А. Питание русского крестьянства. М.: Тип. III Интернационала, 1920. XXIV, 52 с.

Медкович, б. г. – Медкович Н. Народное питание и крах российской империи в 1917 г. // Актуальная история: научно-публицистический журнал. URL: http://actualhistory.ru/golod_i_revoluciya (дата обращения: 06.06.2016).

Миронов, 2008 – Миронов Б.Н. Достаточно ли производилось пищевых продуктов в России в XIX – начале XX в.? // Уральский исторический вестник. 2008. № 3. С. 83–95.

Миронов, 2010а – Миронов Б.Н. Наблюдался ли в позднеимперской России мальтузианский кризис: доходы и повинности российского крестьянства в 1801–1914 гг. // О причинах русской революции / Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков (ред.). М.: Изд-во ЛКИ, 2010. С. 61–111.

Миронов, 2010б – Миронов Б. Н. Ленин жил, Ленин жив, но вряд ли будет жить // О причинах русской революции / Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков (ред.). М.: Изд-во ЛКИ, 2010. С. 114–135.

Миронов, 2012 – Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд. М.: Весь мир, 2012. 848 с.

Миронов, 2013 – Миронов Б.Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015а – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

- Миронов, 2015b** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- Монтанари, 2009** – *Монтанари М.* Голод и изобилие: история питания в Европе. СПб.: Alexandria, 2009. 274 с.
- Потребление..., 2015** – Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Ленинградской области (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств): статистический бюллетень. СПб.: Петростат, 2015. 42 с.
- Пьянков, Михалев, 2015** – *Пьянков С.А., Михалев Н.А.* Голод 1891–1892 гг. в России // Вестник Вятского гуманитарного университета. 2015. № 1. С. 44–55.
- Сорокин, 2003** – *Сорокин П.А.* Голод как фактор: Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. М.: Academia & LVS, 2003. 684 с.
- Сюткина, Сюткин, 2012** – *Сюткина О., Сюткин П.* Непридуманная история русской кухни. М.: Астрель: CORPUS, 2012. 311 с.
- Mironov, 1985** – *Mironov, Boris.* The Russian Peasant Commune after the Reform of the 1860s // *Slavic Review.* 1985. Vol. 44, nr 3 (Fall). P. 438–467.
- Mironov, 1993** – *Mironov, Boris.* Bureaucratic or Self-Government: The Early Nineteenth Century Russian City // *Slavic Review.* 1993. Vol. 52, nr 2. Summer. P. 233–255.
- Mironov, 1999** – *Mironov, Boris.* New Approaches to Old Problems: The Well-Being of the Population of Russia from 1821 to 1910 as Measured by Physical Stature // *Slavic Review.* 1999. Vol. 58, nr 1. Spring. P. 1–26.
- Mironov, 2000a** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.
- Mironov, 2000b** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.
- Mironov, 2012a** – *Mironov, Boris.* The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.

References

- Brodel', 2002** – *Brodel' F.* Sredizemnoe more i sredizemnomorskii mir v epokhu Filippa II [The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II]: 3 ch. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul'tury [Languages of Slavic culture], 2002 [in Russian].
- Brodel', 2006** – *Brodel' F.* Material'naya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm, XV–XVIII vv. [Material civilization, economy and capitalism, 15–18th centuries]: 3 t. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2006 [in Russian].
- Kabo, 1918** – *Kabo R.M.* Potreblenie gorodskogo naseleniya Rossii (po dannym byudzhetykh i vyborochnykh issledovaniy [The consumption of Russian Urban Population (based on budget and surveys studies)]. Moscow: Mosk. Sov. tip., 1918. 69 p. [in Russian].
- Kapatti, Montanari, 2006** – *Kapatti A., Montanari M.* Ital'yanskaya kuchnya: Istoriya odnoi kul'tury [La cocina italiana: Historia de una cultura]. Moscow: NLO, 2006. 476 p. [in Russian].
- Klepikov, 1920** – *Klepikov S.A.* Pitanie russkogo krest'yanstva [The food consumption of Russian peasants]. Moscow: Tip. III Internatsionala, 1920. XXIV, 52 p. [in Russian].
- Medkovich, b. g.** – *Medkovich N.* Narodnoe pitanie i krakh rossiiskoi imperii v 1917 g. [Peoples' food consumption and the brealdown of Russian Empire] // Aktual'naya istoriya: nauchno-publitsisticheskii zhurnal [Relevant history: the scientific-journalistic magazine]. URL: http://actualhistory.ru/golod_i_revoluciya (data obrashcheniya 06.06.2016) [in Russian].
- Mironov, 1985** – *Mironov, Boris.* The Russian Peasant Commune after the Reform of the 1860s // *Slavic Review.* 1985. Vol. 44, nr 3 (Fall), pp. 438–467.
- Mironov, 1993** – *Mironov, Boris.* Bureaucratic or Self-Government: The Early Nineteenth Century Russian City // *Slavic Review.* 1993. Vol. 52, nr 2. Summer, pp. 233–255.
- Mironov, 1999** – *Mironov, Boris.* New Approaches to Old Problems: The Well-Being of the Population of Russia from 1821 to 1910 as Measured by Physical Stature // *Slavic Review.* 1999. Vol. 58, nr 1. Spring, pp. 1–26.
- Mironov, 2000a** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.
- Mironov, 2000b** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.
- Mironov, 2008** – *Mironov B.N.* Dostatochno li proizvodilos' pishchevykh produktov v Rossii v XIX – nachale XX v.? [Has been enough produced the food in Russia in the 19th – early 20th

centuries?] // Ural'skii istoricheskii vestnik [Ural historical herald]. 2008. Nr 3, pp. 83–95 [in Russian].

[Mironov, 2010a](#) – *Mironov B.N.* Nablyudalsya li v pozdneimperskoi Rossii mal'tuzianskii krizis: dokhody i povinnosti rossiiskogo krest'yanstva v 1801–1914 gg. [Was there Malthusian crisis in late Imperial Russia: revenues and duties of the Russian peasantry in 1801–1914] // O prichinakh russkoi revolyutsii [On the causes of the Russian revolution] / L.E. Grinin, A.V. Korotaev, S.Yu. Malkov (red.). Moscow: Izdatel'stvo LKI [LKI Publishers], 2010, pp. 61–111 [in Russian].

[Mironov, 2010b](#) – *Mironov B.N.* Lenin zhil, Lenin zhiv, no vryad li budet zhit' [Lenin lived, Lenin is alive, but is unlikely to live] // O prichinakh russkoi revolyutsii / L.E. Grinin, A.V. Korotaev, S.Yu. Malkov (red.). Moscow: Izdatel'stvo LKI [LKI Publishers], 2010, pp. 114–135 [in Russian].

[Mironov, 2012a](#) – *Mironov, Boris.* The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.

[Mironov, 2012b](#) – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].

[Mironov, 2013](#) – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nnavy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

[Mironov, 2014](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

[Mironov, 2015a](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

[Mironov, 2015b](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

[Montanari, 2009](#) – *Montanari M.* Golod i izobilie: istoriya pitaniya v Evrope [La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa]. St. Petersburg: Alexandria, 2009. 274 p. [in Russian].

[Potreblenie..., 2015](#) – Potreblenie produktov pitaniya v domashnikh khozyaistvakh Leningradskoi oblasti (po itogam vyborochnogo obsledovaniya byudzhetrov domashnikh khozyaistv): statisticheskii byulleten' [The consumption of food staff: statistical yearbook]. St. Petersburg: Petrostat, 2015. 42 p. [in Russian].

[P'yankov, Mihalev, 2015](#) – *P'yankov S.A., Mihalev N.A.* Golod 1891–1892 gg. v Rossii [The famine of 1891–1892 in Russia] // Vestnik Vyatskogo gumanitarnogo universiteta [Bulletin of Vyatka University for the Humanities]. 2015. Nr 1, pp. 44–55 [in Russian].

[Sorokin, 2003](#) – *Sorokin P.A.* Golod kak faktor: Vliyanie goloda na povedenie lyudei, sotsial'nuyu organizatsiyu i obshchestvennuyu zhizn' [Hunger as factor: the impact of hunger on human behaviour, social organization and public life]. Moscow: Academia & LVS, 2003. 684 p. [in Russian].

[Syutkina, Syutkin, 2012](#) – *Syutkina O., Syutkin P.* Nepridumannaya istoriya russkoi kukhni [The true history of Russian cuisine]. Moscow: Astrel': CORPUS, 2012. 311 p. [in Russian].

УДК 93(47)

История и социология питания

Юрий Витальевич Веселов^{a, *}

^a Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: yurivitalievichveselov@yahoo.com (Ю.В. Веселов)

Аннотация. Основное внимание в данном обзоре уделено такой теме, как история и социология еды и практики питания в Российской империи. Б. Миронов был среди первых исследователей, которые изучали продукты питания, напитки и практики питания в российской истории. Впервые в отечественной историографии он поднял принципиально важный вопрос качественного и количественного анализа питания всех социальных классов. Его подход к истории потребления пищи носит интегративный и системный характер. Он не ограничивается изучением культурных практик и ритуалов еды или символического значения пищи. Его интересует не только то, что и когда люди едят, но и общий эффект питания и недоедания на здоровье человека и социальное здоровье. Основная идея, раскрываемая в этой книге, заключается в том, что питание городского и сельского населения в целом во времена империи можно считать более или менее удовлетворительным. Миронов также раскрывает характер модернизации процессов производства и потребления продуктов питания.

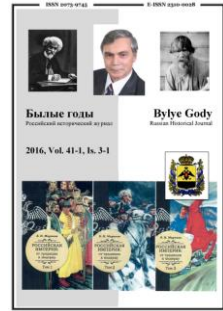
Ключевые слова: история пищи; практики питания; голод; модернизация производства; модернизация потребления; европейская траектория России; энергетический баланс; социальные различия потребления; системность анализа; Российская империя.

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 927-935, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

Noble Estate Self-Government in Russia: Between the State and Civil Society

Alexander Yu. Morozov ^{a, *}

^a Moscow State Regional University, Russian Federation

Abstract

This article is devoted to assessing the role of noble self-governance in the history of Russia. According to Boris Mironov, before the Great Reforms of the 1860s, each noble assembly was a part of civil society. This point of view has aroused objections and debate among Russian historians. Morozov analyzed the historiographical aspect of the problem and demonstrated the impact of the socio-political context of their scientific work on Russian historians. In his opinion, from a purely legal point of view, there is reason to conclude that the autonomy of noble assemblies increased in the first half of the 19th century. However, the question of the extent to which these opportunities were realized in practice has been poorly studied. In the literature, there are examples of effective methods of influencing the government at the noble assemblies despite legal restrictions, as well as examples of noble assemblies that did not restrain the arbitrariness of the crown authority, did not protect their members from its abuse, and did not serve as the expression of public opinion. Mironov's attempt to place in doubt the fact of the widespread presence of absenteeism seems unconvincing to Morozov. However, he agrees with Mironov that after 1861, the nobility really became a part of civil society, because the activity of noble organizations increased substantially in many different directions, including the political. For almost half a century of its history, the noble corporate organization evolved from a traditional institution into a civil one, which retained many features of traditional organization.

Keywords: noble estate self-government; civil society; government intervention in the activities of noble assemblies; Russian Empire; absenteeism; Charter to the nobility; historiography; discussion on self-government; the evolution of noble societies; legal and actual rights.

В своем фундаментальном труде «Российская империя: от традиции к модерну» (Миронов, 2014; Миронов, 2015а; Миронов, 2015b) Б.Н. Миронов анализирует и интерпретирует столько интереснейших вопросов нашего имперского прошлого, что разбираться с ними – поддерживать, опровергать, дискутировать – придется, несомненно, целому поколению российских историков (а то и не одному) (Миронов, 2013). Мне бы хотелось затронуть сравнительно узкую, но интересную проблему дворянского сословного самоуправления, которую автор раскрывает в главе 7 «Община и самоуправление как доминирующие формы социальной жизни» второго тома своего исследования (Миронов, 2015а: 281–298).

Если говорить о русском населении центральной России и оставить в стороне вопрос о духовенстве (хотя Русскую православную церковь также можно отчасти рассматривать как

* Corresponding author

E-mail addresses: almor1965@gmail.com (A.Yu. Morozov)

самоуправляющуюся корпорацию), то на протяжении примерно полутора столетий в империи существовали как официально признанные институты три структуры сословного самоуправления – дворянское, городское и крестьянское. Среди них наиболее развитым традиционно признается дворянское самоуправление. По мнению Б.Н. Миронова, «еще до Великих реформ 1860-х гг. *каждое дворянское общество представляло собой сложившийся элемент гражданского общества* (выделено мной. – А.М.), поскольку являлось автономным от государства сообществом свободных граждан со своей организацией, через которую они имели право и возможность отстаивать свои групповые интересы. Органы дворянского общества действовали по закону и на основе разделения властей... Закон установил компетенцию всех органов дворянского самоуправления, определил отношения между ними и членами дворянских обществ, установил четкие процедуры для дискуссий, принятия решений и их реализации. Дворянское общество имело свой представительный орган в лице дворянского собрания, в деятельности которого можно видеть зачатки парламентаризма: там действовали заинтересованные группы лиц, иногда с различными политическими взглядами; эти группы по определенным правилам и в рамках закона вели борьбу за достижение своих целей. Не случайно именно в дворянских обществах впервые зарождались идеи введения в России конституционного порядка, ограничения самодержавия, создания всероссийской политической организации. Дворянские общества имели реальную возможность влиять не только на губернскую коронную администрацию, но и на правительство» (Миронов, 2015а: 294). Следует отметить, что автор почти дословно воспроизвел здесь вывод, сделанный им в более ранней работе (Миронов, 2003: 521), т. е. знакомство с новой литературой по данному вопросу и критические замечания не заставили его пересмотреть указанную точку зрения даже в деталях.

Точка зрения Б.Н. Миронова вызвала возражения А.С. Тумановой – пожалуй, крупнейшего на сегодняшний день отечественного специалиста по истории гражданского общества в России. Полемизируя с ней, Борис Николаевич ссылается на ряд недавних исследований, отступающих от классического «невысокого мнения о российском дворянстве и его корпоративных институтах» (Миронов, 2015а: 298).

Что можно сказать в этой связи? Если мы посмотрим на Жалованную грамоту дворянству (т. е. тот документ, который и утвердил на все последующее время фундамент сословного дворянского самоуправления), то как бы мы не пытались «завысить» ее оценку, прежде всего обращает на себя внимание крайняя ограниченность полномочий дворянских собраний и неопределенность их законодательного регулирования взаимоотношений с органами государственной власти. На это обратил внимание еще современник Екатерины II и один из самых жестких критиков ее реформ князь М.М. Щербатов, сделавший постатейный анализ Жалованной грамоты дворянству. Весьма сочувствуя введению сословного дворянского самоуправления, Щербатов негодовал по поводу сильного подчинения дворянских собраний наместничьей власти. Он был убежден, что эта власть совершенно убьет самостоятельность дворянского сословия (Щербатов, 1896: 269–334). Причины и последствия такой ограниченности и неопределенности дискуссионны, но сама неопределенность признается, кажется, всеми. Касательно причин некоторые исследователи увидели здесь сознательную линию императрицы, опасавшейся чрезмерного влияния дворянских собраний на местную политику и желавшей сохранить в неприкосновенности (но в просвещенном европейском «декоре») не только саму самодержавную власть, но и власть своих наместников (Романович-Славатинский, 1870: 442). Как писал один язвительно настроенный современник, Екатерина хотела «бросить пыль в глаза Европы и обморочить потомство» (Винский, 1877: 102). Эта точка зрения получила позже широкое распространение в либеральной и советской историографии. Другие же исследователи, высоко оценивая потенциал реформы, указывали на ее отрывочность и незавершенность (Корф, 1906: 162).

Столь же противоречивы и оценки последствий реформы. В целом в дореволюционной и тем более в советской историографии преобладали критические настроения, вплоть до маркировки многих элементов этой конструкции в качестве «фиктивных» (Градовский, 1878: 143). В связи с этим некоторые историки отказывались говорить о дворянском сословном самоуправлении – по мнению, например, В.О. Ключевского, «это было не сословное самоуправление, даже не наблюдение за ним, а только периодическая поставка выборных лиц на известные должности местного управления» (Ключевский, 2010: 482). В то же время С.А. Корф отмечает, что и само дворянское сословие в силу своей

необразованности и некультурности оказалось не готово воспринять те – пусть немногие и ограниченные – самоуправленческие нормы, которые содержались в Жалованной грамоте; по его мнению, дворянское самоуправление «юридически несомненно было установлено, фактически же никогда не осуществилось» (Корф, 1906: 178). Некоторые авторы указывают на обе причины слабости дворянского самоуправления – так, по мнению Р. Пайпса, «правила деятельности дворянских собраний были уставлены таким количеством ограничений, а члены их в любом случае были настолько нерасположены к общественной деятельности, что собрания так и остались безобидными светскими сборищами» (Пайпс, 1993: 241–242).

Иной подход, кажется, берет начало от мнения русского историка-эмигранта В.В. Леонтовича, согласно которому после «издания Жалованной грамоты в 1785 году появилось... во всей России сословие, за которым признавалась гражданская свобода и члены которого располагали гражданскими правами»; реформа «даровала дворянству права, принадлежащие статусу свободного гражданина», заложив «первый краеугольный камень для создания гражданского строя в России» (Леонтович, 1995: 34, 37). Высокую оценку реформе дает, в частности, такой крупный современный специалист по истории России XVIII в., как Е.В. Анисимов – с его точки зрения «значение сословной реформы Екатерины II невозможно переоценить» (Анисимов, 2008: 332).

Как нам представляется, это хороший (можно сказать, учебный) пример влияния на историков социально-политического контекста их научного творчества. Во второй половине XIX – начале XX в. абсолютному большинству думающих современников те начала дворянского самоуправления, которые были дарованы самодержавием в 1785 г. и продолжали существовать до 1917 г., представлялись буквально жалкими крохами, заслуживающими самых скептических оценок. Однако позднее советские реалии заставили оценить этот опыт более высоко и менее критично. Это относится не только к общетеоретическим оценкам, но и к интерпретации конкретных фактов. Так, к примеру, В.О. Ключевский упоминает, что некоторые иностранцы, присутствовавшие на дворянских съездах, «считали их опасными в политическом отношении: два француза, путешествовавшие по России в начале 1790-х годов, наслушавшись этих речей и толков, пророчили в своих путевых записках, что рано или поздно эти собрания непременно подадут сигнал к великой революции». Но, по мнению историка, «это пророчество было совершенно несбыточно по самому характеру, какой получили на деле сословное дворянское самоуправление и то участие в местном губернском управлении, какое дано было дворянству Положением 1775 года и грамотой 1785 года. Это участие выражалось главным образом в дворянских съездах и выборах на известные должности. В губернском городе через каждые три года для местного дворянства наступала на несколько дней периодическая суэта ораторская, избирательная и гастрономическая; но на дворянских собраниях не читали ни докладов об общем положении дел в губернии, ни отчетов выборных должностных лиц о своих действиях за прослуженное трехлетие, не производилось ревизий и проверок их деятельности. Таким образом, дворянство не имело побуждения постоянно следить за положением дел в губернии и за ходом выборного управления. Окончив выборы, дворяне разъезжались по своим усадьбам и до следующего съезда спокойно предавались своим домашним занятиям, зная своего уездного предводителя и капитана-исправника и мало заботясь о ходе дел в губернии» (Ключевский, 2010: 482). Упоминание «гастрономической суеты» особенно подчеркивает несерьезность всей этой деятельности. Но у современных исследователей эти же свидетельства иностранцев и «оживление» дворянских съездов выступают как показатель успеха реформы (особенно в сравнении с «вялостью» городского самоуправления) (Еремян, Федоров, 1999: 184).

Столь же противоречивы и оценки эволюции дворянского самоуправления в период от смерти Екатерины II до 1861 г. Единство наблюдается, пожалуй, только в характеристике деятельности Павла I, когда проявилось однозначное стремление верховной власти к ослаблению дворянской корпоративной организации. Но существенных последствий это не имело, поскольку Александр I в самом начале своего царствования восстановил действие Жалованной грамоты дворянству в полном объеме. Заслуживает внимания, однако, мнение крупнейшего дореволюционного исследователя дворянского самоуправления С.А. Корфа, что именно при Павле I началось «отлынивание» дворян от выборной службы в самоуправлении, поскольку «самодеятельность была убита» (Корф, 1906: 268).

В современной литературе высказано мнение, что в первой половине XIX в. «самостоятельность дворянских собраний усиливалась» (Иванова, Желтова, 2009: 143). Эта оценка перекликается с мнением Б.Н. Миронова. Действительно, сугубо с юридической точки зрения основания для такого вывода, несомненно, есть. Так, например, губернаторам предписывалось не вмешиваться в дворянские выборы, запрещалось домогаться избрания одних депутатов и отстранения от должности других; губернское правление и палаты не могли посылать предводителям распоряжений и требовать от них отчетов, но сносились с губернскими и уездными предводителями или через депутатское собрание, или через губернатора. Однако вопрос о том, в какой мере *на практике* соблюдались эти ограничения и в какой мере губернаторы (и коронная администрация в целом) влияли на деятельность дворянских собраний, нуждается в дальнейшем изучении. В любом случае в литературе можно встретить примеры не юридических, но вполне себе действенных способов воздействия власти на дворянские собрания – например, такие: «Я преднамеренно и неоднократно говорил при всех, что надеюсь представить государю зрелище собрания дворянства верного... Дабы сообщить более вероятия таким моим речам, я приказал поставить невдалеке от дворца две повозки, запряженные почтовыми лошадьми, и подле них прохаживаться двум полицейским офицерам, одетым по-курьерски. Если кто-либо из любопытных осведомлялся: для кого назначены эти повозки? – они отвечали: “А для тех, кому прикажут ехать”. Эти ответы и весть о появлении повозок дошли до собрания, и фанфароны, во все продолжение оно, не промолвили слова и вели себя, как подобает благонаравным детям» (Ростопчин, 1992: 269).

Тем не менее, по мнению Б.Н. Миронова, дворянские собрания были важны для дворян, поскольку «выполняли две значимые и высоко им ценимые общественные функции»: во-первых, дворянство ограничивало произвол коронной администрации, защищая своих членов от ее злоупотреблений, и, во-вторых, служило выражением общественного мнения (Миронов, 2015а: 287–288). С нашей точки зрения данный тезис следует подкрепить (или опровергнуть) конкретными исследованиями на местном материале. В 1990–2000-е гг. появилось немало работ, посвященных провинциальному дворянству, в настоящее время ощущается острая потребность в специальных историографических обзорах, на что справедливо указывает и Б.Н. Миронов (Миронов, 2015а: 296). Во многих работах, впрочем, рассматриваются преимущественно такие вопросы, как экономика дворянского имения, финансовое положение дворянства, дворянская семья, культура сословия, и обычно не анализируются сословные учреждения дворянства и их взаимоотношения с коронной администрацией. Лишь в немногих работах данной теме уделяется достаточное внимание. Важным вкладом в разработку проблемы стала монография Т.Н. Литвиновой, и ее автор на материале Воронежской губернии пришла к выводу о высокой степени зависимости дворянского сословного самоуправления от губернской власти, из-за чего функционирование сословных самоуправленческих структур во многом оказалось неудачным прежде всего для самого дворянского общества (Литвинова, 2010).

Не следует забывать, что дворянское самоуправление было создано далеко не везде, оно отсутствовало в большинстве окраинных губерний с малочисленным потомственным дворянством и/или сложным этноконфессиональным составом. К 1863 г. дворянская корпоративная организация существовала в 44 губерниях, но в этом году дворянские собрания были запрещены в девяти западных губерниях после поражения второго польского восстания. После этого, по подсчетам А.П. Корелина, уже около 40 % дворян Российской империи проживали в губерниях, не имевших своих корпоративных дворянских организаций (Корелин, 1979: 135).

Активность дворян колебалась волнообразно. Само создание дворянской корпоративной организации вызвало прилив энтузиазма – по свидетельству современников, первые выборы и были самые лучшие, «намерения монархини произвели всеобщий энтузиазм к добру, но скоро сей жар простыл» (Романович-Славатинский, 1870: 491). При Павле I активность, естественно, резко упала, вновь выросла в начале царствования Александра I и снизилась при Николае I настолько, что он счел необходимым в 1831 г. признать участие дворян в собраниях обязанностью; впрочем, серьезных последствий это решение не имело, на что указывают все авторы.

Причины широкого распространения дворянского абсентеизма вызывали споры уже в дореволюционной литературе. Их видели в фактической обязательности дворянской

службы по выборам (Романович-Славатинский, 1870: 446–447), чрезмерном правительственном контроле над дворянской корпоративной организацией (Лохвицкий, 1864: 205), пассивности и инертности самого дворянства (Дитятин, 1885: 23). Б.Н. Миронов, ссылаясь на работы А.И. Куприянова и Е.С. Корчминой, поставил под сомнение сам факт масштабного распространения абсентеизма (Миронов, 2015а: 287). Однако важным следствием стремления дворян уклониться от выборных должностей и недовольства их местной службой было отмеченное еще А.В. Романовичем-Славатинским «низкое качество избираемых лиц» – причем этот вывод сделан не на основе мемуарных источников, а в результате анализа официальных документов (докладов министров внутренних дел императору) (Романович-Славатинский, 1870: 497–499).

После 1861 г. дворянская корпоративная организация продолжала существовать, не претерпев в своей основе существенных изменений; лишь некоторые частные вопросы, связанные с ее деятельностью, подверглись пересмотру, уточнению и подтверждению. При этом, по подсчетам С. Беккера, к 1905 г. всей полнотой избирательных прав обладали всего 25 % дворян, и еще 45 % могли участвовать в непрямых выборах (через своих уполномоченных) (Беккер, 2004: 226).

Вместе с тем в пореформенной России активность дворянских организаций существенно возросла в самых разных направлениях, в том числе в политическом. В 1859 г. запрет Александра II на обсуждение крестьянского вопроса в дворянских собраниях лишь стимулировал обширные дискуссии на тему устройства России (Корнилов, 1993: 220). В 1862 г. тверское дворянство, а в 1865 г. московское дворянство приняли адреса, в которых предлагалось создать некий представительный орган с участием дворянства и других сословий. В результате разгневанная верховная власть пошла на изменение законодательства: в 1867 г. был издан закон «О порядке производства дел в сословных и общественных собраниях», который министр внутренних дел П.А. Валуев назвал «задвигкой для конституционных заявлений» (Валуев, 1961: 139). Следствием стали «десятилетия апатичного существования» собраний (Беккер, 2004: 227), когда они занимались преимущественно вопросами внутрисословной благотворительности, опекой, ведением родословных книг, содержанием пансионатов для дворянских детей и другими узкосословными дворянскими вопросами. При этом проблема абсентеизма в пореформенное время значительно осложнилась даже по сравнению с дореформенным – абсолютное большинство дворян собрания игнорировали (Беккер, 2004: 229–232).

Существовали достаточно серьезные региональные различия между дворянскими собраниями, обусловленные спецификой развития регионов. Так, к примеру, московское дворянство было одним из самых многочисленных и состоятельных в Российской империи, и его сословная корпорация довольно успешно осуществляла свою деятельность. Другие же дворянские общества часто были вынуждены ограничивать свою активность из-за нехватки средств (Цветков, 2012: 356). На различия между губерниями как на источник разногласий в оценке деятельности дворянских корпораций указывает и Б.Н. Миронов (Миронов, 2015а: 296–297).

В начале XX в. в условиях обострившегося политического противостояния дворянские собрания нередко использовались как инструмент для оказания давления на власть – даже в тех случаях, когда оппозиционно настроенным деятелям не удавалось получить большинство. Яркий пример такого рода деятельности приведен в воспоминаниях В.А. Маклакова: «...предстояла сессия московского дворянства. Оно было особенным по составу. Почти вся служилая знать принадлежала к дворянству столиц... Либеральное направление не могло надеяться отстоять своих позиций в московском дворянстве, но оно решило не сдаваться без боя. Кампания пошла с обеих сторон. Были мобилизованы все. Я никогда не принимал участия в дворянских собраниях, и мне пришлось шить мундир. Нам помогало, что предводитель, князь П.Н. Трубецкой, нам сочувствовал; реакционный адрес показался бы осуждением ему самому. Его помощь была очень действительна» (Маклаков, 2006: 272). Далее автор описывает, как после напряженной борьбы либеральной части дворянства удалось добиться принятия наряду с консервативным адресом в поддержку самодержавия «особого мнения», отражавшего точку зрения либералов как влиятельного меньшинства.

В 1906 г. после принятия указа «О Временных правилах об обществах и союзах» по инициативе и на основе губернских дворянских обществ было создано всероссийское сословно-дворянское корпоративное объединение с ассоциативным членством – «Съезды

уполномоченных губернских дворянских обществ» («Объединенное дворянство»). В советской историографии его деятельность оценивалась крайне критически, в настоящее время оценки стали более умеренными и взвешенными.

Итак, можно ли говорить о существовании в России сословного дворянского самоуправления (как мы видели, некоторые исследователи в этом сомневались)? С нашей точки зрения – несомненно. Но если *юридическое* начало ему положила Жалованная грамота дворянству 1785 г., то *фактическое* самоуправление формируется на протяжении многих десятилетий и сохраняет свой весьма ограниченный характер и к началу XX в.

Как уже отмечалось выше, современные исследователи, памятуя об опыте XX столетия, склонны преувеличивать роль и самостоятельность дворянской корпоративной организации. По нашему мнению, Б.Н. Миронов несколько «перебарщивает» с характеристикой дореформенного дворянского общества как «сложившегося элемента гражданского общества» (и если сложившегося, то когда и как оно успело сложиться?). В общем и целом эта характеристика приложима только к периоду *после* реформ 1860-х гг. Говорить об автономных от государства сообществах свободных граждан в период правления Николая I (как и в более ранние периоды) – едва ли возможно.

С другой стороны, когда А.С. Туманова пишет, что «дворянская корпоративная организация была... институтом традиционного, сословного общества, но никак не гражданского» (Туманова, 2011: 168–169), то вряд ли эта характеристика в полной мере приложима к пореформенному обществу. За почти полтора столетия своей истории дворянская корпоративная организация, по-видимому, эволюционировала из института традиционного в гражданский (сохранив многие черты традиционной организации).

Литература

- Анисимов, 2008 – Анисимов Е. Императорская Россия. СПб.: Питер, 2008. 640 с.
- Беккер, 2004 – Беккер С. Миф о русском дворянстве. М.: НЛО, 2004. 344 с.
- Валуев, 1961 – Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел: в 2 т. Т. 2: 1865–1876. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 588 с.
- Винский, 1877 – Записки Г.С. Винского // Русский архив. 1877. Кн. 1. С. 76–123.
- Градовский, 1878 – Градовский А. Системы местного управления на западе Европы и в России // Сборник государственных знаний. СПб., 1878. Т. VI.
- Дитятин, 1885 – Дитятин И.И. К истории жалованных грамот дворянству и городам // Русская мысль. 1885. Кн. VI.
- Еремян, Федоров, 1999 – Еремян В.В., Федоров М.В. История местного самоуправления в России (XII – начало XX в.): учеб. пособие. Ч. 1. М.: Изд-во РУДН, 1999. 296 с.
- Иванова, Желтова, 2009 – Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи. М.: Новый Хронограф, 2009. 752 с.
- Ключевский, 2010 – Ключевский В.О. Западное влияние в России после Петра // Ключевский В.О. Избранное. М.: РОССПЭН, 2010. С. 415–515.
- Корелин, 1979 – Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904. М.: Наука, 1979. 303 с.
- Корнилов, 1993 – Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М.: Высшая школа, 1993. 446 с.
- Корф, 1906 – Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие: 1762–1855. СПб., 1906. 720 с.
- Леонтович, 1995 – Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. М.: Русский путь, 1995. 444 с.
- Литвинова, 2010 – Литвинова Т.Н. Дворянские сословные учреждения Воронежской губернии в последней четверти XVIII – первой четверти XIX вв. Воронеж: Наука: ЮНИПРЕСС, 2010. 246 с.
- Лохвицкий, 1864 – Лохвицкий А.В. Губерния, ее земские и правительственные учреждения. СПб., 1864. 228 с.
- Маклаков, 2006 – Маклаков В.А. Воспоминания: Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М.: Центрполиграф, 2006. 352 с.
- Миронов, 2003 – Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 548 с.

- Миронов, 2013** – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.
- Миронов, 2014** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.
- Миронов, 2015a** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.
- Миронов, 2015b** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- Пайпс, 1993** – *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. 424 с.
- Романович-Славатинский, 1870** – *Романович-Славатинский А.В.* Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. СПб., 1870. 594 с.
- Ростопчин, 1992** – *Ростопчин Ф.В.* Записки о 1812 годе // *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! М.: Русская книга, 1992. 336 с.
- Туманова, 2011** – Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале XX в. / отв. ред. А.С. Туманова. М.: РОССПЭН, 2011. 887 с.
- Цветков, 2012** – *Цветков В.С.* Дворянское самоуправление России во второй половине XIX – начале XX в. (по материалам Московского дворянского собрания): дис. ... канд. ист. наук. М., 2012. 374 с.
- Щербатов, 1896** – *Щербатов М.М.* Примечания верного сына отечества на дворянские права на манифест // Сочинения. Т. 1: Политические сочинения / под ред. И.П. Хрущева. СПб., 1896. Стб. 269–334.

References

- Anisimov, 2008** – *Anisimov E.* Imperatorskaya Rossiya [Imperial Russia]. St. Petersburg: Piter, 2008. 640 p. [in Russian].
- Bekker, 2004** – *Bekker S.* Mif o russkom dvoryanstve [Myth of the Russian nobility]. Moscow: NLO, 2004. 344 p. [in Russian].
- Dityatin, 1885** – *Dityatin I.I.* K istorii zhalovannykh gramot dvoryanstvu i gorodam [On the history of charters to the nobility and cities] // *Russkaya mysl'* [Russian thought]. 1885. Kn. VI [in Russian].
- Eremyan, Fedorov, 1999** – *Eremyan V.V., Fedorov M.V.* Istoriya mestnogo samoupravleniya v Rossii (XII – nachalo XX v.): uchebnoe posobie [The history of local government in Russia (12 – the beginning of the 20th century): textbook]. Ch. 1. Moscow: Izdatel'stvo RUDN, 1999. 296 p. [in Russian].
- Gradovskii, 1878** – *Gradovskii A.* Sistemy mestnogo upravleniya na zapade Evropy i v Rossii [Local Management Systems in Western Europe and in Russia] // *Sbornik gosudarstvennykh znaniy* [Proceedings of public knowledge]. St. Petersburg, 1878. T. VI [in Russian].
- Ivanova, Zheltova, 2009** – *Ivanova N.A., Zheltova V.P.* Soslovnnoe obshchestvo Rossiiskoi imperii [The estate society of the Russian Empire]. Moscow: Novyi Khronograf, 2009. 752 p. [in Russian].
- Klyuchevskii, 2010** – *Klyuchevskii V.O.* Zapadnoe vliyanie v Rossii posle Petra [Western influence in Russia after Peter] // *Klyuchevskii V.O.* Izbrannoe [Favorites]. Moscow: ROSSPEN, 2010, pp. 415–515 [in Russian].
- Korelin, 1979** – *Korelin A.P.* Dvoryanstvo v poreformennoi Rossii. 1861–1904 [The nobility in the post-reform Russia. 1861–1904]. Moscow: Nauka, 1979. 303 p. [in Russian].
- Korf, 1906** – *Korf S.A.* Dvoryanstvo i ego soslovnnoe upravlenie za stoletie: 1762–1855 [The nobility and the estates management in a century: 1762–1855]. St. Petersburg, 1906. 720 p. [in Russian].
- Kornilov, 1993** – *Kornilov A.A.* Kurs istorii Rossii XIX veka [The course of Russian history of the 19th century]. Moscow: Vysshaya shkola, 1993. 446 p. [in Russian].
- Leontovich, 1995** – *Leontovich V.V.* Istoriya liberalizma v Rossii. 1762–1914 [The history of liberalism in Russia. 1762–1914]. Moscow: Russkii put', 1995. 444 p. [in Russian].
- Litvinova, 2010** – *Litvinova T.N.* Dvoryanskie soslovnye uchrezhdeniya Voronezhskoi gubernii v poslednei chetverti XVIII – pervoi chetverti XIX vv. [Noble class institutions Voronezh province in the last quarter of 18th – the first quarter of the 19th century]. Voronezh: Nauka: YUNIPRESS, 2010. 246 p. [in Russian].
- Lokhvitskii, 1864** – *Lokhvitskii A.V.* Guberniya, ee zemskie i pravitel'stvennye uchrezhdeniya [The county, its rural and government agencies]. St. Petersburg, 1864. 228 p. [in Russian].

[Maklakov, 2006](#) – *Maklakov V.A.* Vospominaniya: Lider moskovskikh kadetov o russkoi politike. 1880–1917 [Memories: The leader of the Moscow Kadets on Russian politics. 1880–1917]. Moscow: Tsentrpoligraf, 2006. 352 p. [in Russian].

[Mironov, 2003](#) – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 3rd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. T. 1. 548 p. [in Russian].

[Mironov, 2013](#) – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nравы v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

[Mironov, 2014](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

[Mironov, 2015a](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

[Mironov, 2015b](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

[Paips, 1993](#) – *Paips R.* Rossiya pri starom rezhime [*Pipes R.* Russia under the old regime]. Moscow: Nezavisimaya gazeta [Publishing house "Independent newspaper"], 1993. 424 p. [in Russian].

[Romanovich-Slavatinskii, 1870](#) – *Romanovich-Slavatinskii A.V.* Dvoryanstvo v Rossii ot nachala XVIII v. do otmeny krepostnogo prava [The nobility in Russia from the beginning of the 18th century before the abolition of serfdom]. St. Petersburg, 1870. 594 p. [in Russian].

[Rostopchin, 1992](#) – *Rostopchin F.V.* Zapiski o 1812 gode [Notes on the 1812] // *Rostopchin F.V.* Okh, frantsuzy! [Oh, the French!]. Moscow: Russkaya kniga, 1992. 336 p. [in Russian].

[Shcherbatov, 1896](#) – *Shcherbatov M.M.* Primechaniya vernogo syna otechestva na dvoryanskie prava na manifest [Notes faithful son of the fatherland in the nobility of the right to manifest] // Sochineniya [Works]. T. 1: Politicheskie sochineniya [Political writings] / pod red. I.P. Khrushcheva. St. Petersburg, 1896, stb. 269–334 [in Russian].

[Tsvetkov, 2012](#) – *Tsvetkov V.S.* Dvoryanskoe samoupravlenie Rossii vo vtoroi polovine XIX – nachale XX v. (po materialam Moskovskogo dvoryanskogo sobraniya) [Noble municipality Russia in the second half of 19th – early 20th century (on materials of the Moscow Nobility Assembly)]: dis. ... kand. ist. nauk. Moscow, 2012. 374 p. [in Russian].

[Tumanova, 2011](#) – Samoorganizatsiya rossiiskoi obshchestvennosti v poslednei treti XVIII – nachale XX v. [Russian public self-organization in the last third of the 18th – the beginning of the 20th century] / otv. red. A.C. Tumanova. Moscow: ROSSPEN, 2011. 887 p. [in Russian].

[Valuev, 1961](#) – Dnevnik P.A. Valueva, ministra vnutrennikh del [The diary of P.A. Valuev, minister of the interior]: 2 t. T. 2: 1865–1876. Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR, 1961. 588 p. [in Russian].

[Vinskii, 1877](#) – Zapiski G.S. Vinskogo [Notes G.S. Vinsky] // Russkii arkhiv [Russian archive]. 1877. Kn. 1, pp. 76–123 [in Russian].

УДК 94(47)

Дворянское сословное самоуправление в России: между государством и гражданским обществом

Александр Юрьевич Морозов^{a,*}

^a Московский государственный областной университет, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: almor1965@gmail.com (А.Ю. Морозов)

Аннотация. Статья посвящена оценке роли дворянского самоуправления в истории России. По мнению Б.Н. Миронова, до Великих реформ 1860-х гг. каждое дворянское общество представляло собой сложившийся элемент гражданского общества. Эта точка зрения вызвала возражения и полемику среди российских историков. Морозов проанализировал историографический аспект проблемы и показал влияние на российских историков социально-политического контекста их научного творчества. По его мнению, сугубо юридической точки зрения есть основания для вывода о том, что в первой половине XIX в. усиливалась самостоятельность дворянских собраний. Однако слабо изучен вопрос о том, в какой мере на практике эти возможности реализовывались. В литературе есть примеры действенных способов воздействия власти на дворянские собрания вопреки юридическим ограничениям, а также примеры того, что дворянские собрания не ограничивали произвол коронной администрации и не защищали своих членов от ее злоупотреблений и не служили выражением общественного мнения. Попытка Миронова поставить под сомнение факт масштабного распространения абсентеизма не кажется Морозову убедительной. Однако он согласен с Мироновым в том, что после 1861 г. дворянские общества действительно превратились в элемент гражданского общества, поскольку активность дворянских организаций существенно возросла в самых разных направлениях, в том числе в политическом. За почти полтора столетия своей истории дворянская корпоративная организация эволюционировала из традиционного института в гражданский, сохранив многие черты традиционной организации.

Ключевые слова: дворянское сословное самоуправление; гражданское общество; вмешательство властей в самоуправление; Российская империя; абсентеизм; Жалованная грамота дворянству; историография; дискуссия о самоуправлении; эволюция дворянских обществ; юридические и фактические права.

Copyright © 2016 by Sochi State University

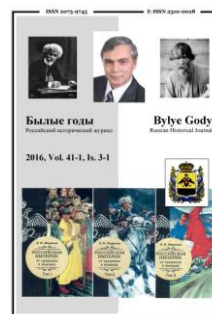


Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.

ISSN: 2073-9745

E-ISSN: 2310-0028

Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 936-943, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>

UDC 94(47)

Modern Russian Historiography as a Living and Growing Intellectual Body

Galina N. Ul'ianova^{a, *}^a Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Abstract

This review of Professor Boris Mironov's monograph highlights the discussion in his work of the most important parameters of economic development and social life in Russia in the eighteenth and nineteenth centuries. The book covers the period from Peter the Great to the October 1917 Revolution, when the ripening of individualistic aspirations and the gradual extension of civil rights occurred. Boris Mironov's book examines the social structure of Russian cities and rural areas, means of communication, the evolution of legislation and institutions, demographic changes, etc. Considerable attention is devoted to the discourse of the erosion of the formerly rigid social hierarchy in the post-Reform period. The review noted that the author introduced a considerable array of documents into scientific circulation, mainly from RGIA. The comparative approach, which considers Russian history from the perspective of European and American models of development, is an advantage of the book. The review noted the great contribution of Boris Mironov in the analysis of recent historiography; especially valuable in this regard is his reflection of the most important academic discussions of the last forty years.

Keywords: historiography; urban history; regional history; Imperial Russia; abolition of serfdom; municipal self-government; merchants; merchant's associations; philanthropy; civil society; comparative approach.

С работами Б.Н. Миронова я познакомилась еще в студенческие годы – 35 лет назад. Эти работы привлекли меня прежде всего богатой фактурой, обильной статистикой, оригинальной постановкой вопросов. Например, я хорошо помню свое впечатление от его статьи о свободном и рабочем времени у русских крестьян – мне это было очень интересно, потому что в студенческие годы мы подробно изучали этот вопрос в курсе истории западноевропейского Средневековья, а чуть позже вышла книга Ф. Броделя «Структуры повседневности» (Бродель, 1986), где этот вопрос также рассматривался.

И я очень обрадовалась, когда увидела, что не только историки французской школы «Анналов» изучали этот вопрос, но и историки в нашей стране пытаются прояснить этот вопрос на российских материалах. Вопрос о соотношении доли свободных дней в связи с церковными праздниками (Миронов насчитал 123 выходных и праздничных дня, в Европе, как я помню было около 130), о календаре жизни людей в прежнее время, безусловно очень интересен для современного человека, не являющегося историком, или для молодого, начинающего студента-историка. И ранее этот вопрос был совершенно закрытым. В последние 10 лет в отечественной историографии начали активно изучать досуг, и эти

* Corresponding author

E-mail addresses: galina.ulianova@gmail.com (G.N. Ul'ianova)

ранние штудии Миронова, представленные в трехтомнике весьма важны (Миронов, 2015b: 418–442).

Прежде всего я хочу сказать о книге в целом. Трехтомник поражает своей объемностью, фактически это сводный труд, куда вошли результаты почти всех штудий профессора Б.Н. Миронова. По жанру книга не является строгой классической научной монографией для узкого круга читателей, напротив, написана понятным языком и содержит, наряду с академическими рассуждениями, публицистические размышления о природе восприятия человеком окружающей действительности, о психологии человека. Мне это как раз кажется привлекательным, ставящим осмысление истории нашей страны в более широкий контекст. Поэтому, если говорить о круге читателей, эта книга может быть весьма полезна именно для молодых историков и публики, интересующейся историей России имперского периода.

В трехтомнике четко проработаны многие сюжеты, которые вызвали научные и общественные дискуссии в последние 40 лет и интересуют нынешнее молодое поколение – начитанное и одновременно обремененное бессмысленным шумом ненаучного знания в виде фантастических представлений о прошлом, порожденных массовой культурой и дилетантами в Интернете.

Привлекательна (лично для меня) также интенция профессора Миронова противостоять идеям (идущим с XIX в. и имеющим разные мотивы) отсталости России в плане политических институтов, экономического развития и уровня благосостояния. Я тоже не сторонница преуменьшения темпов развития страны, потому что исследования экономической истории России конца XVIII – начала XX в. в последние 20–30 лет показывают ее вовлеченность в мировую экономику и быструю перцепцию институтов и технологий, а затем и их позитивное и нередко весьма успешное развитие (Захаров, 2005; Петров, 2002; Лебедев, 2003).

Я думаю, что для читателей интересным будет первый подраздел книги (Введение), который называется «Концепции и парадигмы в современной историографии» (Миронов, 2014: 31–74). В восьми частях Введения Б.Н. Миронов рассматривает наиболее популярные историографические концепции (например, формационную, цивилизационную, синергетическую и др.). Ценно не только лаконичное и четкое изложение этих концепций (что весьма полезно для историков-неофитов или историков, специально не занимающихся историографией в широком смысле), но и то, что в каждом подразделе автор рассматривает применимость этих концепций на примерах истории России XVIII – начала XX в. Таким образом мы получаем историографический очерк, не отчужденный от конкретного материала, а объясненный с помощью дискуссионных примеров интерпретации исторических фактов.

Весьма привлекательна в стиле изложения любовь автора к фактуре, к архивному документу. Для примера – в главе 1 «Колонизация и ее последствия» существует подраздел с таким достаточно непонятным на первый взгляд названием «Недоуправление национальными окраинами» (Миронов, 2014: 144–152). Там поставлен вопрос о том, насколько была налажена коммуникация в размерах огромной империи, чтобы импульсы центральной власти чисто технически могли доходить до центральных губерний и окраин, как действовали информационные потоки.

Автор исходит из аксиомы, что налаженные коммуникации «сжимают» в социальном смысле геопространство. При российском качестве дорог скорость передвижения составляла приблизительно семь верст в час зимой и летом, пять верст в час – осенью и весной. Но малейшее ненастье эти грунтовые дороги делало непроходимыми, и скорость связи сразу падала. Надо учесть и то, что ямщики работали преимущественно в светлое время суток. В разнообразных таблицах именно в этом подразделе приводится скорость доставки почтовых отправок, представленная по первичным данным, взятым из книги И.П. Козловского по истории почты (Козловский, 1913). В частности, в этой главе о колонизации приводится пример, что письмо уже в конце XVII в. от Москвы до городов Европейской России шло от 6 до 12 дней и до сибирских городов 80 дней.

Или другой пример. На основе архивных данных Б.Н. Миронов рассказывает, как передвигались рекруты от места призыва до места службы: рекрутские партии, перемещавшиеся пешком, делали в среднем по 14 км в день, а некоторые даже по 30 км в день (Миронов, 2014: 147). На этом примере автор подводит читателя к принятию вывода о

том, что медленная переброска войск, например во время Крымской войны, становилась одной из причин поражения.

Именно такие наглядные данные, характеризующие эпоху и материальные аспекты жизни, на мой взгляд, очень важны для современного человека, поскольку чисто академические книги для большинства читателей уже настолько терминологически отдалены от бытового языка, что становятся непонятными и, что еще хуже, скучными. Здесь же получился многоуровневый текст, который будет ясен и простому читателю, не имеющему исторического образования, и профессиональным историкам.

Из теоретических подразделов я бы также выделила подраздел под названием «Географический и демографический детерминизм», в котором рассмотрены концепции Р. Пайпса и Л.В. Милова о неблагоприятном влиянии природно-климатических условий на развитие российской экономики и социума (Миронов, 2014: 228–250). Полемика Б.Н. Миронова с оппонентами здесь очень насыщена и представляет немалый историографический интерес. В этом же подразделе рассмотрена критика теории географического детерминизма М.А. Давыдовым, который на российских массовых статистических данных 1890–1900-х гг. оценил показатели урожайности и пришел к выводу, что естественное плодородие земли не связано напрямую с показателем урожайности – во многом на этот показатель влияли трудовые общинные порядки, трудовые традиции и т. д. (Давыдов, 2010; Миронов, 2014: 231–232). В качестве примера Б.Н. Миронов также приводит данные полученные П.Н. Зыряновым в книге «Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века», где показано, что в северных монастырях удавалось создать хозяйственный механизм, который позволял вести высокоэффективное хозяйство в суровых климатических условиях, прокармливая и насельников и продавая часть продукции на рынке (Зырянов, 1999). В результате Б.Н. Миронов приходит к выводу о несостоятельности гипотезы академика Л.В. Милова о роковых последствиях природно-климатического фактора. Можно соглашаться или не соглашаться с высказанными аргументами (в частности, у меня нет уверенности, что во все эпохи географические и социальные факторы работали одинаково), но само содержание дискуссии дает читателю представление о лаборатории историка, о многообразии объяснительных конструкций.

Несмотря на мое несогласие с Б.Н. Мироновым по ряду деталей, я бы назвала весьма привлекательным и для меня очевидным стремление автора оторваться от критицизма марксистской историографии – критицизма, покоящегося на акцентировании именно негативных черт в социальной, экономической и политической жизни Российской империи. Мне такое стремление – преодолеть очевидно идеологическую мотивацию прежней историографии – мировоззренчески близко.

Например, Миронов рассматривает довольно долго бытовавший в историографии тезис о хроническом недоедании российских жителей – из этого тезиса прежде вытекала аргументация необходимости повышенной солидарности и общинных форм жизни. Основываясь на данных из работы экспертов начала XX в., Б.Н. Миронов оценивает параметры питания по числу потребляемых калорий и приходит к выводу, что Россия в сравнении с европейскими странами оставалась средней страной по уровню социально-экономического развития. И я, немало работая с архивными документами по закупкам продовольствия и рационам в больницах, богадельнях, детских приютах, разделяю эту точку зрения. Б.Н. Миронов пишет, что пессимистическая концепция о природе-мачехе не только не адекватна фактам, она, самое печальное, играет демобилизующую роль и порождает фатализм, ибо «победить природу практически невозможно, во всяком случае намного тяжелее чем реформировать институты» (Миронов, 2014: 257).

Несомненный интерес представляет глава 6 во втором томе – «Крепостное право: от зенита до заката» (Миронов, 2015а: 9–112). Эта глава посвящена вопросу освобождения крестьянства от крепостной зависимости – излюбленной теме в дореволюционной и советской историографии, привлекающей большой интерес новых поколений историков в последние 20 лет (Ведерников, 2012). При этом, что подчеркнуто Б.Н. Мироновым, тематика разрабатывалась наиболее успешно рядом научных школ, занимающихся исторической демографией, в частности школой С.Г. Кащенко (Санкт-Петербургский университет), представители которой работают с применением больших массивов статистических данных – в своей книге Б.Н. Миронов активно привлекает материал из этих интересных работ (Кащенко, 2001; Твердукова, 2001; Смирнова, 2002; Маркова, 2005).

Мое внимание привлекли два аспекта, рассмотренные в труде Миронова: первый – освобождение крестьянства как пример образцовой российской реформы и второй – технология проведения крестьянской реформы в помещичьей деревне. Мне кажется, что для современного читателя именно эти вопросы должны быть поставлены во главу угла для объяснения важнейшего события в русской истории, когда были освобождены от личной зависимости от помещиков 23 млн чел. Сюда же примыкает вопрос, дискуссионный уже в академической среде: переплатили ли бывшие помещичьи крестьяне за землю? Этот подраздел я хотела бы похвалить за прекрасную историографическую канву повествования, несомненно ценную для студентов, изучающих историю России XIX в. Важным является рассмотрение культурно-психологических предпосылок для утверждения крепостничества, высказанных историками еще в XIX в., например А.П. Заблоцким-Десятовским ([Заблоцкий-Десятовский, 1882](#)).

В этом подразделе интересны не только статистические данные, сведения из области законодательства, но и отдельные биографии, выдержки из мемуаров. Например, для современных поколений читателей зло крепостничества показано через биографию Дарьи Салтыковой – помещицы, прославившейся изощренным садизмом по отношению к крестьянам. Описано, как происходило осуждение ее и как она стояла на эшафоте прикованной к столбу на Красной площади в Москве, с надписью над головой «мучительница и душегубица», как за свои злодеяния была приговорена к пожизненному заключению без света и человеческого общения, свечу приносили только во время приема пищи все время, пока Салтычиха 11 лет содержалась в подземной тюрьме Ивановского монастыря. Несомненно, сбалансированная подача в тексте теории, статистики и нарратива будет привлекательной для читателей. Здесь, видимо, благотворно сказался опыт преподавания Б.Н. Миронова в университете.

Далее я хотела бы высказаться по поводу сюжетов, близких моим интересам.

По поводу купечества. В подразделе «Городская община и городские корпорации» ([Миронов, 2015а: 249–280](#)) в главе 7 «Община и самоуправление как доминирующие формы организации социальной жизни» очень подробно и конкретно, с опорой на архивные материалы из РГИА, написано о деятельности купеческих и мещанских обществ. В этом подразделе я бы добавила к важным факторам, способствовавшим угасанию купеческих и мещанских обществ, введение промыслового налога в 1898 г. После этого экономического рубежа корпоративное объединение, соединявшее социальную функцию с фискальной функцией, и осуществлявшее коммуникацию с различными властными органами, быстро обесценилось, будучи поставленным в условия новых правил игры.

После введения промыслового налога для ведения коммерческой деятельности не требовалось вступать в купеческую корпорацию и брать купеческие свидетельства, поэтому она приобретала все более декоративный характер, состав ее вымывался. Там, в силу традиции, оставались представители старых династий (для которых это был символический жест, подчеркивавший «древность» рода и пребывания в торговом сословии), отдельные купцы-неофиты (например, из крестьян и мещан, для престижа которых был важен статус купца). В этот момент наблюдается приписка в купечество большого количества евреев, которым статус купца давал возможность выехать из черты оседлости в большие города.

В том же подразделе Б.Н. Миронов пишет, что «в начале XX в. основные функции купеческих и мещанских обществ сводились к благотворительной деятельности, но и та была мизерной» ([Миронов, 2015а: 274](#)), и приводит в пример малое количество сиротских судов при этих обществах и также малое количество богаделен. Формально это правильно, но фактически процесс был не таким линейным. Дело в том, что в пореформенную эпоху происходят институциональные сдвиги. В муниципальный период большинство богатых купцов, прежде выступавших донорами сословной благотворительности, переносят свою деятельность в городское самоуправление, избираясь гласными (депутатами) городских дум и городскими головами, и капиталы теперь отдают на общепользные цели – заведения для всех жителей города: школы, больницы, богадельни, сиротские приюты, что на множестве примеров показано в моих работах и работах историков, исследующих работу городских дум и городских управ ([Нардова, 1984](#); [Булгакова, 1999](#); [Ульянова, 1999](#); [Ульянова, 2005](#); [Дашкевич, 2006](#); [Казакова-Апкаримова, 2008](#); [Писарькова, 2010](#)).

Мы видим, что в период конца XIX в. и особенно в начале XX в. общественная активность купечества переносится в сферу городского самоуправления, купцы вкладывают свои деньги, например, в мощение улиц, создание городских электростанций, устройство

телефонных станций, организацию общественного транспорта (трамваев или даже автобусов), конечно, в создание благотворительных заведений. Таким образом, угасание купеческих обществ (как самоуправляющихся представительских корпораций) свидетельствует не о слабости купечества, а о том, что, став сильным, купечество перестало замыкаться в рамках своей корпорации и вышло на более широкое поле гражданской деятельности, влившись в то, что называлось «общественность», – это была деградация старых институтов (сословия и его органов), но не деградация самой социальной группы.

Замечания к трехтомнику у меня самые мелкие. Есть несуразности в сносках. В книге обширная библиография. Это хорошо, полезно для читателей, но мне режет глаз, когда при обсуждении академических проблем даются, наряду со ссылками на серьезные работы, ссылки на компилятивные популярные работы и даже работы сомнительного качества, возможно содержащие плагиат (работы чиновников, а не ученых), которым, на мой взгляд, не место в строгом научном издании. Кроме того, я не указывала бы в сносках при цитировании обращение к каким-то персональным сайтам, например к сайту Я. Кротова при ссылке на автореферат докторской диссертации П.В. Седова, который, будучи доступен в бумажном виде и на сайтах РНБ и РГБ, совершенно не требует верификации через интернет-ресурсы.

Некорректна атрибуция нескольких фото. В случае переиздания книги это желательно поправить. Например, во втором томе дана известная фотография М. Дмитриева с названием «Кулачный бой в городе в праздник. 1900-е» (Миронов, 2015а: 172), но на фото не праздник, а спортивный кулачный бой постояльцев ночлежного дома Бугрова в Нижнем Новгороде, самой городской гольтыбы, ничего там праздничного и радостного нет. В том же томе к фото, где показан ночлежный дом, дана осовремененная подпись «Гостиница для рабочих С.-Петербургского общества трезвости. 1909» (Миронов, 2015а: 822) – я думаю, что в подрисовочных подписях нужно употреблять названия, которые существовали, когда было сделано фото, потому что на фото мы видим огромное помещение на сотню человек, с простейшими кроватями с панцирными сетками, стоящими впритык друг к другу, и видим бездомных безработных, нашедших здесь приют. Или в третьем томе фото с подписью «В Бухарской тюрьме. 1900-е» (Миронов 2015b: 80), но, как известно, Бухарский эмират юридически никогда не являлся частью Российской империи, фото в книге явно лишнее. Я бы придерживалась атрибуции, данной самими фотографом или общепринятой среди историков.

Я знаю, что профессора Б.Н. Миронова нередко критикуют за публицистичность его работ (Миронов, 2013). Я же не считаю это недостатком. Тут имеет значение, какой круг читателей желает видеть перед собой сам историк. Это не столько вопрос амбиций, сколько вопрос желания просвещать и желания сделать результаты своих штудий достоянием широкого круга читателей. Я считаю, что появившийся трехтомник является удачной попыткой противостоять многочисленным книгам непрофессиональных историков, которые не умеют работать с комплексами источников, а действуют, выдергивая отдельные документы, на которых возводят шаткие концепции. Сам подход Б.Н. Миронова к обсуждаемым вопросам как дискуссионным, думаю, демонстрирует, что современная историография российской истории – живой и развивающийся интеллектуальный организм.

Литература

Бродель, 1986 – Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: пер. с фр. Т. 1: Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. 622 с.

Булгакова, 1999 – Булгакова Л.А. Не в деньгах счастье: К вопросу об этосе русской благотворительности // Клио. 1999. № 3. С. 183–191.

Ведерников, 2012 – Ведерников В.В. Великая реформа или революционная ситуация (к оценке движущих сил преобразований в отечественной историографии 1871–1986) // Александр II: трагедия реформатора: Люди в судьбах реформ, реформы в судьбах людей / В.В. Лапин (ред.). СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2012. С. 20–50.

Давыдов, 2010 – Давыдов М.А. Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX в. и железнодорожная статистика. СПб.: Алетейя, 2010. 828 с.

Дашкевич, 2006 – *Дашкевич Л.А.* Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец XVIII – первая половина XIX в.) / отв. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 409 с.

Заблоцкий-Десятовский, 1882 – *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д. Киселев и его время: материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II. СПб., 1882. Т. 2. 355 с.

Захаров, 2005 – *Захаров В.Н.* Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века. М.: Наука, 2005. 716 с.

Зырянов, 1999 – *Зырянов П.Н.* Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М.: Русское слово, 1999. 312 с.

Казакова-Апкаримова, 2008 – *Казакова-Апкаримова Е.Ю.* Формирование гражданского общества: городские сословные корпорации и общественные организации на Среднем Урале во второй половине XIX – начале XX в. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 290 с.

Кащенко, 2001 – *Кащенко С.Г.* Отмена крепостного права в столичной губернии: из истории государственных реформ в России второй половины XIX в. СПб.: Изд-во Северо-Западной Академии гос. службы, 2001. 341 с.

Козловский, 1913 – *Козловский И.П.* Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве: в 2 т. Варшава, 1913. Т. 1. 536 с.; Т. 2. 524 с.

Лебедев, 2003 – *Лебедев С.К.* Санкт-Петербургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века: европейские и русские связи. М.: РОССПЭН, 2003. 526 с.

Маркова, 2005 – *Маркова М.А.* Первичные документы по учету населения Санкт-Петербургской губернии в XVIII – первой половине XIX вв. как исторический источник: Метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2005.

Миронов, 2013 – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015a – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015b – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Нардова, 1984 – *Нардова В.А.* Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов XIX в. Правительственная политика. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. 260 с.

Петров, 2002 – *Петров Ю.А.* Московская буржуазия в начале XX в.: предпринимательство и политика. М.: Изд-во Московского городского объединения архивов, 2002. 436 с.

Писарькова, 2010 – *Писарькова Л.Ф.* Городские реформы в России и Московская дума. М.: Новый хронограф, 2010. 735 с.

Смирнова, 2002 – *Смирнова С.С.* Демографические процессы в Олонецкой губернии в XIX – начале XX в.: Опыт компьютерного анализа метрических книг: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2002.

Твердюкова, 2001 – *Твердюкова Е.Д.* Административные и церковные источники по истории народонаселения Новгородской губернии XIX – нач. XX вв.: опыт комплексного анализа: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2001.

Ульянова, 1999 – *Ульянова Г.Н.* Благотворительность московских предпринимателей. 1860–1914. М.: Изд-во Московского городского объединения архивов, 1999. 510 с.

Ульянова, 2005 – *Ульянова Г.Н.* Благотворительность в Российской империи. XIX – начало XX века. М.: Наука, 2005. 402 с.

References

Brodell, 1986 – *Brodell F.* Material'naya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm, XV–XVIII vv. Т. 1: Structure povsednevnosti: vozmozhnoe i nevozmozhnoe [Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe – XVIIIe siècle. V. 1: Les structures du quotidien]. Moscow: Progress, 1986. 622 p. [in Russian].

Bulgakova, 1999 – *Bulgakova L.A.* Ne v den'gakh schast'e: K voprosu ob etose russkoi blagotvoritel'nosti [Happiness is not in money: On ethos of Russian charity] // Klio. 1999. Nr 3, pp. 183–191 [in Russian].

Dashkevich, 2006 – *Dashkevich L.A.* Gorodskaya shkola v obshchestvennoi i kul'turnoi zhizni Urala (konets XVIII – pervaya polovina XIX v.) [City school of social and cultural life of the Urals (the end of 18th – first half 19th century)]. Ekaterinburg: Ural'skoe otdelenie RAN, Institut istorii i arkhologii, 2006. 409 p. [in Russian].

Davydov, 2010 – *Davydov M.A.* Vserossiiskii rynek v kontse XIX – nachale XX v. i zheleznodorozhnaya statistika [Russian market in the 19th – early 20th centuries, and railway transportation statistics]. St. Petersburg: Aleteiya, 2010. 828 p. [in Russian].

Kashchenko, 2001 – *Kashchenko S.G.* Otmena krepostnogo prava v stolichnoi gubernii: iz istorii gosudarstvennykh reform v Rossii vtoroi poloviny XIX v. [Russian emancipation reform 1861 in St. Peterburg province: from the history of state reforms in Russia in the 2nd half of nineteenth century]. St. Petersburg: Severo-Zapadnaya Akademiya gosudarstvennoi sluzhby, 2001. 341 p. [in Russian].

Kazakova-Apkarimova, 2008 – *Kazakova-Apkarimova E.Yu.* Formirovanie grazhdanskogo obshchestva: gorodskie soslovnye korporatsii i obshchestvennye organizatsii na Srednem Urale (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.) [The Formation of civil society: Urban estate corporations and public organizations in the Central Urals Region in the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries]. Ekaterinburg: Ural'skoe otdelenie RAN, Institut istorii i arkhologii, 2008. 290 p. [in Russian].

Kozlovskii, 1913 – *Kozlovskii I.P.* Pervye pochty i pervye pochtmeistery v Moskovskom gosudarstve [Early post offices and first postmasters in Moscow State]: 2 t. Warsaw, 1913. T. 1. 536 p.; T. 2. 524 p. [in Russian].

Lebedev, 2003 – *Lebedev S.K.* Sankt-Peterburgskii Mezhdunarodnyi kommercheskii bank vo vtoroi polovine XIX v.: evropeiskie i russkie svyazi [St. Petersburg International commercial bank in the 2nd half of 19th century: European and Russian relations]. M.: ROSSPEN, 2003. 526 p. [in Russian].

Markova, 2005 – *Markova M.A.* Pervichnye dokumenty po uchetu naseleniya Sankt-Peterburgskoi gubernii v XVIII – pervoi polovine XIX v. kak istoricheskii istochnik: Metricheskie knigi, ispovednye rospisi, revizskie skazki [Parish register books, confession notes and poll-tax registers as sources for St. Peterburg province population estimation in 18th and 2nd half of 19th century]: dis. ... kand. ist. nauk. St. Petersburg, 2005 [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nravny v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Nardova, 1984 – *Nardova V.A.* Gorodskoe samoupravlenie v Rossii v 60-kh – nachale 90-kh godov XIX v. Pravitel'stvennaya politika [Municipal government in Russia in 1860s till early 1890s. Politics of central administration]. Leningrad: Nauka, 1984. 260 p. [in Russian].

Petrov, 2002 – *Petrov Yu.A.* Moskovskaya burzhuaziya v nachale XX v.: predprinimatel'stvo i politika [Moscow bourgeoisie in early 20th century: entrepreneurship and politics]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo gorodskogo ob"edineniya arkhivov, 2002. 436 p. [in Russian].

Pisar'kova, 2010 – *Pisar'kova L.F.* Gorodskie reformy v Rossii i Moskovskaya дума [Municipal reforms in Russia and Moscow city дума]. Moscow: Novyi Khronograf, 2010. 735 p. [in Russian].

Smirnova, 2002 – *Smirnova S.S.* Demograficheskie protsessy v Olonetskoii gubernii v XIX – nachale XX v.: Opyt komp'yuternogo analiza metricheskikh knig [Demographic development in Olonets province in the 19th and early 20th centuries: statistical analysis]: dis. ... kand. ist. nauk. St. Petersburg, 2002 [in Russian].

Tverdyukova, 2001 – *Tverdyukova E.D.* Administrativnye i tserkovnye istochniki po istorii narodonaseleniya Novgorodskoi gubernii XIX – nachala XX v.: opyt kompleksnogo analiza

[Administrative and church sources on the Novgorod province population in 19th – early 20th centuries]: dis. ... kand. ist. nauk. St. Petersburg, 2001 [in Russian].

Ul'yanova, 1999 – *Ul'yanova G.N.* Blagotvoritel'nost' moskovskikh predprinimatelei. 1860–1914 [Philanthropic activity of Moscow entrepreneurs. 1860–1914]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo gorodskogo ob'edineniya arkhivov, 1999. 510 p. [in Russian].

Ul'yanova, 2005 – *Ul'yanova G.N.* Blagotvoritel'nost' v Rossiiskoi imperii. XIX – nachalo XX veka [Philanthropy in the Russian Empire. 19th – early 20th centuries]. Moscow: Nauka, 2005. 402 p. [in Russian].

Vedernikov, 2012 – *Vedernikov V.V.* Velikaya reforma ili revolyutsionnaya situatsiya (k otsenke dvizhushchikh sil preobrazovaniya v otechestvennoi istoriografii 1871–1986) [The Great reform or the revolution situation: evaluation of factors influencing changes in the Russian historiography 1871–1986] // Aleksandr II: tragediya reformatora: Lyudi v sud'bakh reform, reform v sud'bakh lyudei [Alexander II: the tragedy of the reformer: The people in the destiny of reforms, reforms in the lives of people] / V.V. Lapin (red.). St. Petersburg: European University Press, 2012, pp. 20–50 [in Russian].

Zablotskii-Desyatovskii, 1882 – *Zablotskii-Desyatovskii A.P.* Graf P.D. Kiselev i ego vremya: materialy dlya istorii imperatorov Aleksandra I, Nikolaya I i Aleksandra II [Count P.D. Kiselev and his epoch: materials for history of emperors Alexander I, Nicholas I and Alexander II]. St. Petersburg, 1882. T. 2. 355 p. [in Russian].

Zakharov, 2005 – *Zakharov V.N.* Zapadnoevropeiskie kuptsy v rossiiskoi torgovle XVIII veka [Western European merchants in Russian commerce in 18th century]. Moscow: Nauka, 2005. 716 p. [in Russian].

Zyryanov, 1999 – *Zyryanov P.N.* Russkie monastyri i monashestvo v XIX i nachale XX veka [Russian monasteries and monasticism in the 19th and early 20th centuries]. Moscow: Russkoe slovo, 1999. 312 p. [in Russian].

УДК 94(47)

Современная отечественная историография как живой и развивающийся интеллектуальный организм

Галина Николаевна Ульянова^{а,*}

^а Институт российской истории Российской академии наук, Российская Федерация

Аннотация. В рецензии на монографию профессора Б.Н. Миронова освещено рассмотрение в работе важнейших параметров экономического развития и социальной жизни в России XVIII–XIX вв. Книга охватывает период от царствования Петра I до Октябрьской революции 1917 г., когда наблюдалось вызревание индивидуалистических устремлений личности и постепенное расширение ее гражданских прав. В книге рассмотрена социальная структура общества в городах и в сельской местности, пути сообщения, эволюция законодательства и институтов, демографические сдвиги и др. Большое внимание посвящено дискурсу размывания прежде ригидной социальной иерархии в пореформенный период. В рецензии отмечено, что автором был в веден в научный оборот значительный массив архивных документов, преимущественно из РГИА. Достоинством книги является компаративистский подход, рассматривающий российскую историю в точки зрения европейской и американской моделей развития. В рецензии отмечен большой вклад Б.Н. Миронова в анализ новейшей историографии, особенно ценным при этом является отражение важнейших академических дискуссий в последние 40 лет.

Ключевые слова: историография; история городов; региональная история; имперская Россия; отмена крепостного права; городское самоуправление; купечество; купеческое общество; благотворительность; гражданское общество; компаративистский подход.

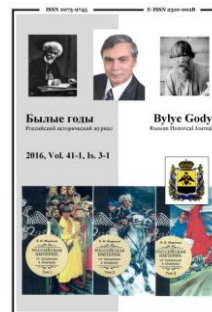
* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: galina.ulianova@gmail.com (Г.Н. Ульянова)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 944-954, 2016
 Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

The Modernization Concept as an Integrative Framework for the Methodology of Studying Topical Issues in Russian History

Yuri N. Smirnov^{a, *}^a Samara National Research University, Russian Federation

Abstract

The article is devoted to a number of methodological and concrete historical questions raised in the monograph by Boris Mironov, “The Russian Empire: From Tradition to Modernity.” The monograph is based on the modernization concept. The variety of methods and techniques borrowed by the author from different scientific disciplines and schools, but which demonstrate their usefulness, provide a reason to call his approach “integrative.” Smirnov shares Mironov’s perspective on the possibility of determining the laws of Russia’s historical path, and on the positive prospects for Russia’s movement upon it. Particular attention is paid to how Mironov examines and interprets the course of Russian colonization, its influence on the internal processes in society in general, and on the fate of specific regions and the ethnic groups. In Mironov’s opinion, the inclusion of new lands in Russia has had generally beneficial effects for the country as a whole and for the people who inhabit it. Smirnov engages in a thought experiment in order to assess in how far Mironov’s conclusions are applicable to the southeast of Russia. The results prove the validity of the conclusions and their applicability to research of other colonized territories. The reviewer recognizes as valid the opinion that the economic reserves of serfdom had not been exhausted by the middle of the 19th century. The liberation of the peasants was caused by many factors, among which moral and cultural reasons were not in the last place. The imperial “Enlightened” bureaucracy became the leader of peasant and other reforms. The article expressed disagreement that the strengthening of the position of the nobility and their power over the peasants in the 18th century was determined by the decisive role of the guard in palace coups. Mironov’s book will stimulate new research and discussions on topical issues of Russian history.

Keywords: Russian Empire; modernization; colonization; expansion; serfdom; Russian guard; liberation of peasants; “Enlightened” bureaucracy; historiography; geopolitics.

Вся книга Б.Н. Миронова (Миронов, 2014; Миронов, 2015а; Миронов, 2015б) заслуживает внимательного отношения в целом и по отдельным главам. Есть в ней вопросы, которые вызывают прежде всего профессиональный интерес, касаются познавательного инструментария историка. Автор представил собственное видение современных методологических приемов и концепций. Не буду задерживать внимание на этой теме, интересной в первую очередь достаточно узкой, сугубо профессиональной аудитории. Только замечу, что солидарен с модернизационным подходом автора. Убедительно звучат многие приведенные им аргументы, а главное – этот подход продолжает лучшие традиции и достижения российских историков XIX–XX вв., пусть с разных позиций (гегельянских,

* Corresponding author

E-mail addresses: smirnov195503@yandex.ru (Yu.N. Smirnov)

позитивистских, марксистских), но искавших закономерности «большой истории» в нашем прошлом. Сам объем трехтомника, обширность его тематики, сведений и выводов доказывают плодотворность избранных теоретических основ. Пока ни один другой из вошедших за последнюю четверть века в моду подходов цивилизационного, постмодернистского или иного звучания не привел к подобным обобщающим результатам по крупному периоду российской истории. Никто с позиций иных теоретических установок не скажет, как наш автор: «Я пытаюсь создать, **насколько это под силу одному человеку** (выделено мной. – Ю. С.), всестороннюю непротиворечивую картину двухвекового развития России» (Миронов, 2014: 11). Хотя Б.Н. Миронов предпочитает называть свой подход «интеграционным», все равно очевидно, что в его основе лежит концепция модернизации (или, если хотите, один из вариантов таковой). За это говорит уже название труда, ведущего читателя «от традиции к модерну». Данная концепция сама по себе объединяет разнообразные методики и приемы. Она способна вбирать в себя плодотворные идеи мир-системного, формационного или любого иного понимания истории как объективного процесса.

Более высокую степень общественного интереса имеют вопросы о преимуществах имперского опыта в XX–XXI вв. или о причинах революции в России (Миронов, 2015b: 676–691, 713–718; Миронов, 2013). Здесь появляется повод для переживания явлений и событий, важных для национального самосознания. В отношении их также ограничусь констатацией очевидных для меня фактов, чтобы воздержаться от идейно-политической полемики, выходящей за профессиональные рамки. На одной из книг, подаренных мне автором, было пожелание: «Сильные должны быть оптимистами». Только по прочтении «Российской империи...», кажется, до конца понял его смысл. Российские историки должны сделать выбор между историческим оптимизмом и пессимизмом, обращенными не в будущее, как мы привыкли в обычной жизни, а опрокинутыми в прошлое. Мы живем в стране с нормальным ходом истории, несмотря на все ее драмы и трагедии, а значит, были «не хуже других» раньше и имеем все шансы быть на равных с успешными народами впредь? Или на нашей земле издавна устроен заповедник самых злых бед и несчастий, в котором и придется оставаться далее? Б.Н. Миронов дает однозначный ответ, по его словам оптимистический. Эта гражданская позиция, кстати, полностью коррелируется с теорией модернизации. Пусть в чем-то отстаем, пусть кого-то приходится догонять, но движемся по магистрали исторического развития. С позиций научной логики выводы, построенные на этом теоретическом основании, выглядят безупречно. С точки зрения идейных и политических симпатий могут, конечно, возникать сомнения, хотя лично у меня их нет. История России – история сильных людей, которые должны быть оптимистами, а значит, знать и свои достоинства, и слабости. Именно так надо подходить к опыту империи, ее удачных и ошибочных ответов на исторические вызовы или решать вопрос о причинах революции, возможности повторения исторических катаклизмов, их вероятной цене и приемлемости таких издержек. Согласен и с высказыванием, что «...оптимисты должны заняться *клиотерапией*» (Миронов, 2014: 18). Надо помочь нашему обществу избавиться от фобий по отношению к своему прошлому, которые неизбежно обращаются в страх перед будущим, в покорность, якобы изначально предопределенной для России незавидной судьбе, а то и в оправдание предательства.

Если высказываться по специальным проблемам, мне более близким, тогда есть смысл затронуть тему территориального расширения России, вопросы о причинах, природе, последствиях крепостного права в государственном масштабе и некоторые другие. По сравнению с «Социальной историей...» (Миронов, 2003) свой новый труд автор заметно расширил и переработал. Однако сам Б.Н. Миронов счел необходимым подчеркнуть наличие таких изменений, в частности в первой главе (Миронов, 2014: 12), которая в прежней работе называлась «Территориальная экспансия и ее последствия», а теперь стала звучать как «Колонизация и ее последствия». Судя по тому что в анонсе книги на личном сайте Б.Н. Миронова названием главы оставалась «Территориальная экспансия...», смена заголовка произошла на самом последнем этапе работы над книгой и, согласимся, стала правильным ходом. Действительно, в главе мало говорится про то, как шло завоевание, вхождение, обретение новых территорий. Больше размышлений о том, что происходило с ними в империи, что принесла на них империя, что империя получила от них. Надо оговориться, что термины «экспансия», «колонизация», «аннексия» в данном изложении утратили навязанный им однозначно негативный смысл, став синонимами в

целом нейтрально звучащих слов «расширение», «освоение», «присоединение». При желании взглянуть объективно на происходившее в прошлом ими уже можно пользоваться как определениями, а не жупелами. Нам понятна следующая установка, высказанная автором: «Порой экспансию просто невозможно отделить от колонизации, так как в XVI–XIX вв. на просторах Евразии четкие государственные границы нередко отсутствовали, да и многие народы государственности еще не знали. По нормам международного права того времени, земли, не являвшиеся территорией какого-либо государства и населенные людьми, жившими родоплеменным строем на стадии присваивающей экономики считались свободными» (Миронов, 2014: 77).

Казалось бы, что нет нужды вновь подтверждать тезис о том, что обретение Россией новых земель, особенно в ходе продвижения ее оседлого населения земель на юг и юго-восток Европы в течение XVI–XIX вв. было одним из важных явлений в развитии нашего государства. Однако в современной отечественной историографии проявилась тенденция ставить под сомнение объективно закономерный и прогрессивный характер освоения народами России этих и других окраин страны. Мне приходилось выслушивать критику своих, якобы устаревших теоретических позиций, которые сохранились со времен колониальных захватов огромных пространств от Волги до Тихого океана, за то, что еще продолжаю считать промыслово-сельскохозяйственное движение в эти края нормальным явлением и даже благом. Приверженцы, как они себя называют, «новой историографической культуры» (С.А. Маловичко и др.) упрекают тех представителей отечественной исторической школы, которых они называют «традиционалистами», в использовании архивных источников, созданных властными структурами колонизаторов. При этом кроме призывов использовать некие «предколониальные» способы хранения памяти о прошлом не предлагаются конкретные никакие иные источники за отсутствием таковых, никакие иные методы работы вместо кропотливого поиска сохранившихся документов и их анализа. Сами «новаторы» такую работу в архивах полезной не признают, за что их уже критиковали в литературе (Артамонова, 2013b: 230). Как можно предположить, они считают, что земли, которые давали и дают пристанище, кров, работу, средства существования, природные ресурсы, благополучие миллионам переселенцев и их сегодняшних потомков, которые необходимы для процветания России и развития человечества, должны были лежать все прошедшие столетия втуне, дожидаясь более цивилизованных культуртрегеров. Не тех ли, которые, уничтожив почти все население целых континентов или загнав покоренные народы в резервации и нищету, ныне спохватились, что на просторах Северной Евразии, внешне более суровых, чем облюбованные ими территории в теплых краях, есть черноземы, водные ресурсы, леса, нефть, газ и прочие богатства, им не доставшиеся?

Опасения, что я оказался среди историков, безнадежно отставших от прогресса в науке, к счастью, оказались преувеличенными. Очень радует тот факт, что Б.Н. Миронов, давно известный и как пионер отечественного использования современных количественных и качественных методик, пришедших из-за рубежа, и как носитель оригинальных концепций исторического развития и новаторских приемов исследования, не отказался от «традиционного» признания закономерности и положительных результатов колонизации. Более того, он вновь показывает примеры того, как можно использовать архивные и особенно массовые источники, не только не отвергая их по причине надуманной «неполиткорректности» происхождения, но и не забывая о критическом восприятии их сведений. Автор «Российской империи...» далек от того, чтобы представить южный и восточный векторы колонизационного движения россиян бурным потоком, сметающим по пути иные культуры, «равные» той, что несли с собой русские, украинские, немецкие, татарские, мордовские и другие переселенцы, уже веками жившие в условиях производящего хозяйства и государственности. Б.Н. Миронов констатирует, что они в основном осваивали «незаселенные земли Новороссии, Юго-Востока, Северного Кавказа и Сибири» (Миронов, 2014: 97).

За многие годы исследований мы, «оптимисты» и «традиционалисты», работая в центральных и местных архивах, занимаясь с опубликованными и устными источниками, составили достаточно глубокое представление о сложной динамике и пестром этническом составе переселенческого движения на окраины России. Обновленные и вновь введенные Б.Н. Мироновым материалы позволяют уточнить и расширить это представление. Согласимся с ним, что важными положительными следствиями имперской экспансии и

народной колонизации стало увеличение земельного фонда и степени его использования (особенно при продвижении в южном и юго-восточном направлении, где имелись более благоприятные условия для сельского хозяйства), взаимообогащение народов организационным, хозяйственным и культурным опытом друг друга (Миронов, 2014: 261, 263). Не отрицаются и негативные последствия этих процессов: привычка к экстенсивному развитию, задержки урбанизации, трудность коммуникаций, рост затрат на оборону, распыление средств, этнические проблемы. Однако в это число не входят, как мы видим, явления, присущие некоторым империям Запада и Востока, но не имевшие места в России, несмотря на попытки ей их приписать: геноцид, религиозные войны, расизм, воинствующий национализм титульного народа, государственная политика ассимиляции.

Автор ссылается на историков Башкирии, в том числе Б.Х. Юлдашбаева, показавших, что «мнение о депопуляции башкирского народа не соответствует фактам» (Миронов, 2014: 168). С середины XVIII до начала XX в. численность этого народа, ставшего одним из самых больших в империи, выросла со 150 тыс. до 1,7 млн чел. (Томашевская, 2002: 232). Как образно выразилась известный историк, этнолог и религиовед А.Б. Юнусова (дочь Б.Х. Юлдашбаева), башкиры стали ощущать себя «народом России, живущем в самом ее сердце», выйти из которой они могут «только в землю или в небо» (Юнусова, 2015).

Можно привести пример с народом другой языковой группы и конфессиональной принадлежности – мордвой. Его численность в имперский период выросла с 1719 по 1917 г. также в 11 раз (со 100 тыс. чел. до 1,1 млн чел. с лишним) – это несмотря на значительную ассимиляцию мордвы русскими. Следует согласиться с тезисом В.А. Юрченкова, что мордву следует считать «имперским народом». Основанием тому является не только ее численность и высокая степень рассеянности по территории страны, не только заметная роль представителей или потомков мордвы в формировании русского и других этносов. Надо учитывать также тяжесть имперского бремени, которое этот народ нес наряду с русскими, а также его самосознание, разделяющее с другими этносами гордость за имперское прошлое. Эти замечания и выводы об «имперских народах» в той же мере можно отнести и к другим жителям России, например татарам или украинцам (Юрченков, 2014: 148–150).

Можно было бы посоветовать, что Б.Н. Миронов уделит заселению и освоению Поволжья и Урала меньше внимания, чем Новороссии или Сибири. Возможно, преувеличиваю этот факт в силу собственных исследовательских предпочтений. Тем более не настаиваю на еще большем расширении представленного автором объемного труда. Просто напомню, что присоединение значительной части Заволжья и Приуралья к России, земледельческо-промысловое освоение региона пало также на имперский период. Более того, вопросы по этой территории, не раскрытые до конца в книге, позволяют поставить мысленный эксперимент. Вроде указания на свойства неоткрытого химического элемента, заранее известные благодаря знанию его места в периодической таблице, или определения «на кончике пера» местонахождения невидимой планеты по гравитационным возмущениям иных небесных тел.

В книге Б.Н. Миронова есть вполне работающая схема, выстроенная по наблюдениям, сделанным на материале разных имперских окраин. Ее основные положения сводятся к следующему. Главными причинами территориальной экспансии были геополитические, частично – экономические. Объективно стимулом к колонизации стало аграрное переселение, субъективно – «миграционная парадигма» российских крестьян: «Они колонизовали территории, не думая, в отличие от элиты, ни об империи, ни о цивилизаторской миссии – они всегда были в поисках земли, где жизнь во всех отношениях лучше» (Миронов, 2014: 105, 108).

По нашим наблюдениям оказывается, что к Заволжью и Приуралью эта схема также применима, причем очень наглядно. Присоединение и колонизация юго-восточной имперской окраины входили в число важных общегосударственных задач, реализовывались под управлением и контролем верховной власти, центральных правительственных учреждений, но при активном участии широких масс переселенцев в ходе настоящего народного движения. Именно здесь впервые геополитические планы России получили научное обоснование (Смирнов, 2012).

Проект видного ученого – картографа и статистика И.К. Кирилова, занимавшего пост обер-прокурора Сената, предусматривал продвижение российских интересов и рубежей в направлении Казахстана, Центральной Азии, Индии и привел к организации Оренбургской

экспедиции (комиссии), преобразованной в итоге в новую обширную Оренбургскую губернию империи. Однако стратагема Кирилова была шире и стала основой настоящего прорыва империи на север и восток Евразийского материка и северо-запад Американского. Ее тихоокеанская часть разрабатывалась совместно с мореплавателем В. Берингом, а сибирская – с географом и историком Г.Ф. Миллером, которые стали фактическими руководителями организованной одновременно с Оренбургской еще одной экспедиции, названной официально Второй Камчатской, но справедливо вошедшей в историю под именем Великой Северной. Оренбургская экспедиция, в деятельности которой принимали участие также видные пионеры российской науки В.Н. Татищев и П.И. Рычков, преследовала на континентальном азиатском направлении кроме политических торгово-экономические интересы России и российского купечества, в данном случае представленного прежде всего его мусульманской частью. Не случайно, что среди инициаторов и руководителей экспедиции вторым по значению лицом был российский разведчик и дипломат А.И. Тевкелев, ставший первым российским генералом среди последователей ислама (Арапов, 2002). Таким образом, на юго-восточном, дальневосточном и северо-восточном направлениях Российской империю расширяли, утверждали, осваивали не только православные славяне, но и протестанты западноевропейского и мусульмане тюркского происхождения.

В исторически короткий срок, начиная с первой трети XVIII до середины XIX в. практически безлюдные пространства юго-восточных территорий Европейской России превратились в развитый земледельческо-промысловый регион с многочисленным оседлым населением. В этом заслуга и вольной народной колонизации, и политики властей, которая в целом адекватно реагировала на перемены в ситуации на имперской окраине. Здесь создавались управленческие структуры, которые гибко адаптировались к изменяющейся ситуации. Их эволюция прошла путь от временных экспедиций и комиссий 1730-х гг. до создания в 1851 г. заволжской Самарской губернии, получившей статус «внутренней» губернии империи, одинаковый с издревле обжитыми землями центра России, и до преобразования на близкий к общеимперским образцам лад управления Оренбургской и Уфимской губерниями в 1865 г.

За 120 лет пройти путь от «Дикого поля» до территории, которую уже никто не ставил под сомнение как российскую, – большое достижение. Это могло произойти только в результате колонизационного движения. В связи с этим требует корректировки высказывание Б.Н. Миронова, что «широко распространенное мнение, согласно которому население России всегда было чрезвычайно мобильным, не соответствует действительности для периода с 1650 по 1858 г.» (Миронов, 2014: 100). Он исходил из посыла, что эту мобильность призвано было нейтрализовать крепостное право, особенно действенное на своем пике от Соборного Уложения 1649 г. до Реформы 1861 г. В реальности же самовольные переселения крепостничество, хотя и ограничило, но не только не остановило, а даже не лишило их массового характера.

Во-первых, в самовольных переселениях принимало участие значительное количество государственных и дворцовых (удельных) крестьян, на уход которых власти реагировали спокойно, лишь бы те на новом месте жительства продолжали платить подати. Крестьяне испытывали чувство благодарности к тем высокопоставленным чиновникам, ответственным за государственную казну, которые предоставляли переселенцам, оставшимся добросовестными налогоплательщиками, защиту от «обид» местной администрации, когда та пыталась жестко ограничить их поток, вернуть в места прежнего обитания и отобрать занятую самозахватом землю. Откуда в Заволжье и Приуралье взялись многочисленные Егоровки и Киселёвки? В честь них, крестьянских «заступников» и «благодетелей», министров Е.Ф. Канкрин и П.Д. Киселёва.

Во-вторых, были возможны вполне легальные способы закрепиться на новом месте жительства и беглым частновладельческим крепостным. В переписях многих новопоселенных деревень почти все жители часто показаны как «возвращенные из бегов». На самом деле это выражение обозначало фиксацию на новых местах осевших здесь беглецов двумя способами. В первом случае, обнаружив своих беглых в новых поселках, помещики старались оформить на себя земли (через покупку или пожалование), где те обосновались. Во втором, хозяева земель, пустившие беглых, задним числом оформляли сделки о купле-продаже или иной уступке крепостных с прежними владельцами, которые понимали всю разорительность и безнадежность доставки своих крепостных собственным

коштом в прежние селения. В обоих случаях крестьяне не протестовали, поскольку бежали не от абстрактного «крепостного права», а уходили от голода, малоземелья, с потерявших плодородие выпашанных полей за Волгу, где оказывались на богатых черноземах с обширными сенокосами и пастбищами. Стихийная народная колонизация проявлялась в самых разных формах. Попытки четко отделить ее не только от правительственной, но даже от помещичьей оказываются малоуспешными.

В-третьих, был способ и для тех, кто не желал снова попасть в хозяйское ярмо. Надо было объявить себя не знающим своего происхождения и прежнего жительства. Если чиновникам не удавалось доказать обратного, такие попадали в особую категорию государственных крестьян – «не помнящих родства», у которых в Заволжье были целые слободы, свои выборные и даже депутаты в Уложенной комиссии Екатерины II. В 1746 г. Сенат распорядился всех «не помнящих родства», обнаруженных во время ревизии в различных частях России, отправлять на поселение в Оренбургскую губернию.

В-четвертых, и это, пожалуй, главное состоит в том, что российское самодержавие в лице своих верховных носителей, а также на уровне центральных и местных властей во многих случаях готово было идти на признание нарушений крепостного режима в массовом масштабе. В качестве подтверждения обозначим несколько эпизодов массовой легализации беглых и самовольных переселенцев в лесостепном и степном Заволжье.

В 1736 г. в ходе Оренбургской экспедиции (комиссии) создавалось новое казачье войско, названное со временем Оренбургским. Руководство экспедиции объявило и вело запись в него «охотников» поодиночке и целыми семьями без выяснения происхождения. Требования вернуть крепостных, ушедших в Заволжье от своих владельцев, игнорировались, а потом были официально отвергнуты в 1740 г. распоряжением оставить всех поверстанных в казаки на новом месте жительства и службы, понесшим убытки помещикам выдать квитанции в зачет рекрутского набора.

В 1762 г. было разрешено бежавшим в Речь Посполитую раскольникам вернуться в Россию и исповедовать старую веру. Для них предоставлялись земли по левобережному притоку Волги – Большому Иргизу. Уже в 1763 г. обнаружилось, что под видом реэмигрантов сюда в основном стекались беглые из внутренних губерний России. Тем не менее они были зачислены в дворцовое ведомство, а пострадавшим от их ухода помещикам опять выдавались квитанции в зачет рекрутских наборов. Здесь можно сделать уточнение к высказыванию Б.Н. Миронова о роли религиозного фактора в «идеологии колонизации» (Миронов, 2014: 108). В Степном Заволжье старообрядчество не столько привлекало к переселению единоверцев, сколько пыталось, используя благоприятную конъюнктуру, распространить свое влияние на массы людей, пришедших сюда по вполне земным причинам. «Миграционная парадигма», о которой говорит автор, к тому же была не только русской и имела не только христианские оттенки. В XVIII в. в Заволжье и Приуралье активно уходили мордва, чуваша, татары, в том числе из-за религиозных притеснений. Защита своей языческой и исламской «старины» тоже оказалась немаловажным фактором в переселении этих народов, хотя никогда не являлась основной причиной миграций, вопреки мнению некоторых историков, преувеличивающих этот аспект.

С конца XVIII в. оседание беглых на землю пресекалось. Однако для них служили прикрытием традиционные волжские промыслы, судовые работы, сезонный сельскохозяйственный найм, растущие города. Более предусмотрительные из них старались обзавестись требуемыми по закону документами, и изготовление фальшивых паспортов превратилось в настоящее ремесло. Обладая упорством и найдя покровителей, можно было не просто осесть в городе, а добиться житейского успеха. Показателен пример беглого крестьянина Ф.С. Плотникова. Став богатым купцом-хлеботорговцем, он в 1840–1850-х гг. трижды избирался городским головой Самары.

Случаи потачки беглым и нежелание по-настоящему расследовать их дела объяснялись не только круговой порукой горожан или корыстью местных чиновников, но и более глубокими причинами. Министр внутренних дел Л.А. Перовский в 1852 г. секретным распоряжением фактически упразднил паспортный контроль в Самаре за торговцами, транспортными и сельскохозяйственными рабочими. Ликвидация паспортного контроля демонтировала все правовое и полицейское обеспечение крепостного режима в Самарской губернии почти за 10 лет до отмены крепостного права в масштабе страны. Конечно, далеко не каждый беспаспортный был беглым, но среди полумиллиона человек, приходивших ежегодно без документов в Самару или следовавших через нее, как это число оценивал

Л.А. Перовский, таковых было явно немало. Да и те, кто не собирался в бега, могли уходить для торговли и заработков на Волгу без разрешения помещиков и властей.

Отказ в 1850-е гг. от сыска беглых и самовольно ушедших крестьян в крупном торговом городе и транспортном узле, несомненно, был вызван не только хозяйственным интересом. Он также отражал нарастание тех тенденций в социальных и культурных настроениях общества, которые вели к скорой уже отмене крепостного права. Столичная и губернская «просвещенная» бюрократия не только вынашивала планы реформ (Акульшин, 2000). Она уже приступала к конкретным действиям.

В итоге в проведенном мысленном эксперименте все оказалось соответствующим схеме, что составил Б.Н. Миронов, хотя та и была сконструирована практически без учета материалов по юго-восточному региону. Тем не менее и на этот регион, как выяснилось, она также без труда накладывается.

К сожалению, у автора встречаются отдельные ошибки по истории данного региона. Так, не понятно, почему Поволжье и Приуралье в одной из таблиц указаны в числе территорий, на которые до 1740 г. не было переселений (Миронов, 2014: 99). В высказывании об «эмиграции» из России в Джунгарию 200 тыс. калмыков после ликвидации Калмыцкого ханства в 1771 г. (Миронов, 2014: 106) переставлены причина и следствие. На самом деле сначала было трагическое для народа решение калмыцкой знати и духовенства об исходе и последовавшее бегство из России. После этого ханство, потерявшее подавляющее большинство населения, было упразднено. Отметим часто встречающееся, к сожалению, в литературе причисление нерусского населения рассматриваемых регионов к «ясачным инородцам», якобы платившим особый налог – «ясак» (Миронов, 2014: 398). На самом деле ясачные татары, чуваша, мордва и прочие (среди них были и русские) в XVIII–XIX вв. платили, как и все государственные крестьяне, подушную подать, оброчный сбор, несли рекрутскую и прочие повинности. Ясачными же они назывались по традиции с тех времен, когда существовало поземельное обложение, которое в коренной Руси меряли «сохами», а на Волге участки, с которых взимались подати, именовались «ясаками». Слова «черносошный» и «ясачный» (чаще писали «ясашный») по сути являются синонимами, один с русским, другой – с тюркским корнем.

Вслед за колонизацией следует остановиться детальней на теме крепостничества. Автор предлагает на новом витке развития исторического знания вернуться к «теории закрепощения сословий», включая дворянство и духовенство. Впрочем, в большинстве случаев Б.Н. Миронов говорит о крепостном праве в общепринятом значении. Поэтому в данном случае под крепостничеством будем иметь в виду ограничение прав и внеэкономическое принуждение низших общественных слоев, прежде всего крестьян со стороны государства, привилегированных землевладельцев и служилых людей.

Б.Н. Миронов прав, что мало среди историков тех, кто изучали крепостное право беспристрастно (Миронов, 2014: 15). Эту оговорку пришлось делать в том месте, где автор утверждает, что оно выполняло «важные функции для общества», а не было «только злом». Оговорка неизбежная, поскольку признание даже относительной пользы крепостничества остается действительно не очевидным. Понимая и принимая рациональные объяснения объективных причин зарождения и длительного существования крепостничества в России, его следует воспринимать как абсолютное нравственное зло, которое не могло перестать быть злом в общественных отношениях, политической жизни, экономике, даже когда принудительная мобилизация и подневольное напряжение сил могли приносить некоторый положительный эффект. Только цена была чрезмерна.

Объяснение «пользы», принесенной крепостничеством, автор возводит к С.М. Соловьеву: «В условиях отсталой сравнительно с западноевропейскими странами экономики лишь государственная эксплуатация населения могла дать государству необходимые средства. <...> Только всеобщее закрепощение могло в какой-то мере удержать население на месте, изъять у него финансовые средства и сохранить социальный порядок» (Миронов, 2015а: 30, 118). Б.Н. Миронов, кажется, не заметил, как солидаризовался с точкой зрения Л.В. Милова, критикуемого им за географический детерминизм (Миронов, 2014: 229). У того она также восходит к Соловьеву, а крепостное право отнесено к «компенсаторным механизмам», возмещавшим недостаток прибавочного продукта, получаемого в России. Зная, насколько трудно было в России найти рычаги, чтобы вовремя застопорить и выключить этот социально-правовой механизм, невольно задумываешься, а не являлось ли крепостное право изначально более опасной бедой, чем те проблемы, в

преодолении которых оно должно было помочь, выполняя тем самым «общественно значимую и позитивную функцию» (Миронов, 2015а: 15).

О цене материальной, выраженной через подати, повинности, потребительские стоимости, деньги, трудовые затраты, которыми крестьян заставляли поступаться в пользу землевладельцев и душевладельцев, можно спорить, определяя ее размеры. Эксплуатация в виде разных форм внеэкономического принуждения – неотъемлемая часть цивилизаций и государств на протяжении даже не веков, а тысячелетий. Насколько именно крепостничество в отличие от других форм экспроприации прибавочного продукта отягощало основную массу населения, препятствовало инициативе и прогрессу в народном хозяйстве, об этом идут и будут продолжаться серьезные дискуссии.

Цене моральной и этической крепостничества, культурным или социально-психологическим пагубам этого явления оправданий не находится вовсе. Крепостное право не только унижало зависимых людей, парализовало их активность и способности, оно развращало и само господствующее сословие.

Российский опыт относительно свободной социальной конкуренции и попыток налаживания социального партнерства оказался очень беден. Полвека пореформенного развития было недостаточно, чтобы россияне разных классов и состояний оказались готовы встретить национальной солидарностью, а не гражданским противостоянием вызовы XX в., когда самодержавие и бюрократия перестали справляться с ролью основного двигателя реформ и модернизации. Кто, как не Б.Н. Миронов знает и пишет об этом?

Напомним мудрое высказывание В.О. Ключевского о том, что на следующий день после Манифеста о вольности дворянства 18 февраля 1762 г. должна была быть отменена крепостная зависимость крестьян. Так и произошло, но с непростительной задержкой. Долгожданное 19 февраля наступило лишь в 1861 г., через 99 лет (Ключевский, 1989: 300). В деле социального развития и воспитания общественной зрелости Россия потеряла целый век. Конечно, это не был век застоя, но можно было добиться большего.

В поисках причин установления неоправданного «дворяновластия» Ключевский пошел, полагаю, неправильным путем. Однако он обладал таким авторитетом и даром убеждения, что создал в историографии «гвардейскую парадигму», согласно которой дворянская по составу гвардия в ходе дворцовых переворотов XVIII в. отстаивала интересы дворянства в целом и добилась для него исключительного привилегированного положения. Б.Н. Миронов находится полностью в русле этой парадигмы, считая, что именно гвардия в 1725–1762 гг. сыграла консолидирующую роль для дворянского сословия, что в ходе ее выступлений это сословие и осознало себя силой (Миронов, 2014: 343; Миронов, 2015а: 43). Однако данные полковых списков, других документов полковых архивов, да и опубликованные материалы свидетельствуют об ином. Гвардия в XVIII в. не была чисто дворянской по составу, в дворцовых переворотах являлась не застрельщиком, а инструментом борьбы придворных группировок за власть (Смирнов, 1989). Это была боевая часть регулярной армии, которая служила трону, империи, государству, а не подменяла их и не ослабляла в интересах отдельных социальных групп, как это бывало со стрельцами. Механизм утверждения «дворяновластия» был все-таки более сложным, чем представляет «гвардейская парадигма».

Оценки крепостного права после 1762 г., сделанные Б.Н. Мироновым, не вызывают возражений. Его позиция однозначно состоит в том, что после «освобождения дворянства от обязательной службы частновладельческое крепостное право утратило государственное и моральное оправдание» (Миронов, 2015а: 52). О вреде и язвах крепостного права как раз конца XVIII – первой половины XIX в. говорили и писали русские писатели, поэты, критики, публицисты, экономисты, философы, дальновидные общественные и государственные деятели.

Автор справедливо утверждает, что с экономической стороны резервы крепостничества не были исчерпаны и оно было отменено «в силу государственной и общественной потребности в модернизации и более глубоком усвоении европейских культурных, политических и социально-культурных стандартов» (Миронов, 2015а: 60) Б.Н. Миронов абсолютно прав, что в стране и обществе сложилась новая система ценностей, в которой уже не было места крепостному праву (Миронов, 2015а: 80). На переходе к Великой реформе сказались многие факторы: воздействие зарубежного общественного мнения и зарождение собственного, рождение классической русской литературы и перенос на ее страницы из-за отсутствия иных политических трибун социально значимых

«проклятых вопросов», 100 лет активной работы русских университетов и несколько десятилетий просветительских трудов общеобразовательных школ (Артамонова, 2013а). Как указывает автор, внеэкономическое принуждение встречало все большее сопротивление крестьян, осознававших свое достоинство, и стало выглядеть безнравственным по мере роста образовательного и культурного уровня помещиков (Миронов, 2015а: 78).

Считаю, что на рубеже 1850–1860-х гг. имперская «просвещенная» бюрократия сыграла самую блестящую партию в своей истории, показав себя главным на тот момент локомотивом российской модернизации, о чем неоднократно упоминает Б.Н. Миронов. Реформа вышла прагматичной, свободной от идеологического налета и подоплеки. Можно сказать, что ее делали с широко открытыми глазами, на которых не было ни розовых очков, ни черных повязок.

Без каких бы то ни было шор, т. е. в лучших традициях российской науки и общественной мысли проделал огромную работу и автор рецензируемой монографии. Следует выразить ему признательность и за новые решения актуальных вопросов российской истории, и за новые призывы к их обсуждению.

Литература

Акульшин, 2000 – Акульшин П.В. Просвещенная бюрократия Российской империи в дореформенную эпоху // Дискуссионные вопросы российской истории. Арзамас, 2000. С. 74–78.

Арапов, 2002 – Арапов Д.Ю. Первый русский генерал-мусульманин Кутлу-Мухамед Тевкелев // Сборник Русского исторического общества. М., 2002. Т. 5 (153). С. 32–37.

Артамонова, 2013а – Артамонова Л.М. Политика в сфере народного просвещения в Поволжье (XVIII – первая половина XIX в.) // Российская история. 2013. № 2. С. 101–113.

Артамонова, 2013б – Артамонова Л.М. Рукописи Г.Н. Потанина «Записки о Самаре» и «Дедушка из Самары» – замечательные памятники «локальной» истории середины XIX века // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 5-1. С. 229–237.

Ключевский, 1989 – Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV // Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1989. Т. 4. 399 с.

Миронов, 2003 – Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

Миронов, 2013 – Миронов Б.Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015а – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015б – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Смирнов, 1989 – Смирнов Ю.Н. Русская гвардия в XVIII веке. Куйбышев: КГУ, 1989. 80 с.

Смирнов, 2012 – Смирнов Ю.Н. Начало научного изучения в России восемнадцатого столетия проблем регионоведения и геополитики // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 3. С. 171–175.

Томашевская, 2002 – Томашевская Н.Н. От социального пространства к социальному времени: Опыт этнической истории башкирского этноса в новое время. Уфа: Китап, 2002. 240 с.

Юнусова, 2015 – Юнусова А.Б. «Башкирского сепаратизма не существует»: Исламовед Айслу Юнусова о национальных и религиозных проблемах Башкортостана // Лента.ру. 2015. 23 июня [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/06/23/bashkir> (дата обращения: 15.07.2016).

Юрченков, 2014 – Юрченков В.А. Мордовская история: курс лекций. Саранск: Шапкарин К., 2014. 276 с.

References

- Akul'shin, 2000** – *Akul'shin P.V.* Prosveshchennaya byurokratiya Rossiiskoi imperii v doreformennuyu epokhu [Enlightened bureaucracy of the Russian Empire in the pre-reform era] // *Diskussionnye voprosy rossiiskoi istorii* [Controversial issues of Russian history]. Arzamas, 2000, pp. 74–78 [in Russian].
- Arapov, 2002** – *Arapov D.Yu.* Pervyi russkii general-musul'manin Kutlu-Mukhamed Tevkelev [The first Russian Muslim general Kutlu-Mukhamed Tevkelev] // *Sbornik Russkogo istoricheskogo obshchestva* [Collection of the Russian historical society]. Moscow, 2002. T. 5 (153), pp. 32–37 [in Russian].
- Artamonova, 2013a** – *Artamonova L.M.* Politika v sfere narodnogo prosveshcheniya v Povolzh'e (XVIII – pervaya polovina XIX v.) [Policy in the sphere of national education in the Volga Region (18th – the first half of the 19th centuries)] // *Rossiiskaya istoriya* [Russian history]. 2013. Nr 2, pp. 101–113 [in Russian].
- Artamonova, 2013b** – *Artamonova L.M.* Rukopisi G.N. Potanina “Zapiski o Samare” i “Dedushka iz Samary” – zamechatel'nye pamyatniki “lokal'noi” istorii serediny XIX veka [G.N. Potanin's manuscripts “Notes about Samara” and “The grandfather from Samara” – remarkable monuments of “local” history of the middle of the 19th century] // *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk* [News of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. 2013. T. 15, nr 5-1, pp. 229–237 [in Russian].
- Klyuchevski, 1989** – *Klyuchevski V.O.* Kurs russkoi istorii [The Course of Russian History]. Ch. IV // *Sochineniya* [Works]: 9 t. Moscow: Mysl', 1989. T. 4. 399 p.
- Mironov, 2003** – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 3rd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].
- Mironov, 2013** – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nnavy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].
- Mironov, 2014** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- Mironov, 2015a** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- Mironov, 2015b** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- Smirnov, 1989** – *Smirnov Yu.N.* Russkaya gvardiya v XVII veke [Russian guard in the 17th century]. Kuibyshev: KGU, 1989. 80 p. [in Russian].
- Smirnov, 2012** – *Smirnov Yu.N.* Nachalo nauchnogo izucheniya v Rossii vosemnadtsatogo stoletiya problem regionovedeniya i geopolitiki [The beginning of scientific study in eighteenth century Russia the problems of area studies and geopolitics] // *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk* [News of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. 2012. T. 14, nr 3, pp. 171–175 [in Russian].
- Tomashevskaya, 2002** – *Tomashevskaya N.N.* Ot sotsial'nogo prostranstva k sotsial'nomu vremeni: Opyt etnicheskoi istorii bashkirkogo etnosa v Novoe vremya [From social space to social time: the Experience of ethnic history of Bashkir ethnos in the New time]. Ufa: Kitap, 2002. 240 p.
- Yunusova, 2015** – *Yunusova A.B.* “Bashkirkogo separatizma ne sushchestvuet”: Islamoved Aislu Yunusova o natsional'nykh i religioznykh problemakh Bashkortostana [“Bashkir separatism does not exist”: Islamic expert Ayslu Yunusova on national and religious issues of Bashkortostan] // *Lenta.ru*. 2015. June 23. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/06/23/bashkir> [in Russian].
- Yurchenkov, 2014** – *Yurchenkov V.A.* Mordovskaya istoriya: kurs lektsii [Mordovian History: lectures]. Saransk: Shapkarin K., 2014. 276 p. [in Russian].

УДК 94(47)

Модернизационная концепция как интеграционная основа для методологии изучения проблем российской историиЮрий Николаевич Смирнов^{a, *}^a Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена ряду методологических и конкретно-исторических вопросов, поднятых в монографии Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну». Многообразие методов и приемов, заимствованных автором из разных научных дисциплин и школ, но показавших свою полезность, дают основание называть его подход «интегративным». Смирнов разделяет взгляд Миронова на возможность определения закономерностей исторического пути России и на оптимистические перспективы движения России по нему. Особое внимание обращено на то, как Миронов рассматривает и интерпретирует ход российской колонизации, ее влияние на внутренние процессы в обществе в целом, на судьбы отдельных регионов и этносов. По мнению Миронова, включение новых земель в состав России имело благотворные последствия для страны в целом и народов, ее населяющих. Чтобы оценить, насколько выводы Миронова применимы к юго-востоку России, Смирнов ставит мысленный эксперимент. Его результаты доказывают их достоверность и применимость к исследованию других колонизируемых территорий. Признается справедливым мнение, что экономические резервы крепостничества к середине XIX в. не были исчерпаны. Освобождение крестьян было вызвано многими факторами, среди которых моральные и культурные стояли не на последнем месте. Проводником крестьянской и других реформ стала имперская «просвещенная» бюрократия. В статье выражено несогласие с тем, что укрепление положения дворян и их власти над крестьянами в XVIII в. определялось решающей ролью гвардии в дворцовых переворотах. Книга Миронова стимулирует новые исследования и дискуссии по актуальным вопросам русской истории.

Ключевые слова: Российская империя; модернизация; колонизация; экспансия; крепостное право; русская гвардия; освобождение крестьян; «просвещенная» бюрократия; историография; геополитика.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: smirnov195503@yandex.ru (Ю.Н. Смирнов)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 955-964, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

A Glass Half-Full, Perhaps Three-Quarters: Imperial Questions in Boris Mironov's "Rossiiskaia Imperiia"

Willard Sunderland^{a,*}

^a University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA

Abstract

"Rossiiskaia imperiia" is a remarkable feat of scholarship – ambitious, intense, erudite, dazzling in its command of sources and topics. It's also idiosyncratic and unwieldy, abounding with so many claims and so much information that it can sometimes be hard to define or reduce to a single impression. The book is a curious hybrid: a deeply empirically based survey of social life in the imperial era that also, at least in parts, has the feel of a meandering essay with multiple digressions on disparate topics. Sunderland's remarks concentrate on just one aspect: the question of empire. Mironov's points are compelling in many ways. There are good reasons to draw attention to the empire's long-term historical stability and the particularities of tsarist rule that made the empire similar yet also different from other empires of its time. The vastness of the empire was stunning and clearly had a critical and overall advantageous impact on the development of the state. Numerous peoples indeed gained in important ways from their incorporation into Russian space, while ethnic Russians, as Mironov correctly points out, were not a "ruling people" who benefitted unambiguously from the imperial structure. "Rossiiskaia imperiia" generalized that created an overly one-sided picture of the empire's virtues. Long-lasting and diverse states like the Russian Empire are complex forms hard to fit into tight categories of success or failure. Squeezing them into these boxes invariably means leaving things out, but leaving things out, in turn, creates a distorted view. Mironov's book is far from a superficial glorification of the Russian experience. The work is full of scholarly complexity, contradiction, and nuance. It engages with difficult issues and invites constructive disagreement. But there is also no denying that Mironov tends to round up rather than round down when making generalizations about the tsarist experience, including the aspirations, practices, and consequences of Russian imperial rule. His insistence in "Rossiiskaia imperiia" in seeing tsarist Russian past as a glass half-full, perhaps three-quarters.

Keywords: Russian Empire; colonization and colonialism; expansion; ethno-confessional relations; national politics; "clioterapiia"; social history; modernization; anti-Semitism; racism.

This research was supported by grant N 15-18-00119 from Russian Science Foundation.

In the fourth edition of "Sotsial'naia istorii Rossii," (Mironov, 1999; Mironov, 2000a; Mironov, 2000b; Mironov, 2000c; Mironov, 2003) revised and retitled as "Rossiiskaia Imperiia," (Mironov, 2014; Mironov, 2015a; Mironov, 2015b) Boris Mironov offers a powerful restatement of

* Corresponding author

E-mail addresses: sunderwd@ucmail.uc.edu (W. Sunderland)

his well-known argument for seeing imperial Russia as a successful state and society. More still than the previous editions, the book is also a passionate commentary on what Mironov sees as the errors of Russian historiography and national self-perception as well as a plea for changing course. Indeed, it's these intertwined aspects of "Rossiiskaia imperiia" that make the book so unique. It's all here – Mironov's view of his topic, his field, his country and the world, in particular, the relationship between Russia and the West, all of it bound together, in a direct and personal way that one rarely sees in academic histories in Russia or elsewhere.

Of course, this is also why the book is likely to be controversial. When Mironov published his massive anthropometric study of health and well-being in the imperial era a few years ago ("Blagosostoianie naseleniia i revoliutsiia v imperskoi Rossii"), reactions were mixed (Mironov, 2010; Mironov, 2012a; Mironov, 2012b). Some historians celebrated the work; others responded harshly, critiquing Mironov's use of data as well as his overall conclusion that the revolutions of 1905 and 1917 were the result of political machinations on the part of the "liberal-radical intelligentsia" similar to the "color revolutions" of the 2000s rather than proof of the tsarist order's failings as a system (Mironov, 2010: 692–693). Extending the exchange, Mironov published a collection of responses to his critics, "Strasti po revoliutsii," in two editions in 2013 and 2014, and now "Rossiiskaia imperiia", in effect, resumes the debate (Mironov, 2013). As he notes in his preamble, this is a truly new *new* edition of "Sotsial'naia istoriia Rossii," a "comprehensive overhaul" (*kapital'naia pererabotka*) of the original that summarizes his wide-ranging research on the imperial era over the course of his long career and offers, in effect, the fullest possible statement of his views.

One thing about "Rossiiskaia imperiia" is clear: It's an assertive work, a book in the midst of an argument, and reading along, one indeed finds oneself wondering: Is Mironov right about tsarist Russia? Is he right about the Russian historical field and about how Russians need to reconsider their past? What of his methods, his terminology, his use of statistics? Are his conceptualizations valid? Does he overstate his case? Alternatively, despite the fact that this version of the book is more than twice as long as the earlier ones, is it possible, in the end, that he hasn't said enough?

Personally, I see "Rossiiskaia imperiia" as a remarkable feat of scholarship – ambitious, intense, erudite, dazzling in its command of sources and topics – in effect, the latest iteration of the magnum opus of a master historian. On the other hand, it's also idiosyncratic and unwieldy, abounding with so many claims and so much information that it can sometimes be hard to define or reduce to a single impression. More than the preceding editions, the book is a curious hybrid: a deeply empirically based survey of social life in the imperial era that also, at least in parts, has the feel of a meandering essay with multiple digressions on disparate topics: the virtues of art history, patterns of consumption in the contemporary world, the need for Russians to cast aside their "negativism" and take pride in their country, the shortcomings of post-modernism and microhistory, the relationship between modernization and happiness, and many other issues besides.

Though unusual and probably not to everyone's taste, I find Mironov's blend of research and commentary thought-provoking. As he noted in an essay a few years ago, historians are never without their "individual 'I.'" Try as we might to be "sterile" communicators of historical truth, we cannot magically scrub ourselves from our scholarship. Our personal "intellectual orientations and political affinities" are always present (Mironov, 2013: 104). To his credit, in "Rossiiskaia imperiia," Mironov is completely forthright about his orientations and affinities. His individual "I" as a historical thinker is in full view. Responding to the book, one thus finds oneself inevitably reacting both to what he is saying and the distinctly "Mironovian" way in which he's saying it.

Because the work is so sprawling, my remarks here will concentrate on just one aspect: the question of empire. Empire is my area of interest, so the choice to emphasize this subject plays self-servingly to what I know best. Imperial concerns were also the focus of a critique I wrote in the early 2000s in response to first edition of "Sotsial'naia istoriia Rossii" (Sunderland, 2001; Mironov, 2001). In that sense, Mironov's arguments about empire are familiar to me, making it easier to return to them a second time.

Yet for all that, a new look at what Mironov has to say about empire seems nonetheless justified. For one, with this edition, the word "empire" now figures in the title of the book, suggesting a new prominence to his consideration of the subject. Secondly, much as in the earlier editions, empire continues to serve as a kind of metaphorical antechamber for the work as a whole since imperial themes provide the focus of Chapter I of Volume I, now entitled "Colonization and

its Consequences” (“Kolonizatsiia i ee posledstviia”), which is not only one of the book’s longest chapters (210 pages of text + 31 more of notes – practically a book in itself!) but also one of two that he enhanced the most for the new edition (for Mironov’s statement on this, see: (Mironov, 2014: 12)). Finally, the imperial thematic seems all the more tightly linked here to Mironov’s primary historical argument: the contention that imperial Russia was a successful state. “Sotsial’naia istoriia Rossii” drew attention to imperial expansion and policy as key dimensions of Russian success. “Rossiiskaia imperiia” makes this point still more emphatically, which itself suggests the usefulness of looking into Mironov’s understanding of empire and where and how he situates it in his work.

So, what is new about the imperial picture presented in “Rossiiskaia imperiia”? The most obvious changes indeed appear in Chapter 1, where Mironov has now added extensive discussions on topics such as Soviet and especially post-Soviet historiography and the position of Jews within the empire. Meanwhile issues treated somewhat briefly before have been considerably expanded – for example, the section on the “principles of [Russian] nationality policy,” which now also offers new sub-sections on “the cost of empire” (*tsena imperii*) and “the undergovernment of the national periphery” (*nedoupravlenie national’nymi okrainami*), and a more detailed discussion of theories of geographical and demographic determinism in the Russian context. Inclined towards statistics, Mironov grounds much of the authority of his argument on numerical values – measurements of land, population, grain production totals, heads of stock, income, literacy rates, levels of caloric intake, indices of height and weight, and so forth. If anything, this new version of “Sotsial’naia istoriia Rossii” rests still more resolutely on this methodology: Chapter 1 of the first edition of the book included 11 statistical tables, Chapter 1 of “Rossiiskaia imperiia” includes 49¹.

Looking beyond these new additions, however, Mironov’s overall approach to the empire in “Rossiiskaia imperiia” remains largely the same as before. Despite the new title, this book, like the earlier editions, is not a history of the empire as a multiethnic polity or society but rather of the Russians and their institutions and social practices, and the geographic emphasis falls more readily on “Russia proper” than the imperial borderlands. The word “empire” in the title evokes the name of the state rather than a special focus on the relations that made up imperial society. In fact, Mironov argues more explicitly here than before that no such society ever existed. As he puts it, the empire’s various ethnic groups “did not live together as a large united community. The languages they spoke were different, literally and figuratively” (Mironov, 2014: 287).

Moving beyond Chapter 1, one finds scattered references to the diversities of the empire. For example, Mironov notes differences in the rate of out-of-wedlock births among different ethnic and religious groups in Chapter 3; the process of the “nuclearization” of the family in the Baltic provinces in Chapter 4; and statistics on fines levied against workers in various factory districts around the country, including the district of Warsaw, in Chapter 12. Yet these and other interesting remarks on the comparative landscape of the empire generally don’t drive the argument as much as provide color and context. (One exception is a revealing comparison between literacy rates in Russia and the Baltic (Mironov, 2015b: 485–487)). As a rule, Mironov does not take up empire as an analytical framework, even with regards to subjects that might seem to invite an imperial approach. For example, a new chapter on collective mentalities and perceptions (Chapter 12) offers insightful reflections on how imperial-era Russians thought about peasants, the urban lower classes, the intelligentsia, and their own work ethic, but not how they perceived the different ethnic and religious groups around them. (Mironov touches on Russian stereotypes of non-Russians briefly (Mironov, 2014: 164–165)). Likewise, Chapter 13 on the “results of Russian development during the imperial era” as well as the stimulating Conclusion to the book, both of which range across numerous topics, have little to say about imperial themes.

The empire thus serves essentially the same function in “Rossiiskaia imperiia” that it did in the earlier editions of the book: it sets the stage for the story rather than providing the substance of the story itself.

There is nothing necessarily wrong with this approach. All historians make choices about what to cover and what to leave out. The key with every historical work is the integrity of the method and its suitability for addressing the questions being posed. Mironov’s goal, which he described in the earlier editions but expands upon here, is effectively a national one – he wants his book to help in making a more historically informed citizenry. As he sees it, Russians today have a

¹ For more on Mironov’s view of the value of “mathematical methods” in history, see the interesting reflections in his “Istoriia v tsifrakh” (Mironov, 1991), esp. the Foreword and Chapter 1.

dim view of their country's past in large part because generations of Russian and foreign interpreters have stressed the negative, creating an abiding impression of tsarist Russia as "a colossus on feet of clay" rather than "a great state with a glorious history and promising portents for future development" (Mironov, 2014: 11). Thus what the country needs now is "cliotherapy," which Mironov describes as a more balanced historical approach that pays attention to successes as much as shortcomings (Mironov, 2014: 18). As Mironov sees it, historians are the "physicians of society" (*sotsial'nye vrachi*), while the patient is Russian society itself, which needs to be "healed" of its negative thoughts and practices, including its overly negative view of the national past (Mironov, 2014: 18).

One obvious implication of this perspective is that empire *per se* is not the main concern of Mironov's book. The thrust is national history, and therefore we shouldn't expect the work to prioritize an imperial analytic. Another is that, where the book does address imperial themes, it's likely that Mironov will emphasize the positive.

And indeed, the ledger on the empire in "Rossiiskaia imperiia" ends up squarely on the plus side, highlighting far more the empire's stability and practical policies of accommodation and toleration than its injustices or failings. The earlier editions made the same argument, and Mironov notes that his views on this score have only grown stronger since the book first appeared, in part due to his continued reading in the large historiography on empire (Mironov, 2014: 94). It's perhaps not surprising, then, that the new edition stresses the positive all the more firmly. One small but telling indication: The title to the conclusion of Chapter 1 in the first edition is "Long Live Russia's Expanses!" (*Da zdravstvuiut rossiiskie prostory!*), while the title of the same section here is more emphatic: "The Russian Empire – It Made One Proud" (*Rossiiskaia imperiia – eto zvuchalo gordo*) (Mironov, 2014: 269).

The basic gist of Mironov's view, however, is unchanged and comes down to what I see as the same set of four basic claims: (1) The vast size of the Russian state was more a blessing than a hindrance for Russian development; (2) The state's growth over time ultimately did more good than bad for the Russians and especially for the empire's other peoples; (3) despite a "colonial aspect" (*kolonial'noe sostavliaiushchee*) to aspects of Russian expansion (Mironov, 2014: 96), the empire was "never a colonial state (*derzhava*) in the European sense of the word" (Mironov, 2014: 271), by which Mironov seems to mean that it therefore wasn't as exploitative as its European counterparts; and (4) the empire operated as a generally successful political structure for centuries and was never predestined to collapse. In fact, in Mironov's view, while the fateful turn towards "greater integration" that began in the 1860s increased tensions within the state, the threat of collapse did not really surface until World War I, which then changed everything (Mironov, 2014: 278). If the tsarist government had avoided or quickly won the war, or if the Provisional Government had managed to defeat the Bolsheviks, the empire might not have come apart at all.

As I wrote fifteen years ago, Mironov's points are compelling in many ways. There are good reasons to draw attention to the empire's long-term historical stability and the particularities of tsarist rule that made the empire similar yet also different from other empires of its time. The vastness of the empire was stunning and clearly had a critical and overall advantageous impact on the development of the state. Numerous peoples indeed gained in important ways from their incorporation into Russian space, while ethnic Russians, as Mironov correctly points out, were not a "ruling people" who benefitted unambiguously from the imperial structure. And yet, in my view, the first edition of "Sotsial'naia istoriia Rossii" made a number of generalizations that created an overly one-sided picture of the empire's virtues, and this remains the case with "Rossiiskaia imperiia." Long-lasting and diverse states like the Russian Empire are complex forms hard to fit into tight categories of success or failure. Squeezing them into these boxes invariably means leaving things out, but leaving things out, in turn, creates a distorted view.

Rather than repeat the discrete points I made in regards to the first edition of *Sotsial'naia istoriia Rossii*, let me focus here on two general issues that seem special or more emphasized in the latest edition.

(1) Colonization and Colonialism

The term *kolonizatsiia* is a "keyword" of Mironov's treatment of empire in "Rossiiskaia imperiia"¹. It appears in the earlier editions, too, of course, but here it's more prominent, figuring in the title of Chapter 1 ("Kolonizatsiia i ee posledstviia;" the original title was "Territorial'naia

¹ On "keywords" as words laden with special meanings for "understanding culture and society," see (Williams, 1983: 15).

ekspansiia i ee posledstviia”) and serving as an organizing concept for an expanded early section of the chapter focusing on the history of territorial growth and land settlement. What does Mironov mean by the term? The short answer is many things. On the one hand, he uses it in reference to peasant settlement – or resettlement – into new territories – that is the physical movement of people (Mironov, 2014: 94). It’s also the larger process of state and socio-economic incorporation that unfolds along with the arrival of settlers. In that regard, it runs in synch with the term *osvoenie*, which also appears in the chapter (Mironov, 2014: 96). In another usage, Mironov employs *kolonizatsiia* in tandem with *ekspansiia*, since, as he argues (correctly, in my view), state expansion and colonization often unfolded together in the Russian case (Mironov, 2014: 77). Finally, Mironov seems to imply a more specific meaning to the word, suggesting that *kolonizatsiia* refers explicitly to the process of taking over “territories unclaimed by any other state and populated by tribal societies living at a non-agricultural stage [of development.” (*na stadii prisvaivaiushchei ekonomiki*) (Mironov, 2014: 77). In other words, *kolonizatsiia* would be appropriate to use in describing settlement in 17th-century Siberia but not 19th-century Ferghana.

At the same time, other aspects of colonization are left out or underemphasized. Mironov does not address the issue of violence in a systematic way, for example. References to the operations of conquest are also rare, despite the critical importance of conquest in the history of Russian expansion. He notes that the Russians didn’t drive native peoples onto reservations as Europeans and their descendants did in North America and Australia, which is certainly true. But he goes farther to say that “representatives of other ethnicities” settled on “the Russians’ own lands” (*sobstvenno russkie zemli*) no less than the Russians settled on “incorporated lands” (*prisoedinnnye*) (Mironov, 2014: 96) (meaning, presumably, non-Russian lands “incorporated” in the periphery), and that incoming Russians arriving on those lands, as a rule, didn’t displace native populations. As he puts it, “In general, Russians resettled onto unpopulated lands in New Russia, the Southeast, the Northern Caucasus, and Siberia, and very rarely on lands occupied and used by other peoples.” (Mironov, 2014: 97)

To me, these are overstatements that reduce some of the complexity of the empire. I’m not sure which groups Mironov is referring to when he states that other ethnicities settled on Russian lands or which Russian lands in particular he has in mind (he may be making a reference to this: (Mironov, 2014: 273), but it’s not clear). Still, on the face of it, far fewer foreign settlers (Germans, Swiss, Scots, etc.) moved to Russia than Russians moved to the imperial periphery during the imperial era. Chinese migrant laborers did not settle permanently in massive numbers in the Russian Far East. Ukrainians, Jews, and Kabardians did not settle much in central Russia. Conversely, native peoples in Siberia, the Volga region, and the Urals were indeed displaced from areas they had settled or used prior to the Russians’ arrival, often from along the rivers, which served as the principle arteries for Russian expansion. Pressures of Russian as well as non-Russian (Mari, Mordvin, Chuvash, Teptiar, Mishar) settlement helped precipitate revolts in Bashkir territory across the 1700s. The massive Kalmyk exodus of the late 18th century was also influenced by increasing settlement and state incorporation. The lands of New Russia and the Northern Caucasus were not “unpopulated” in an absolute sense. Large areas served as zones of pasturage for nomadic and semi-nomadic groups. As the Russian state expanded into these territories, it oversaw the gradual but steady reduction of land used by native groups in ways that were both different from and strikingly similar to processes elsewhere – the Indiana Territory of the United States, for example, or the British Cape Colony or French Algeria.

At the same time, it’s clear that Mironov is *not* using “colonization” in the uncritical manner of Kliuchevskii and other Russian (metropolitan?) historians of the late imperial era who described Russia’s history as the “history of a country that colonizes itself” and thus effectively elided the complexities of empire from the national narrative.¹ The approach in *Rossiiskaia imperiia* is different: Rather than stepping around or ignoring the problem of empire, Mironov engages it head-on. Yet like Kliuchevskii, he nonetheless appears to regard Russian settlement as a largely natural and non-disruptive process – a function of “relative agrarian overpopulation” in Russian areas, which then leads to the largely benign filling-in of unclaimed and unused lands elsewhere (Mironov, 2014: 107). The process of colonization/settlement/incorporation in the Russian case, in my view, was more complicated and contradictory than this. It was at once hard and soft, brutal and benevolent, driven by rural people (Russians and non-Russians alike) who weren’t thinking at

¹ For more on the way that Kliuchevskii and other late imperial Russian historians interpreted colonization as a motif of national rather than imperial history, see (Sunderland, 2004: 209–212).

all about building the empire as well as state planners who were, and it unfolded in phases and modes that varied considerably over time and place, making the generalizations that Mironov offers about the process here incomplete.

Mironov also leaves things somewhat untidy in his discussion of another thorny issue related to colonization: the question of whether imperial Russia should be seen as a “colonial empire in the European sense of the term.” On the one hand, Mironov makes it clear: no, we shouldn’t see Russia this way. The empire, “in essence” (*v sushnosti*) was not a European colonial state. He critiques late imperial Marxist and Soviet-era scholarship that cast the state in this light as well as contemporary post-Soviet historiography in Uzbekistan and other former republics and autonomous regions that does the same thing (Mironov, 2014: 37, 78–79, 80–83). Yet, at the same time, he nonetheless acknowledges that there was a “colonial aspect” to certain “cases” of Russian expansion and also that, at least “according to a few scholars,” “elements of ‘Western colonialism’ can indeed be observed in regards to [Russian policies in] Siberia, the Caucasus, and Turkestan” (Mironov, 2014: 96, 271, 275).

Unfortunately, Mironov does not define what a “colonial empire” was “in the European sense of the term,” so it is difficult to know exactly what he means when says that Russia wasn’t one, but the implication seems to be that the Russians were not operating a colonial empire because their expansion unfolded differently and they didn’t discriminate against or exploit their colonized peoples in the way that Westerners did. The Russian state expanded out of military-strategic concerns. Economic goals were less important, and the territories they took over were less profitable, even unprofitable (with the exception of Siberia). Indeed, Mironov argues, Russia’s borderlands cost the country much more than they ever brought in (Mironov, 2014: 139–140). Russian colonizers meanwhile were closer to the peoples they conquered and settled around. They did not draw rigid lines between “us” and “them.” Rather than excluding native peoples, they incorporated them into the imperial state.

These generalizations are not wrong, of course, but they are incomplete, in my view. Every one of these broad statements could be qualified in ways that made imperial Russia seem *more* rather than less comparable to Western colonizing states. One example: Mironov states categorically that “the Russian Empire never knew racism” (Mironov, 2014: 130), which would certainly fit with the overall view that Russians did not draw strict lines between “colonizers” and “colonized” and that Russia in general was not “a colonial state in the European sense of the term” since it’s well known that race was a critical organizing principle of modern European empires. Yet to say that the Russian empire never experienced racism is an overstatement that ignores aspects of the history of Russian rule in Central Asia and the Far East where Russians and “natives” (*tuzemtsy*) resided in “new” and “old” Tashkent and “yellows” (*zheltye*) found themselves moved into Chinese “quarters” on the basis of sanitary and criminal prejudices in ways similar to practices that were common in more overtly racist societies like the US, Canada, and Australia (Sorokina, 2001; Rakhmonova, 2010; Sahadeo, 2007).

Mironov ultimately concludes that the tsarist state reflected the attributes of varied empires – European overseas empires, the Chinese (Qing?) and Ottoman empires, the Mongol empire, and others besides – but that Russia combined the features of these states in its own fashion and thus its overall imperial profile was unique (Mironov, 2014: 272). I agree with this. But then again, uniqueness is a quality that one might apply to every empire – everything depends how finely one chooses to define the line between similarity and difference. In my view, Mironov is often too categorical in stressing the positive distinctions of the Russian empire in comparison with other imperial states and colonizing peoples, especially Western colonial states, which leads him to stop short of fleshing out important issues, such as a full discussion of Russian colonialism and of colonialism more generally. His position in this regard seems to echo the tensions implicit in much older qualifications of Russia as being both comparable to the West yet also more considerate. As Nikolai Karamzin put it in the 1820s while referencing Moscow’s expansion into Siberia, Ermak was “the Russian Pizarro” – “no less terrifying to the savages but gentler on humanity” (Karamzin, 1997: 226).

(2) Russians and Non-Russians: Who Did Better By the Empire and Why?

One of the salient claims of *Rossiiskaia imperiia* is that the Russians were not a “ruling people” but rather an “unprivileged national minority” within the empire (Mironov, 2014: 271–272, 264). As Mironov argues, ordinary Russians enjoyed no special privileges and, in fact, were poorer, less literate, less represented in the professions, more likely for longer to bear a greater obligation of military service, more likely to be enserfed, more taxed, and generally burdened with

disproportionate costs in supporting the empire, including the cost of social tensions in the non-Russian borderlands, which boomeranged back to the “metropole” and led to the Russians’ own rising dissatisfaction with the government (Mironov, 2014: 264, 270). Mironov adds that “the non-Russian peoples provided the Russians with a model of disloyalty..., which then encouraged the rise of oppositionist sentiment in the country as a whole and weakened the power of the central authorities” (Mironov, 2014: 270). The non-Russians, rather than the Russians, thus led the way in undermining the imperial state, even though, in his view, ironically, it was precisely the non-Russians (or at least a subset of them) who benefitted from it the most (Mironov, 2014: 279–280).

Indeed, plebeian Russians by the late imperial era lived poorly compared to a number of other ethnic groups according to a variety of indicators, but did they live poorly because those other peoples were favored by the government and they, the Russians, were less favored? Were the Russians exposed to greater pressures because non-Russians were treated more gently? Alternatively, did the non-Russians do better within the empire due to imperial policy or to other factors? Mironov overall seems to answer: Yes, the empire is the cause. Imperial necessities forced the Russians to bear greater burdens and the non-Russians to be granted greater concessions, and though everyone overall, including the Russians, benefitted from the general stability of the empire and the greater aggregate wealth, opportunity, and status that flowed from territorial expansion, the non-Russians came out, according to his reckoning, 15 % better off (Mironov, 2014: 282).

Here, too, in ways similar to his position on colonization, Mironov seems to me to stretch the argument too much. As I see it, these questions of relative cost or benefit can’t be answered so neatly because the effects of life within the empire were too diffuse. The landscape was too uneven and disjointed to be a zero-sum game in which one group’s burden became another’s advantage. Plus, much of what explains the relative wealth or health of one group versus another was only partially the result of government policy. As Mironov correctly points out in his summary to Chapter 1: “The central government functioned at best as the conductor, while the peoples of the empire were the musicians who played the music. The arrangements and orchestration came from the capital, but the music itself did not” (Mironov, 2014: 287).

The position of the Jews in the empire is interesting to consider in this regard. Mironov’s new section on the “Jewish question” asks, effectively, were the Jews as bad off as the traditional historiography would have us believe? Marshalling an array of compelling statistics, his answer, overall, is “no.” Though “the most discriminated against people of the empire,” Russian Jews nonetheless experienced dramatic population increase, preserved their identity and culture, and “achieved noted success in every area of life, while modernizing themselves more than other ethnicities within the state” (Mironov, 2014: 216). What created this outcome? Mironov’s short answer: Both the overall success of Russia’s rapid economic development in the post-reform era and the Jews’ ability to take advantage and overcome many of the obstacles facing them (Mironov, 2014: 217). Thus here, too, the empire provides a milieu for success even as it discriminates.

Mironov is critical of government policy. He regrets that the state did not grant civil rights to the Jews more quickly. If it had done so, the some 2 million Jews who emigrated after the 1880s (most of them to the United States), would probably have remained and continued to prosper, adding to the empire’s development rather than America’s. The government thus made a costly error based on what Mironov correctly points out was unfounded prejudice and fear (Mironov, 2014: 220–21). He also notes that, though the pogrom wave of 1905 was not directed from St. Petersburg, certain local police and government officials nonetheless fanned anti-Jewish violence during the revolutionary turmoil (Mironov, 2014: 178). In other words, Mironov does not dismiss the reality of state prejudice. Yet his treatment of the Jewish question overall, again to me, seems so strongly shaped by the need to see the empire as a glass half-full that it, in turn, leads to distortions.

Thus, Mironov describes anti-Semitism as a Western import (Mironov, 2014: 218), but he doesn’t elaborate on the virulent development of the ideology in Russia. There is no mention of the “Protocols of the Elders of Zion” here, for example, no Beilis Case, though the outcome of the trial would have otherwise fit with aspects of his argument. We read of members of Russian *obshchestvennost’* rising to the defense of Jews (Mironov, 2014: 216–217). He cites a passage from the conservative writer Nikolai Leskov denouncing anti-Jewish prejudice (Mironov, 2014: 220). Yet we don’t find a passage espousing anti-Semitism by other conservatives, like, say, Vasilii Shul’gin, which, together with Mironov’s quotes showing Russian support for Jews, would have offered a fuller sense of context.

Finally, Mironov argues that it would be “incorrect and hardly just” to describe state policy toward the Jews as anti-Semitic, characterizing it instead as “inconsistent, meandering, and multivalent.” (*neposledovatel’naia, izvilistaia i mnogoznachnaia*) (Mironov, 2014: 217). In other words, Jewish policy was complex, much like Russian “nationality policy” in general. But for all this, isn’t it still appropriate to describe state policy toward the Jews as anti-Semitic? Anti-Semitism was a big tent during the late tsarist years. As an elastic prejudice, it evolved and diversified over time, developing numerous offshoots and insinuating itself into a wide range of social positions, in ways similar to other forms of intolerance. White attitudes and state policies toward blacks in the US during the Reconstruction era, for example, North and South, encompassed a spectrum of views and measures, some more tolerant than others, but they were all racist in that they were informed by racial stereotypes and prejudices. Describing the late tsarist state’s approach to the Jews as anti-Semitic is not controversial, in my view. The label is a complicated one, but it’s not incorrect or unjust to use it.

In sum, “Rossiiskaia imperiia” offers a compelling portrait of the tsarist order as a complex multinational state. Mironov’s basic argument – that we should appreciate the Russian empire as a successful enterprise – is consistent with previous editions of the book, though he has added much new empirical material and the emphasis he brings to discrete points is also different. If I had to describe the work with a single adjective, I’d call it a “Mironovian,” by which I mean bold, wide-ranging, massive in scale and evidence, passionate, and creatively unconventional in the way it combines statistical and narrative evidence as well as historical argument and social commentary. This is also a fitting description of Chapter 1, which focuses most directly on Russia’s profile as an imperial state. This massive chapter represents just one part of the book (in fact, a small part – only about 13 % of the total measured by pages), but it’s no less remarkable for that.

At the same time, it seems to me that part of what makes Mironov’s book unconventional – namely, his forthright decision to bare his “individual ‘I’” and make plain his goal to offer his fellow Russians a more positive view of the national past – leads him into generalizations that are more one-sided than they should be. “Rossiiskaia imperiia,” more still than the previous editions of *Sotsial’naia istorii Rossii*, is a book committed to making a public case – a case for seeing Russia as a country to cherish and believe in. For Mironov, as a historian, the way citizens conceive their national past is critical to this process. If they can look back and see success behind them, it then becomes easier for them to imagine success ahead of them as well. As he noted in a forum devoted to his book on anthropometrics a few years ago, “A successful past is a down payment on a successful future” (*Uspeshnoe proshloe – zalog uspeshnogo budushchego*) (Mironov, 2013: 103). Thus his insistence in “Rossiiskaia imperiia” in seeing tsarist Russian past as a glass half-full, perhaps three-quarters.

Mironov’s book is far from a superficial glorification of the Russian experience. The work is full of scholarly complexity, contradiction, and nuance. It engages with difficult issues and invites constructive disagreement. But there is also no denying that Mironov tends to round up rather than round down when making generalizations about the tsarist experience, including the aspirations, practices, and consequences of Russian imperial rule. One virtue of his book, in my view, is that it does this in an open and thought-provoking way.

In a compelling metaphor in the first section of Chapter 1, Mironov describes the empire as “neither a prison house of peoples nor a house of friendship but rather... a dormitory with a headman in charge.” Life in the dorm was often contentious, and the headman was only human – he liked some of the dorm residents better than others. But overall, his intentions were good, and he did the best he could to treat everyone the same. Only at the very end, under challenging circumstances and with most of the residents better off than when they’d moved in, did some of them set about trying to leave or carve up the building (Mironov, 2014: 92–93).

Much of the reaction to Mironov’s approach to the empire, I suspect, will come down to how one responds to this image and perhaps how one feels about dorm life in general. If you remember your dormitory experience fondly and you felt the people in charge treated you fairly, the model will resonate. If your dorm wasn’t so good for you, the image may appear much too rosy. Either way, though, it will make you think.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00119).

References

- Karamzin, 1997** – *Karamzin N.M.* Istoriya gosudarstva Rossiiskogo [The history of the Russian State]: 12 t. T. 9, bk. 3. Moscow: Nauka, 1997. 592 p. [in Russian].
- Mironov, 1991** – *Mironov B.N.* Istoriya v tsifrakh: Matematika v istoricheskikh issledovaniyakh [The history in numbers: Mathematics in historical research]. Leningrad: Nauka, 1991. 167 p. [in Russian].
- Mironov, 1999** – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticeskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].
- Mironov, 2000a** – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticeskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 2nd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].
- Mironov, 2000b** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.
- Mironov, 2000c** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.
- Mironov, 2001** – *Mironov, Boris.* Response to Willard Sunderland's 'Empire in Boris Mironov's Sotsial'naia istoriia Rossii // Slavic Review. 2001. Vol. 60, nr 3, pp. 579–583.
- Mironov, 2003** – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticeskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 3rd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].
- Mironov, 2010** – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. Moscow: Novyi Khronograf, 2010. 848 p. [in Russian].
- Mironov, 2012a** – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].
- Mironov, 2012b** – *Mironov, Boris.* The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.
- Mironov, 2013** – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Navy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].
- Mironov, 2014** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- Mironov, 2015a** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- Mironov, 2015b** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- Rakhmonova, 2010** – *Rakhmonova M.K.* Fenomen chainatauna [The phenomenon of Chinatown: dynamics of functions] // Migratsii i diaspory v sotsiokul'turnom, politicheskom i ekonomicheskom prostranstve Sibiri: rubezhi XIX–XX i XX–XXI vekov [Migration and diaspora in the socio-cultural, political and economic space of Siberia: milestones of 19–20th and 20–21st centuries] / V.I. Dyatlov (red.). Irkutsk: Ottisk, 2010, pp. 440–448 [in Russian].
- Sahadeo, 2007** – *Sahadeo J.* Russian Colonial Society in Tashkent, 1865–1923. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2007, pp. 22–56.
- Sorokina, 2001** – *Sorokina T.N.* Kitaiskie kvartaly dal'nevostochnykh gorodov (kon. XIX – nach. XX v.) [Chinatowns far of Eastern cities (the end of 19th – early 20th centuries)] // Diaspora. 2001. Nr 2/3, pp. 54–73 [in Russian].

Sunderland, 2001 – *Sunderland W.* Empire in Boris Mironov's "Sotsial'naia istoriia Rossii" // *Slavic Review*. 2001. Vol. 60, nr 3, pp. 571–578.

Sunderland, 2004 – *Sunderland W.* Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. 239 p.

Williams, 1983 – *Williams R.* Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Rev. ed. New York: Oxford University Press, 1983. 341 p.

УДК 94(47)

Стакан, наполненный наполовину, возможно, на три четверти: имперские вопросы в «Российской империи...» Бориса Миронова

У. Сандерленд^{а, *}

^а Университет Цинциннати, США

Аннотация. «Российская империя» – замечательное достижение науки – амбициозное, эрудированное, ослепляющее богатством использованных источников и количеством рассмотренных проблем. Это уникальное и громадное по объему произведение, изобилующее таким большим числом выводов и столь значительной информацией, что порой затруднительно определить в своей оценке и выразить свое мнение одним словом. Книга представляет собой необычное сочетание глубокого эмпирического исследования социальной жизни России в имперскую эпоху и эссе на разнообразные темы, которые временами перемежаются с анализом. Замечания дискуссанта концентрируются на имперских вопросах.

Концепция Миронова заслуживает одобрения во многих отношениях. Как он правильно указывает, следует учесть и положительно оценить долгосрочную историческую стабильность Российской империи и принципы этноконфессиональной политики правительства, превратившие ее в своеобразную конструкцию, в одних отношениях подобную другим империям, в других – от них отличавшуюся. Ошеломляющая необъятность империи на самом деле оказала принципиальное и позитивное влияние на развитие государства. Многочисленные народы империи действительно извлекли пользу из их присоединения к российскому пространству, в то время как этнические русские не были «господствующим народом», получающим наибольшую выгоду от имперской структуры. И все же картина, рисуемая Мироновым, представляется критику несколько односторонней, так как преувеличивает достоинства империи. Долгую, сложную, противоречивую историю различных народов в империи «трудно вписать в категории успеха или провала». А если это сделать, то неизбежны пропуски, которые могут создать искаженное представление об империи. Книга далека от поверхностного прославления российского опыта – это вполне академическое произведение, рассматривающее империю во всей ее сложности, противоречивости и разнообразии. Однако Б.Н. Миронов, анализируя имперский опыт, склонен обобщать его скорее в положительном, чем негативном ключе, – «он округляет в сторону увеличения, а не в сторону уменьшения. Российская империя в его изображении напоминает автору стакан, наполненный наполовину, возможно, даже на три четверти.

Ключевые слова: Российская империя; колонизация и колониализм; экспансия; этноконфессиональные отношения; национальная политика; клиотерапия; социальная история; модернизация; антисемитизм; расизм.

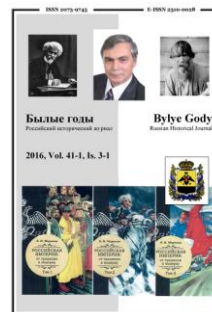
* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: sunderwd@ucmail.uc.edu (У. Сандерленд)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 965-972, 2016
Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

Russian Imperial Principles and Technologies of the Management of Ethno-Confessional Diversity and of the Integration of Traditional Socio-Cultural Systems

Igor I. Verniaev^{a, b, *}

^a Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

^b Saint Petersburg State University, Russian Federation

Abstract

This article discusses the new monograph by Boris Mironov, “The Russian Empire: From Tradition to Modernity,” which is devoted to the social history of Russia in the imperial period. One of its main characteristics is its fundamental interdisciplinarity and the use of various research methods and strategies. Mironov synthesizes the approaches of social, economic, political and visual history, social anthropology, historical demography, sociology, political science and psychology. I.I. Verniaev, an ethnographer by profession, views this book through the eyes of an ethnographer and analyzes it from the perspective of social anthropology. In his opinion, Mironov succeeded in deeply analyzing the principles and technologies of management of ethnic and confessional diversity and the transformation of traditional socio-cultural institutions. The article discusses how Mironov identifies and analyzes such imperial principles and technologies of management of ethno-confessional diversity, modernization, and integration of socio-cultural systems as maintaining the status quo, the relative autonomy of ethnic groups in the early stages of incorporation of the national borderlands, ethnic and religious tolerance, the use of intermediate symbiotic (neo-traditional, in terms of ethnography) institutions, confessionalization, the predominance of social rather than ethnic assimilation, legitimation and the ennoblement of national elites, their inclusion in the system of governance of the empire, the extension and adaptation of the estate system to include new groups of the population from the national borderlands, the confessionalization of religions, and the empowerment of the clergy through rights and responsibilities in the administrative system. These processes are interpreted in terms of models of traditional societies and cultures developed in modern ethnography, and the manner of their modernization and incorporation into modern society.

Keywords: Russian Empire; modernization; ethno-religious politics; imperial integration; traditional socio-cultural systems; interdisciplinarity; colonization; multi-conception approach; social assimilation; Imperial ethno-paternalism.

This research was supported by grant N 15-18-00119 from Russian Science Foundation.

Одной из основных характеристик обсуждаемой книги является ее принципиальная междисциплинарность и использование разнообразных исследовательских стратегий. Автор синтезирует подходы социальной, экономической, политической, визуальной истории, социальной антропологии/этнографии, исторической демографии, социологии,

* Corresponding author

E-mail addresses: i.verniaev@spbu.ru (I.I. Verniaev)

политологии и психологии (Миронов, 2014: 11–13). Преодоление дисциплинарных границ, множественность подходов, методов и проекций позволило исследователю создать масштабную, многомерную, динамическую модель истории Российской империи, ее движения «от традиции к модерну» в демографическом, экономическом, социальном, правовом, культурном и ментально-психологическом аспектах.

Являясь представителем этнографической науки, я читал эту книгу, конечно, в большей мере «глазами этнографа». Пути и типология трансформации традиционных социумов и культур, их интеграция в современные (в широком смысле) общественные и государственные (в том числе имперские) системы, способы управления этноконфессиональным разнообразием являются важнейшими тематиками социальной антропологии/этнографии второй половины XX – начала XXI в. В рамках данной группы проблем обсуждаемая монография известного историка является ценным источником первичных данных, их глубокого аналитического осмысления и обобщающих моделей.

Интеграция этноконфессиональных групп в государственном целом, включение в «большое общество» и модернизация традиционных социумов с их спецификой в хозяйстве, праве, социальных структурах всегда и для всех стран далеко не тривиальная задача. Пути модернизации традиционных обществ и культур сопровождаются нередко опасностями дезинтеграции, разрушения одного типа социальной «ткани», хозяйственных и культурно-бытовых моделей без создания другого. Изучение исторических вариантов успешных и неуспешных трансформаций традиционных обществ, перехода к современным экономическим, социальным и политическим институтам, симбиоза традиционных и современных структур является актуальной задачей как с точки зрения науки, так и практической политики. Российский исторический опыт в этом отношении особенно объемный и разнообразный. В имперский период истории России как исключительно разнообразной в этноконфессиональном плане страны решались сложные многоаспектные задачи интеграции и модернизации даже не одного типа традиционного общества и культуры, а множества различных по своим базовым характеристикам типов.

Одну из ключевых тем обсуждаемой книги можно обозначить как исследование принципов, а также своего рода «технологий» управления этноконфессиональным разнообразием, имперской интеграции и модернизации традиционных обществ и «национальных окраин». Автор выделяет три группы долговременных принципов имперской политики в этой сфере: 1) сохранение статус-кво, использование косвенного, непрямого управления, предоставление широкой автономии присоединяемым территориям и проживающим там этническим группам, в особенности на первых этапах интеграции; 2) включение национальных элит в систему управления империи, сотрудничество с ними имперского центра, преобладание социальной ассимиляции над собственно этнической, важность прежде всего политической лояльности интегрируемых обществ и их лидеров; 3) этническая и конфессиональная толерантность, отсутствие по большей части правовой дискриминации по национальному или конфессиональному признаку. В целом эти принципы автор определяет как парадигму «имперского этнопатернализма» (Миронов, 2014: 115–144).

Этот тип «национальной политики», политики управления этноконфессиональным разнообразием определялся, как показал Б.Н. Миронов, в значительной степени объективными факторами. Стремительно расширяясь, империя на протяжении многих десятилетий находилась в состоянии «недоуправления национальными окраинами», которое обуславливалось в свою очередь дефицитом ресурсов, недостаточным развитием транспортно-коммуникационной и иной инфраструктуры, недостатком кадрового обеспечения управленческой сферы. Не обладая достаточными ресурсами и инфраструктурой, имперский центр, даже если в стратегическом плане и стремился к этому, не имел возможности быстро, в рамках единой модели интегрировать и унифицировать разнообразные присоединяемые территории, этнические группы, их социокультурные и правовые системы (Миронов, 2014: 144–152). Поэтому имперская политика была достаточно гибкой, прагматичной, приспособляющейся и учитывающей специфику сложившихся хозяйственных моделей, социальных структур, правовых норм и культуры присоединяемых народов, опирающейся нередко на местные властные иерархии и их мобилизационные возможности. Кроме того, это была по сути не одна, а множество политик, порой существенно различающихся по отношению к различным регионам и этноконфессиональным средам. При этом, конечно, выработанные технологии интеграции и модернизации могли

заимствоваться из одного региона, одной окраины в другую, становиться модельными и тиражироваться.

Конкретизируя принципы и подходы имперской этноконфессиональной политики, можно выделить ряд своего рода имперских управленческих «технологий», позволявших осуществлять как «сборку» имперского пространства, так и постепенную, достаточно гибкую и непрямолинейную интеграцию регионов и этнических групп.

Так, Б.Н. Миронов вводит понятие «промежуточных, компромиссных институтов», пишет о «симбиозах старых и новых институтов» (Миронов, 2015b: 635, 639, 659, 721, 732). Часть такого рода промежуточных «компромиссных институтов» на языке этнографической науки можно было бы обозначить также как «неотрадиционные». Конструирование на базе эндогенных социокультурных, правовых и потестарных систем своего рода «неотрадиционных институтов» обеспечивало относительную стабильность в реализации процессов имперской интеграции, формировало преемственность и тем самым предотвращало разрушительную деструкцию социальной ткани в процессах интеграции и модернизации. В ходе неотрадиционного конструирования эндогенные практики и институты обобщались, сокращалась их излишняя вариативность, уровень социокультурного и правового разнообразия, происходила их адаптация и встраивание в систему государственного управления. Имперские администраторы при активном участии местных элит, на основе взаимодействия и компромисса формировали своего рода обобщенную модель региональных институтов управления, права, значимых социальных и конфессиональных институтов и практик, легитимизировали и тиражировали эту симбиотическую модель в рамках интегрируемого региона. Тем самым ресурсы, потенциал, возможности мобилизации и самоуправления территориально-общинных, региональных, родоплеменных и этнических систем инкорпорировались в имперское целое.

Яркий пример конструирования такого рода неотрадиционных, «промежуточных» институтов – разработанный М.М. Сперанским и его сотрудниками «Устав об управлении инородцев» 1822 г. и его последующая реализация. Известно, что модель Устава создавалась в ходе изучения аборигенных обществ, тесного взаимодействия между разработчиками и отдельными группами местного населения (прежде всего Байкальской Сибири), их элитами, в процессе самой управленческой практики, решения конкретных проблем и задач. Как известно, для обществ традиционного типа характерны как высокая степень локальной вариативности, так и сосуществование альтернативных институтов и практик в рамках одних и тех же групп. Наблюдения над технологиями управления показывают, что в ходе конструирования неотрадиционной реальности имперскими властями нередко из разных вариантов эндогенных институтов и практик выбирались наиболее предпочтительные, отсекались нежелательные и считающиеся «нецивилизованными», а выбранные варианты легитимизировались, обобщались и становились обязательными. «Устав об управлении инородцев», создавая «промежуточные институты» (к числу таких институтов можно отнести, например, степные думы сибирских «кочевых инородцев» как базовые институты самоуправления, созданные на основе территориально-племенных сообществ, обобщенные и кодифицированные нормы обычного права, систему наследования должностей в местном инородческом управлении и др.), решал двоякую задачу: с одной стороны, сохранить существующие социокультурные институты и тем самым избежать дезинтеграции местных сообществ, с другой стороны, создать механизмы интеграции в имперское управленческое, правовое и культурное пространство. Региональные системы «инородческого», «военно-народного» управления, низовых структур самоуправления и других достаточно успешно, эффективно, но при этом без форсирования, излишних перегрузок и разрывов преемственности справлялись с интеграционными задачами.

Процессы интеграции в имперское пространство запускали также процессы формирования своего рода обобщенных, над-локальных форм этнических/национальных культур и соответствующей идентичности. Автор обсуждаемой монографии приводит пример так называемого «якутского культурного классицизма» конца XVIII–XIX в., который стал результатом обобщения, интеграции в имперском контексте локальных вариантов традиционной культуры, формирования комплекса наиболее ярких этнокультурных черт якутского народа (Миронов, 2014: 119). Империя, реализуя в регионах совместно с сообществами и их элитами интеграционные стратегии, создавая широкую сцену для взаимодействия между различными группами населения, была своего рода лабораторией надлокальных национальных культур и идентичности.

К числу обсуждаемых «промежуточных институтов» относятся и общинные институты русского населения, анализу функционирования и трансформации которых уделено значительное место в обсуждаемой книге. Община сочетала в себе черты института традиционного типа и базовой единицы государственного управления, механизма связи, с одной стороны, локального сообщества, с другой – общества и государства в целом. В этом смысле русскую общину имперского периода также можно определить как неотрадиционный институт. Один из ключевых общинных элементов – созданный государством в рамках Великих реформ на базе крестьянских судебных практик и легитимизированного обычного права волостной суд – стал одновременно важным механизмом модернизации и интеграции крестьянского судопроизводства в общегражданскую правовую систему (Миронов, 2015b: 108–109). Анализируя аграрную реформу начала XX в., Б.Н. Миронов пришел к выводу, что ее успех определялся во многом тем, что реформирование общинных институтов шло «в несколько приемов, постепенно (например, общинная собственность трансформировалась сначала в личную, а потом в частную; земельные переделы не отменялись сразу, а ограничивались по срокам, круговая ответственность заменялась личной и т. п.) посредством *последовательных промежуточных институтов*». Эта стратегия, по мнению исследователя, сочетала «преимущества “выращивания” и “конструирования” новых институтов», предоставляя при этом возможность «управления темпом институционального строительства» (Миронов, 2015a: 243). Тем самым пошаговая управленческая технология «промежуточных институтов» работала и при решении задач модернизации традиционных (и неотрадиционных) институтов.

Рассматривая с точки зрения этнографа опыт Российской империи в ходе модернизации традиционных структур, следует заметить, что современная этнография отказалась от излишне холистских взглядов на общества традиционного типа. Холистский взгляд подразумевает, что все подсистемы традиционного общества, как то: хозяйственная модель, социальные структуры, обычно-правовые нормы, духовная культура и др. – жестко взаимосвязаны, однозначным образом коррелируют друг с другом, прямолинейно соответствуют друг другу. Исследования процессов модернизации традиционных обществ, их интеграции в современные экономические и социально-политические системы показали, что, например, многие традиционалистские институты (родоплеменные, территориально-общинные, патрон-клиентские, кастовые и др.) могут вполне сочетаться с активной и успешной адаптацией обществ с такими социальными структурами в современной индустриальной и постиндустриальной экономике, политическом процессе. То же касается и традиционной духовной культуры, традиционалистских ментальных установок, которые нередко сочетаются с эффективным участием в современных экономических, социальных и политических процессах и институтах (Tax, 1941; Malinowski, 1960; Мердок, 2003: 221–222; Эриксен, 2014: 28–30).

Соответственно реформаторам нет необходимости осуществлять своего рода тотальную трансформацию всех подсистем общества традиционного типа, одновременно и в исторически короткие сроки. Такого рода тотальные трансформации, как показывает опыт и российского государства, и других стран, нередко приводят к социальной деструкции. Наличие устойчивых социальных структур традиционного типа не означает автоматически, что общество при их сохранении будет невосприимчиво к технологическим и экономическим трансформациям. Успех нередко ждал те государства и тех реформаторов, которые умели актуализировать, задействовать потенциал устойчивых традиционных социальных структур и мобилизационные возможности традиционных элит в своих модернизационных проектах. На мой взгляд, порой излишне тотальный, холистский подход к реформам, процессам модернизации и унификации национальных регионов России в последние десятилетия XIX – начале XX в. привел в итоге к возникновению дезинтеграционных тенденций в некоторых из них. Не было необходимости в одновременной трансформации всех подсистем симбиотической институциональной системы, сложившейся в регионах (скажем, не было необходимости в Байкальской Сибири одновременно проводить землеустроительную реформу, существенно изменявшую хозяйственную модель, административную реформу, ликвидировавшую созданные по Уставу 1822 г. институты самоуправления с их устоявшимися элитами, языковую русификацию, и все это – на фоне усиления миссии по христианизации). Прделанный Б.Н. Мироновым всесторонний анализ российских имперских технологий интеграции и

модернизации обществ и институтов традиционного типа, процессов их успешного и неуспешного реформирования открывает широкие возможности для проведения межстрановых и межрегиональных сравнительных исследований.

Часть подраздела обсуждаемой монографии по колонизации и национальной политике посвящена теориям фронта, возможностям применения фронтальной модели к истории расширения Российской империи, анализу практик управления национальными окраинами (Миронов, 2014: 108–113). Фронт, фронтальное состояние можно, кроме прочего, рассматривать и как своего рода имперскую технологию интеграции. Для фронтальных состояний была характерна проницаемость границ, гибридные, симбиотические социальные формы, множественность правовых норм, преобладание обычного права, слабость административного контроля, недоуправление, интенсивные обмены, в том числе брачные, симбиозы обменные, торговые, хозяйственные, взаимная аккультурация, отсутствие четко определенных этнических «фронт», формирование смешанных, этнически гетерогенных сообществ в зоне фронта. Это фронтальное состояние благодаря формируемым популяционным, культурным, правовым симбиозам являлось своего рода пред-интеграционной подготовкой, необходимой стадией для последующих, более глубоких процессов административно-управленческой, правовой, инфраструктурой интеграции региона.

Важной технологией управления этноконфессиональным разнообразием, имперской интеграции стали процессы конфессионализации, легитимации существующих в империи религий и религиозных сообществ, включение их в систему государственного управления. Такими признанными религиями были по большей части вероисповедания достаточно крупных этнических групп Российской империи. Признание вероисповедания означало фактически и наделение определенной правовой субъектностью этнических групп. Вероисповедное и этническое в системе имперских категорий было тесно взаимосвязано. Как отмечает Б.Н. Миронов, «конфессиональная толерантность имела принципиальное значение, поскольку империя вплоть до начала XX в. оставалась или, по крайней мере, сохраняла ряд фундаментальных характеристик “конфессиональной империи”, где “привязка” подданного к той или иной конфессии выступала одним из средств социального контроля» (Миронов, 2014: 106–107, 130–132). Конфессионализация подразумевала признание религий и соответствующих религиозных сообществ коллективных субъектов, конфессиональных корпораций, формирование государственной правовой базы их функционирования, покровительство им, защиту, признание особого статуса, прав и привилегий духовных лиц. Вместе с этим конфессионализация включала правовую регламентацию организационного устройства, социальных и религиозных практик церковного сообщества, административный надзор и управление со стороны соответствующих государственных ведомств, наделение духовных лиц обязанностями, включая передачу исполнения части собственно государственных функций, функций метрического учета, социального, морального, административного контроля над паствой, обеспечения связей между паствой и государственными структурами, формирование у верующих представлений о легитимности имперской власти (см., например, «Уставы духовных дел иностранных исповеданий» Свода законов Российской империи). Создание и/или признание управленческой вертикали признанных вероисповеданий и их инкорпорация в имперские структуры управления означали одновременно и постановку под государственный контроль трансграничных связей соответствующей конфессий, предотвращение альтернативной мобилизации части российского населения вокруг зарубежных конфессионально-политических центров.

Важной особенностью российского опыта управления этноконфессиональным разнообразием, механизмом имперской интеграции стала практика создания некоторых преимуществ этническим группам национальных регионов страны, предоставление особого правового статуса «иногородческому» населению, обеспечения их рядом льгот и привилегий. В монографии на конкретных примерах и в целом показаны механизмы обеспечения этих преимуществ – налоговые преференции, широкие права в сфере самоуправления, институционализация местных институтов, вложения в инфраструктуру. Автор констатирует: «Опасение сепаратизма вынуждало центральное правительство поддерживать это ненормальное для истинно колониальной державы положение, даже когда государственные расходы в национальных окраинах превосходили доходы» (Миронов, 2014: 148). Подобного рода политика объяснялась во многом объективными факторами – уже

упомянутым недоуправлением, дефицитом всех видов ресурсов: «...до середины XIX в. держать окраины в узде жесткими методами не представлялось возможным; их можно было сохранить в составе империи только с помощью льгот, преференций, опираясь на местные элиты. Именно это правительство и делало» (Миронов, 2014: 148). Но даже в конце XIX – начале XX в. при проведении политики административной и правовой унификации полного отказа от политики этнопатернализма, преференций национальным окраинам не произошло (Миронов, 2014: 140, 162, 193–194). В связи с этой политикой «имперского этнопатернализма» в исследовании подробно разбирается вопрос о «цене империи». На примере Туркестана в монографии предложена методика расчета «цены империи» – соотношения, с одной стороны, стоимости регионального управления, обеспечения безопасности, вложений, преференций и, с другой стороны, доходов, получаемых от национальной окраины (Миронов, 2014: 139–144).

Еще одной важной чертой имперской «инженерии», исследованной Б.Н. Мироновым, было преобладание в процессе имперской интеграции социальной, а не этнической ассимиляции (Миронов, 2014: 127). Можно сказать, что эта социальная технология заключалась в распространении общероссийской сословной матрицы на вновь присоединяемые национальные территории. При этом можно обратить внимание, что в ходе этой ассимиляции и сама сословная матрица приспособлялась к существующему разнообразию, как бы «вбирая» его в себя. В результате в рамках общероссийских сословий формировались своего рода субсословные категории (как, например, «кочевые инородцы», приравненные к государственным крестьянам, но по ряду аспектов правового статуса и особенностей системы управления имеющие свои особенности). В монографии на материалах переписи 1897 г. проанализировано распределение российских этнических групп по сословиям на конец XIX в. Особенно важным было проведение принципа «социальной ассимиляции» в отношении национальных элит. Их лояльность обеспечивалась во многом сохранением, а нередко и усилением привилегированного статуса, уже в новом для них, имперском пространстве. Приводя общие статистические данные и анализируя отдельные национальные регионы, автор делает вывод, что «национальные элиты не лишались своего привилегированного положения, а, как правило, инкорпорировались (хотя не сразу и не полностью) в состав привилегированных российских сословий» (Миронов, 2014: 122–127).

В результате в Российской империи по мере инкорпорации новых территорий постепенно складывалась полиэтноконфессиональная по своему происхождению имперская элита. Сама по себе принадлежность к той или иной религии и национальности не создавали социальных барьеров, не были препятствием для социальной интеграции, в том числе для продвижения в различные управленческие, элитарные и профессиональные группы. «Этнические критерии хотя и принимались во внимание, но, по существу не мешали продвижению по социальной лестнице. Благодаря этому между социальным статусом и национальностью отсутствовала связь, а политическая, военная, культурная и научная элита России были многонациональными, включавшими протестантов – немцев и финнов, татар-мусульман, католиков-поляков и представителей многочисленных нерусских народов... Вплоть до 1917 г. лояльность трону, профессионализм и знатное происхождение ценились гораздо выше, чем этническая или конфессиональная принадлежность». Как показывает исследователь, как раз в тех регионах, где подобное признание этноконфессиональных элит и их инкорпорация в российские правящие слои не были проведены достаточно последовательно, впоследствии возникли особые проблемы с лояльностью местных этнических сообществ и их лидеров по отношению к имперскому центру, проблемы в области общей региональной стабильности и безопасности (Миронов, 2014: 129).

Подводя итог чтению «глазами этнографа» новой фундаментальной монографии Б.Н. Миронова, следует выразить уверенность, что эта книга с учетом ее принципиальной полидисциплинарности, уникального богатства проблематики и подходов, новизной многих исследовательских моделей и результатов станет на долгие годы для всей социально-гуманитарной научной среды важным «социальным институтом» – широким пространством коммуникации, споров и обсуждений (Миронов, 2013), выдвижения гипотез и формирования новых интерпретаций российской истории имперского периода, сложного пути от «традиции к модерну».

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00119).

Литература

- [Мердок, 2003](#) – Мердок Дж.П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. 608 с.
- [Миронов, 2013](#) – Миронов Б.Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.
- [Миронов, 2014](#) – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.
- [Миронов, 2015a](#) – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.
- [Миронов, 2015b](#) – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- [Эриксен, 2014](#) – Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М.: Высшая школа экономики, 2014. 160 с.
- [Malinovski, 1960](#) – Malinovski B. A Scientific Theory of Culture and Other Essays. New York: Oxford University Press, 1960. 228 p.
- [Tax, 1941](#) – Tax S. World View and Social Relations in Guatemala // American Anthropologist. 1941. XLIII, Nr 1 (new ser.). January – March. P. 27–42.

References

- [Eriksen, 2014](#) – Eriksen T.Kh. Chto takoe antropologiya? [What is Anthropology?]. Moscow: Higher School of Economics, 2014. 160 p. [in Russian].
- [Malinovski, 2005](#) – Malinovski B. A Scientific Theory of Culture and Other Essays. New York: Oxford University Press, 1960. 228 p.
- [Merdok, 2003](#) – Merdok Dzh.P. Sotsial'naya struktura [Merdock G.P. Social Structure]. Moscow: OGI, 2003. 608 p. [in Russian].
- [Mironov, 2013](#) – Mironov B.N. Strasti po revolyutsii: Nravyy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].
- [Mironov, 2014](#) – Mironov B.N. Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- [Mironov, 2015a](#) – Mironov B.N. Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- [Mironov, 2015b](#) – Mironov B.N. Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- [Tax, 1941](#) – Tax S. World View and Social Relations in Guatemala // American Anthropologist. 1941. XLIII, Nr 1 (new ser.). January – March, pp. 27–42.

УДК 94(47)

Российские имперские принципы и технологии управления этноконфессиональным разнообразием и интеграции традиционных социокультурных систем

Игорь Иванович Верняев ^{a, b, *}

^a Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Российская Федерация

^b Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: vigoriv@mail.ru (И.И. Верняев)

Аннотация. Статья посвящена обсуждению новой монографии Б.Н. Миронова по социальной истории России имперского периода «Российская империя: от традиции к модерну». Одной из основных характеристик книги является ее принципиальная междисциплинарность и использование разнообразных исследовательских методик и стратегий. Автор обсуждаемой монографии синтезирует подходы социальной, экономической, политической, визуальной истории, социальной антропологии/этнографии, исторической демографии, социологии, политологии и психологии. Автор статьи, этнограф по специальности, читал эту книгу с точки социальной антропологии/этнографии, «глазами этнографа». В статье показано, что Б.Н. Миронову удалось глубоко проанализировать принципы и технологии управления этноконфессиональным разнообразием и трансформацией традиционных социокультурных институтов. В статье обсуждается, как автор исследования выявляет и анализирует такие имперские принципы и технологии управления этноконфессиональным разнообразием, модернизации и интеграции социокультурных систем, как сохранение статус-кво, относительной автономии этнических групп на первых стадиях инкорпорации национальных окраин, этническая и конфессиональная толерантность, использование промежуточных симбиотических (неотрадиционных, на языке этнографии) институтов, конфессионализация, преобладание социальной ассимиляции над этнической ассимиляцией, легитимация и нобилитация национальных элит, включение их в систему управления империи, расширение и адаптация сословной системы для включения в нее новых групп населения национальных окраин, конфессионализация религий, наделение духовенства правами и обязанностями в административной системе. В статье эти процессы интерпретируются с точки зрения разработанных в современной этнографии моделей традиционных обществ и культур, способов их модернизации и инкорпорации в современное общество.

Ключевые слова: Российская империя; традиционное общество и культура; модернизация; этноконфессиональная политика; имперская интеграция; междисциплинарность; колонизация; поликонцептуальный подход; социальная ассимиляция; имперский этнопатернализм.

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.

ISSN: 2073-9745

E-ISSN: 2310-0028

Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 973-980, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>

UDC 94(47)

Historical Psychology in Boris Mironov's "Russian Empire"

Vladimir A. Shkuratov^{a, *}^a South Federal University, Russian Federation

Abstract

According to Vladimir Shkuratov, the contradictions in the development of historical psychology are associated with the fundamental methodological difference between the two modern disciplines of the humanities and social sciences: the historian works with the documents of the past, psychologists with instrumental and test data on living people. Combining the two cognitive systems into a sustainable system of scientific research has so far been unsuccessful. This explains Mironov's appeal in the book "Russian Empire" to the sociological classic of the second half of the 19th to the early 20th century – Durkheim's doctrine of collective representations. The latter is supplemented by the customary dichotomy of "primitive mentality"/"rational mentality" in the wording of L. Levy-Bruhl. Shkuratov notes that, in parallel with the initial thesis that the collective representations of peasants in the 18th to the first half of the 19th centuries conformed to the Christian ideal, an antithesis was formed about the mythological type of consciousness of rural and urban folk. "Mythologiques," according to L. Levy-Bruhl and C. Levi-Strauss, belong to primitive peoples, while Christianity is part of the genealogy of European rationality. Because of this, Shkuratov proposes a separation of traditionalism from the archaic and a consideration of the Russian mentality in the relationship of three or more socio-cultural orders. Evaluating Mironov's monograph as a whole, Shkuratov believes that the enormous historical and empirical material of the book confirms the idea of the forward movement of the economy, public administration, social structure, wealth, and Russian culture from the beginning of the 18th century to 1917.

Keywords: Russian Empire; modernization; Russian culture; collective representations; historical psychology; mythological consciousness; archaism; traditionalism; modernity; happiness.

Компетенция и научные интересы автора данной статьи ограничивают его участие в обсуждении труда Б.Н. Миронова (Миронов, 2014; Миронов, 2015а; Миронов, 2015б) третьим томом «Российской империи...», а более конкретно – главой 12 «Русская культура в коллективных представлениях» (Миронов, 2015б: 371–589). В начале подраздела этой главы, озаглавленного «Психологические, социальные и политические последствия низкой грамотности», содержится апелляция к исторической психологии, следовательно, отчасти и ко мне. Уважаемый автор справедливо сетует на слабую разработанность указанной сферы знания, на то, что историки и психологи не проявляют к ней большого интереса, «в особенности к вопросу исторических типов мышления и сознания и их влияния на поведение» (Миронов, 2015б: 501).

* Corresponding author

E-mail addresses: narradigma94@yandex.ru (V.A. Shkuratov)

Я неоднократно объяснял причины такой странной, на первый взгляд, аберрации (Шкуратов, 1990; Шкуратов, 1997; Шкуратов, 2009). Они в кардинальном методологическом различии двух современных наук о человеке и обществе. Историки и психологи легко находят общий язык на уровне гуманитарной фразеологии, но испытывают затруднения в эмпирической конкретизации их совместных интересов. Ведь одни работают с документами прошлого, а другие – с приборно-тестовыми данными о живых людях. Совместить две познавательные системы в устойчивый научно-исследовательский комплекс до сих пор не удалось, и в этом причина угасания исторической психологии XX в. Полоса ее подъема на Западе – 1960–1970-е гг. В нашей же стране в 1990-х – начале 2000-х гг. произошел настоящий бум психолого-исторических тем и терминов. Но он не был креативным в плане научных открытий и развития теории.

Это была пора издания и чтения не изданных и не прочитанных в советские десятилетия книг. Отечественное общественно-гуманитарное знание *volens nolens* переходило с марксистских рельсов на немарксистские. Формационная доктрина заменялась цивилизационной, модными стали слова «культура», «духовность», «нарративы», «бессознательное» и особенно «ментальность». Общественное сознание, классовую психологию, общественно-психологический климат трудовых коллективов переписывали в ментальность эпох, малых и больших групп, народов, организаций. Тот бум усвоения новых идей и терминов прошел. Но и западные ресурсы, на которых работала российская гуманитарная перестройка, во всяком случае в исторической психологии, истощились.

Вполне объяснимо, что неопределенной теоретической конъюнктуре переходной полосы автор «Российской империи...» предпочел то, что относят к социологической классике второй половины XIX – начала XX в. – доктрину коллективных представлений Э. Дюркгейма. Последняя привычно дополняется дихотомией «примитивная ментальность – рациональная ментальность» в редакции Л. Леви-Брюля. Дюркгейм и Леви-Брюль были ровесниками, равными по академическому и научному статусу, но в плане методологической обобщенности взглядов последний принимал приоритет первого. Кабинетная этнология Леви-Брюля подарила историкам понятие ментальности во французской версии. Культивировавшая его школа «Анналов» давно пережила свой расцвет, но эпистемологический уклон, свойственный французской гуманитарной традиции, остался. Он присутствует также в постструктуралистской дискурсивной антропологии, отвергающей ментальную историю и пришедшей ей на смену. Общим для направлений, выходящих из указанного социал-реалистского корня, является то, что исследование строится от документальных артефактов, а не от наличного индивида. Подобная методологическая стратегия аутентична историческому занятию, однако в современной психологии реализован альтернативный ей экспериментально-тестовый вариант.

У французской мысли были оппоненты к северу, за Ла-Маншем, и к востоку, за Рейном. Из латинского корня *mens* (ум, мышление, образ мысли, настроение, мнение, воззрение) были выращены два противоположных значения. Английское *mentality* приобретает ученый статус раньше параллельного французского термина, но «ментальная философия», «ментальная химия» британского ассоцианизма не имеют ничего общего ни с историей, ни с коллективной психологией. Ментальность по-английски – достояние индивида, каждый хранит ее при себе, и раскрыть ее можно только самонаблюдением. В Германии же – стране классического идеализма и высокоразвитого естествознания Нового времени – формируется вариант перевода проблематики трансцендентального субъекта в стандартные эмпирические описания, который лег в основу современной психологии. Философским прародителем метода является И. Кант, его сциентизацией занялась экспериментальная наука. Субъектоцентризм связан с консолидацией места «одинокое стоящее субъекта» (Хабермас). Этот субстанциальный субъект переводится в агенты процедурного разума. Последний же конструирует человека как испытуемого в формальных алгоритмах исследования. Гуманитаристика черпает из современной психологии сведения, которые она применяет к людям минувших эпох. Однако историческая наука, которая не уловила посыл, альтернативный субъектоцентризму, отказывается от построения системы особого знания о человеке прошлого. Когда она примыкает к выкладкам психологии, то остается вне упомянутой системы, только с аналогиями. Их игра может быть и весьма увлекательной, однако в конечном итоге она для истории проигрышная, так как все построения современной психологии приводят к наличному испытуемому, помещаемому в

сетку приборно-тестовых процедур. Таковых у науки о прошлом нет и быть не может, даже если и нынешняя междисциплинарная методология соблазняет ее видами устной истории, живой истории, универсальной истории и т. д.

Можно насчитать по крайней мере пять трактовок исторической психологии: 1) все социогуманитарные исследования на стыке психологии с историческими науками; 2) изучение человека в составе исторических (история культуры) и психологических (психология развития) дисциплин; 3) одна из дисциплин современной психологии; 4) гуманитарная альтернатива всей современной психологии, основанной на экспериментально-тестовых стандартизированных процедурах; 5) историческая критика современной сциентистской психологии (Шкуратов, 2015).

Упомянутый Б.Н. Мироновым сборник 1971 г. (Поршнева, Анцыферова, 1971) был рекогносцировочной встречей историков и психологов в духе позиции 1. Из его авторов только Б.Ф. Поршнева имел вкус к методологическому творчеству, но он не пережил исторического материализма. Я считаю, что в далекой перспективе психологическая наука может стать триединством исследований человека прошлого, настоящего и будущего. В контексте реального состояния отечественного человекознания мои работы направлены на обоснование позиции 4.

Откликнувшись на теоретические ремарки подраздела «Психологические, социальные и политические последствия низкой грамотности», я перехожу к содержанию главы. Нельзя не заметить, что в ней хронологический диапазон рассмотрения раздвинулся от двух веков российской империи до тысячелетней государственности восточных славян. Это происходит потому, что автор *de facto* переходит к сопоставлению двух социокультурных порядков – дописьменного и письменного. Он искусно соединяет внушительную статистику с большим количеством литературных примеров.

Исходный тезис главы «коллективные представления крестьян в XVIII – первой половине XIX в. соответствовали христианскому идеалу» (Миронов, 2015b: 381), можно принять *mutatis mutandis*, но в масштабе 1000 лет даже и к имперскому периоду его надо применять осторожно. Нельзя не заметить, что попутно автор формирует антитезис к своему исходному положению, проводя нас через калейдоскоп обрядности и аграрной магии в среде российского народонаселения деревни и города, а в конце главы и вполне эксплицитно причисляет необразованных к мифологическому типу сознания. Стоит ли напоминать, что эти «мифологичные» и у Л. Леви-Брюля, и у К. Леви-Стросса есть люди первобытности, а христианство входит в генеалогию европейской рациональности? Суммирующий труд Д.К. Зеленина «Восточнославянская этнография» (Зеленин, 1991) рисует прекрасно сохранившийся массив древнейшего быта и языческих воззрений и практик в российской деревне как раз накануне коллективизации.

Дихотомия «мифологическое – рациональное» дает нам только предварительную разметку диапазона разных социокультурных порядков посредством выделения полярных точек шкалы. Работа по прорисовке диапазона должна продолжаться. Осмелюсь утверждать, что заимствование популярных идей и терминов современной психологии инициирует интерес к такой работе, а потом препятствует ей (вспоминается афоризм Ф. Вольтера о том, что женщины вдохновляют на великие дела, а затем мешают их осуществлению). Пример – программа исторической психологии Л. Февра 1930–1940-х гг., которая у его последователей перешла в историю ментальностей 1960–1980-х гг., а затем уступила место дискурсивному анализу, поскольку растеклась по разрозненным и хаотичным психологизированиям исторических источников. Применение же концепции стадийного развития интеллекта Ж. Пиаже к мыслительным процессам туземцев вылилось в проверку эффективности школьного обучения в странах третьего мира. Решающее влияние грамотности на личность и ее когнитивные процессы, то подтверждалось (Брунер и др., 1971), то отрицалось (Коул, 1997). Несомненно, однако, что роль школьного образования весьма ограничена там, где среда в основном остается традиционалистской, и в этом отношении данные Б.Н. Миронова о рецидивах безграмотности в дореволюционной русской деревне вполне созвучны результатам, полученным в Черной Африке и других регионах третьего мира в XX–XXI вв.

Напрашивается и более глобальный вывод о распространении современной ментальности в истории. Примеры показывают, что торможение ее прогресса преодолевается, когда альтернативный современности уклад оказывается почти полностью уничтоженным. На Западе крестьянство исчезло относительно постепенно, эволюционно, в

СССР – под ударами коллективизации. Если что и оказывает сейчас противодействие рыночно-либеральному развитию в России, то это сложившийся комплекс бюрократии-интеллигенции. Он является контаминацией современности и традиционализма.

Мое понимание социально-исторического генезиса этого комплекса в России было существенно прояснено предшественницей «Российской империи...» – «Социальной историей России периода империи...» (Миронов, 2000). Скрупулезнейший анализ формирования российских сословий в XVIII–XIX вв. стал фундаментальным вкладом ученого в историческую науку. Выкладки Миронова укрепляли мои представления о том, как на фоне этой поздней, насаждаемой сверху институциональной сословности возникала равная ей по влиянию просвещенческая триада «власть – интеллигенция – народ» и как политическая жизнь России переходила в конкуренцию двух письменных квазисословий – интеллигенции и бюрократии – при пассивном участии просвещаемых низов (Шкуратов, 2005; Шкуратов, 2006).

Однако возвращусь к рецензируемой главе и уточню мою позицию в перспективе заполнения диапазона с граничными пунктами «мифологическое – рациональное». Сначала я считал, что между ними поместятся разные социокультурные системы порождения психики (ССПП) (Шкуратов, 1990), затем предложил модель, составленную из нескольких антропокультур (культуры тела, слова, мысли, образа и т. д.) (Шкуратов, 1997; Шкуратов, 2009). Избегая навязывать концепции «Российской империи...» чуждые ей построения, не могу не увидеть в богатейшем материале книги возможность сдвига от бинарной оппозиции по крайней мере к триаде. Сделать такой шаг можно, отделив от традиционализма архаику.

Тогда обнаружится, что на протяжении рассматриваемого в труде имперского периода Россия существует в трех вполне дифференцируемых ментальных порядках, которые одновременно являются способами социализации человека, именно в архаической дописьменной, традиционно-письменной и современной культурах. Первая представлена мифомагическими практиками, вторая – преимущественно религиозной книжностью, третья – наукой, литературой, политикой и другими дискурсами Нового времени. В общих чертах ясна и хронологически-историческая принадлежность социокультурных страт. Первая относится к догосударственной первобытности, вторая – к феодальному Средневековью, третья – к буржуазно-капиталистическому порядку Нового времени. Разумеется, при конкретизации на историческом материале очевидность этих общих мест рассеивается, однако для начального обсуждения указанные трюизмы вполне подходят.

Российское крестьянство именуется в книге традиционалистским, так же как и православное духовенство. Но при этом в традиционализм крестьянства попадают и евангельская мораль, и, как замечает Миронов, применение магии на манер австралийских аборигенов, огнеземельцев, бушменов, пигмеев, эвенков, нанайцев и других доисторических этносов. Очевидно, что перед нами разные вещи, даже если они и сочетаются в русской деревне еще в начале XX в. Под традиционализмом я, вполне согласно с автором «Российской империи...», предпочитаю понимать отстаивание наличного уклада жизни и морально-религиозное сопротивление инновациям, индивидуализму, под архаикой же – своеобразное (нерациональное и ненаучное с нашей точки зрения) сопровождение базисных жизненных потребностей – органической витальности.

В моих книгах я рассматриваю архаику, традиционализм, современность с добавлением еще постсовременности как темпоральные ориентации, в аспекте организующей роли социального времени, содержательно же архаика попадает в рубрику телесной антропокультуры (Шкуратов, 2006; Шкуратов, 2009; Шкуратов, 2011). Однако оставлю эти уточнения для следующего витка теоретической работы.

Теоретически дописьменная мифомагическая архаика народа, книжный традиционализм и современная рациональность располагаются как стадии социокультурного развития. На практике, и особенно в России, преобразовать канонические схемы в историческую последовательность затруднительно. Конечно, можно опереться на безотказное «умом России не понять», но нам хотелось бы именно умом, причем в принятой интеллигентной терминологии. Поэтому лучше принять, что уклады у нас существовали, но вводились иначе и другими способами, чем в канонических случаях.

Дальнейшим движением к российским реалиям будет признание того, что книжный традиционализм распространялся на Руси медленно. К Новому времени церковь лишь поверхностно христианизировала основную славянскую массу. По существу, она успела ее

только окрестить. Автор констатирует, что церковный брак распространяется среди крестьянства не ранее XVI–XVII вв. Грамотно не больше 3 % населения. Соглашусь, что и на Западе дело обстояло немногим лучше. Переломными моментами массового христианского просвещения там стали Реформация и Контрреформация. Но средневековый Запад смог создать высшее образование, папский престол насаждал и зорко опекал сеть университетов. В России же распространять грамотность и выращивать ученое сословие пришлось государству. До петровских времен священники и дьяконы выбирались прихожанами. Их утверждал епископ, который экзаменовал избранника прихода. Вот тут и возникала проблема ученого сословия, которую смогло разрешить только государство. От кандидата в служители культа требовалось немного: знание служб, элементарная грамотность, но и такие грамотеи были на вес золота. Паства размножалась, церкви строились, но вести службу было некому, ставить же на кафедры неграмотных – этого даже на Руси не могли себе позволить. Кризис церковных кадров длился в Московии очень долго, больше двух веков, пока власть в своих целях не разрешила его весьма быстро – за несколько десятков лет. При этом она создала и духовное сословие, первое по сакральности, но, как убедительно показывает Миронов, приниженное, маргинальное и неустойчивое. Неудивительно, что в пореформенной России роль ума и совести нации переходит к подобию светского жречества – интеллигенции. Эта перестановка в иерархии культурно-идеологического лидерства чревата и социальными последствиями. Повторю, что стержень общественно-политических процессов в России с конца XIX по начало XXI в. вполне правомерно усматривать в конкуренции интеллигенции и бюрократии.

Советские авторы клеймили церковь за мракобесие, дореволюционные – гораздо более адекватно, за то, что она сделала мало и отдала свои просвещенческие прерогативы на откуп государству. Миронов легко опровергает наследников «абличительной» революционной пропаганды.

С моей точки зрения в книге несколько избыточно подчеркивается «отсутствие серьезных побудительных мотивов у широких слоев населения» (Миронов, 2015b: 499) к образованию. Мотивация мотивацией, но имелись и важные системные факторы, тормозившие продвижение грамоты на Руси. Ведь до конца XVII в. в стране не было сети регулярного обучения детей и взрослых. Я понимаю, что переобремененному огромным материалом автору было затруднительно втягиваться еще и в дискуссии о том, существовали ли в Древней Руси институт школьного образования, как сказалось на ней отсутствие университетов, почему Православная церковь отвергала Аристотеля и т. д. Однако едва ли можно отрицать, что этот клубок проблем придется распутывать, если мы хотим проследить движение просвещения в нашей стране и соотношение его традиционалистской и современной ветвей.

В суммирующем выводе главы сбалансированы два суждения: 1) о том, что культура умеренности и традиционные христианские ценности не способствовали необходимой для поддержания империи модернизации и 2) что модернизация сама по себе не приносит счастья; ведь «самый образованный народ на Земле совершал самые страшные в мировой истории преступления против человечества во время Второй мировой войны, причем совершал их, если можно так выразиться, весьма профессионально, эффективно и на высоком технологическом уровне, иногда под музыку Бетховена, Моцарта или Вагнера» (Миронов, 2015b: 542–543).

Такая уравновешенность нужна автору для обоснования народного капитализма: «народный капитализм, возможно, лучший вариант развития: россиянин любит быть производителем, владельцем и управленцем одновременно» (Миронов, 2015b: 744). Не знаю, имеет ли автор в виду самоуправление в духе офтальмолога С.Н. Федорова или ему ближе семейное предпринимательство восточноазиатского типа. Но знаю, что в позапрошлом веке русская интеллигенция лелеяла планы общинного социализма в стремлении избежать язвы пролетариата. Она тоже мечтала сбалансировать коллективизм и передовое хозяйство, а вылилось все в печальной памяти колхозы. Опекать народный бизнес автор предписывает государству, но пока у этого государства получается опекать миллиардные состояния и поддерживать сырьевых и финансовых монополистов.

А заканчивается том и, следовательно, весь труд подразделом «Делает ли модернизация человека счастливее?» (Миронов, 2015b: 739–744). Научная корректность требует от меня возразить автору, столь виртуозно владеющему языком статистики.

Модернизированные общества не являются чемпионами по уровню агрессии и насилия. Самый высокий процент смертей человека от рук другого человека наблюдается в сообществах охотников-собираателей (Назаретян, 2008). Что касается счастья, то, по стандартного индексу World Happiness¹, список счастливых стран, составляемый Сетью ООН по решениям в области устойчивого развития, в 2015 г., третий год подряд, возглавляла Швейцария. Следом шли Исландия, Дания, Норвегия и Канада. Замыкали список из 158 стран Того, Бурунди, Бенин, Руанда и Сирия. Россия оказалась на 64 месте (Индекс счастья..., 2016). Утверждение, что в Швейцарии люди ощущают себя более довольными жизнью, чем в Руанде и Сирии, почему-то не вызывает у меня никакого возражения.

Громадное повествование «Российская империя...» обречено стать энциклопедией по истории русской жизни от Петра I до Николая II. Причем энциклопедия эта роскошно иллюстрирована, снабжена колоссальным статистическим аппаратом, обширнейшей библиографией и прекрасно написана. Сделал это один человек, его авторские интонации отчетливо выражены. Можно соглашаться с ними, а можно нет, но это не умаляет высокого профессионализма монументального труда.

Рецензент полагает, что и вне риторического комментария, на который историк, как и любой пишущий на общественно-гуманитарные темы, разумеется, имеет полное право, громадный историко-эмпирический материал книги подтверждает идею о поступательном движении экономики, государственного управления, социальной структуры, благосостояния, культуры России с начала XVIII в. до 1917 г.

Литература

Брунер и др., 1971 – Исследование развития познавательной деятельности / Дж. Брунер, Р. Олвер, П. Гринфилд (ред.). М., 1971. 389 с.

Зеленин, 1991 – Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. 507 с.

Индекс счастья..., 2016 – Индекс счастья: Швейцария на первом месте, Россия – 64-я. URL: https://www.bbc.com//russian/international/2015/04/150424_world_happiness_switzerland (дата обращения: 19.05.2016).

Коул, 1997 – Коул М. Культурно-историческая психология: Наука будущего. М., 1997. 431 с.

Миронов, 2000 – Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. Т. 1. 548 с.; Т. 2. 566 с.

Миронов, 2014 – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015а – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015б – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Назаретян, 2008 – Назаретян А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по эволюционно-исторической психологии. М., 2008. 256 с.

Поршнев, Анцыферова, 1971 – История и психология / Б.Ф. Поршнев, Л.И. Анцыферова (ред.). М., 1971. 379 с.

Шкуратов, 1990 – Шкуратов В.А. Психика. Культура. История (Введение в теоретико-методологические основы исторической психологии). Ростов/Д, 1990. 252 с.

Шкуратов, 1997 – Шкуратов В.А. Историческая психология. Изд. 2-е, расшир. М., 1997. 505 с.

¹ «При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень валового внутреннего продукта на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории, как уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость. Помимо указанных косвенных показателей, основную часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводил Международный исследовательский центр Гэллага (Gallup International) в период с 2013 по 2015 год. Исходя из указанных параметров, люди в каждой стране оценивали свое ощущение счастья по специальной шкале. В итоговый рейтинг нынешнего года вошли 158 стран» (Индекс счастья..., 2016).

- Шкуратов, 2005** – Шкуратов В.А. Интеллигенция в проекте современности // Логос. 2005. № 6 (51). С. 243–252.
- Шкуратов, 2006** – Шкуратов В.А. Искусство экономной смерти: (Сотворение видеомира). Ростов/Д, 2006. 399 с.
- Шкуратов, 2009** – Шкуратов В.А. Новая историческая психология. Ростов/Д, 2009. 206 с.
- Шкуратов, 2011** – Шкуратов В.А. Психология в истории культуры и познания. Ростов/Д, 2011. 267 с.
- Шкуратов, 2015** – Шкуратов В.А. Историческая психология. Изд. 3-е, расшир. Книга первая: Введение в историческую психологию. М., 2015. 243 с.

References

- Bruner i dr., 1971** – Issledovanie razvitiya poznavatel'noi deyatel'nosti [Studies in cognitive growth] / J. Bruner, R. Olver, P. Grinfeld (red.). Moscow, 1971. 389 p. [in Russian].
- Indeks schast'ya..., 2016** – Indeks schast'ya: Sweitsariya na pervom meste, Rossiya – 64-ya [Index of happiness: Switzerland in first place, Russia – 64th]. URL: https://www.bbc.com/russian/international/2015/04/150424_world_happiness_switzerland (data obrashcheniya: 19.05.2016).
- Koul, 1997** – Koul M. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya: Nauka budushchego [Cultural-historical psychology: A future science]. Moscow, 1997. 431 p. [in Russian].
- Mironov, 2000** – Mironov B.N. Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 т. 2nd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2000. Т. 1. 548 p.; Т. 2. 566 p. [in Russian].
- Mironov, 2014** – Mironov B.N. Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- Mironov, 2015a** – Mironov B.N. Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- Mironov, 2015b** – Mironov B.N. Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 т. Т. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- Nazaretyan, 2008** – Nazaretyan A.P. Antropologiya nasiliya i kul'tura samoorganizatsii: Ocherki po evolyutsionno-istoricheskoi psikhologii [Anthropology of violence and culture of self-organization: Essays on evolutionist-historical psychology]. Moscow, 2008. 256 p. [in Russian].
- Porshnev, Antsyferova, 1971** – Istoriya i psikhologiya [History and psychology] / B.N. Porshnev, L.I. Antsyferova (red.). Moscow, 1971. 379 p. [in Russian].
- Shkuratov, 1990** – Shkuratov V.A. Psikhika. Kul'tura. Istoriya (Vvedenie v teoretiko-metodologicheskie osnovy istoricheskoi psikhologii) [Psychics. Culture. History (Introduction to theoretical-methodological foundations of historical psychology)]. Rostov-na-Donu, 1990. 252 p. [in Russian].
- Shkuratov, 1997** – Shkuratov V.A. Istoricheskaya psikhologia [Historical psychology]. Izd. 2-e. Moscow, 1997. 505 p. [in Russian].
- Shkuratov, 2005** – Shkuratov V.A. Intelligentitsiya v proekte sovremennosti [Intelligentsia in the project of modernity] // Логос. 2005. Nr 6 (51), pp. 243–252 [in Russian].
- Shkuratov, 2006** – Shkuratov V.A. Iskusstvo ekonomnoi smerti [An art of economical death]. Rostov-na-Donu, 2006. 399 p. [in Russian].
- Shkuratov, 2009** – Shkuratov V.A. Novaya istoricheskaya psikhologiya [New historical psychology]. Rostov-na-Donu, 2009. 206 p. [in Russian].
- Shkuratov, 2011** – Shkuratov V.A. Psikhologiya v istorii kul'tury i poznaniya [Psychology in the history of culture and knowledge]. Rostov-na-Donu, 2011. 267 p. [in Russian].
- Shkuratov, 2015** – Shkuratov V.A. Istoricheskaya psikhologiya [Historical psychology]. 3-e izd. Moscow, 2015. 243 p. [in Russian].
- Zelenin, 1991** – Zelenin D.K. Vostochnoslavyanskaya etnografiya [East Slavic ethnography]. Moscow, 1991. 507 p. [in Russian].

УДК 94(47)

Историческая психология в «Российской империи...» Б.Н. МироноваВладимир Александрович Шкуратов^{а,*}^а Южный федеральный университет, Российская Федерация

Аннотация. По мнению В.А. Шкуратова, противоречия в развитии исторической психологии связаны с кардинальным методологическим различием двух современных наук о человеке и обществе: историки работают с документами прошлого, психологи с приборно-тестовыми данными о живых людях. Совместить две познавательные системы в устойчивый научно-исследовательский комплекс до сих пор не удалось. Поэтому объяснимо обращение Б.Н. Миронова в книге «Российская империя...» к социологической классике второй половины XIX – начала XX в. – доктрине коллективных представлений Э. Дюркгейма. Последняя привычно дополняется дихотомией «примитивная ментальность – рациональная ментальность» в редакции Л. Леви-Брюля. Шкуратов отмечает, что параллельно с исходным тезисом о том, что коллективные представления крестьян в XVIII – первой половине XIX в. соответствовали христианскому идеалу, формируется антитезис о мифологическом типе сознания деревенских и городских низов. «Мифологичные» же, по Л. Леви-Брюлю и К. Леви-Строссу, есть люди первобытности, а христианство входит в генеалогию европейской рациональности. В силу этого предлагается отделить от традиционализма архаику и рассматривать российскую ментальность в соотношении трех или более социокультурных порядков. Оценивая монографию Миронова в целом, Шкуратов полагает, что громадный историко-эмпирический материал книги подтверждает точку зрения о поступательном движении экономики, государственного управления, социальной структуры, благосостояния, культуры России с начала XVIII в. до 1917 г.

Ключевые слова: Российская империя; модернизация; русская культура; коллективные представления; историческая психология; мифологическое сознание; архаика; традиционализм; современность; счастье.

* Корреспондирующий автор

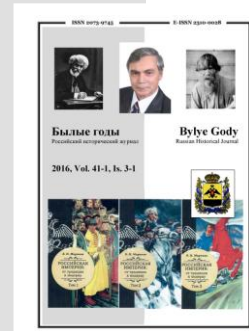
Адреса электронной почты: narradigma94@yandex.ru (В.А. Шкуратов)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 981-988, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

A Qualified Optimistic Analysis of Imperial Russia

Christine D. Worobec^{a, *}

^a Northern Illinois University, Department of History, USA

Abstract

In his magnum opus on Russia's imperial history B.N. Mironov characterizes himself as a positivist thinker who marshals impressive amounts of statistics and other types of hard evidence, and employs economic theory, sociological paradigms to understand Russian social structures and development, political analysis, anthropology, and at times psychology to Russia over the *longue durée*. With this arsenal at hand, he argues against Russian exceptionalism and identifies Russia instead as a typical European state. In so doing, he emphasizes Imperial Russia's successes as a state, the social and economic foundations of which, he argues, did not cause revolution and attributes revolution to political causes. As he has tried to do previously, the author does not begin with the revolutions of the early twentieth century and largely does not read history backwards, but rather delineates Russia's historical development within a robust comparative European context (occasionally broadening that context to include the United States). More specifically, B.N. Mironov charts Russia's modernization through the creation of well-defined estates in the late eighteenth century and the subsequent breakdown of those estates in the post-reform period as a result of greater social mobility; gradual urbanization; industrialization; the beginnings of a demographic transformation; improvements in the standard of living; an increase in literacy; the development of a civil society; the spread of private property among all social groups; the growth of individualism; and the eventual establishment of the rule of law, all of which constitute the attributes of a modern European state. The author's largely negative perceptions of the Russian peasants' *mentalité*, however, sit uneasily with his claims about advancements in the countryside by the turn of the twentieth century. Equating peasants' collectivism with authoritarianism and conflating it with the Bolshevik project, he implicitly suggests that the peasants' darkness was a major cause of revolution in 1917. If one removes this dark lens but not the genuinely negative aspects of peasant life, the more positive developments appear in a more optimistic light.

Keywords: historiography; modernization; civil society; Russian peasants; collectivism; serfdom; moral economy; backwardness; witchcraft; Orthodoxy; secularization.

B.N. Mironov's magisterial three-volume history of Imperial Russia represents a culmination of this scholar's prodigious research and prolific writing on various aspects of the social and economic life of Russians over the course of more than two centuries¹. A significant expansion and reworking of his earlier two-volume interdisciplinary social history, which appeared in three

* Corresponding author

E-mail addresses: worobec@niu.edu (C.D. Worobec)

¹ I purposely use the term "Russians" here, for although B.N. Mironov discusses other ethnicities within the empire and sometimes compares Russian peasants with their Ukrainian and Belarusian counterparts among other ethnicities, he mainly focuses his attention on ethnic Russians of all social groupings.

editions (Mironov, 1999; Mironov, 2000a; Mironov, 2003) and an English translation (Mironov, 2000b; Mironov, 2000c), it incorporates significant materials from his 2010 comprehensive study of the standard of living in Russia over the same period (Mironov, 2010) and an English translation (Mironov, 2012). As B.N. Mironov did in each successive edition of his social history, he has made corrections as well as updated the analyses and evidence in this synthetic work to reflect and sometimes challenge the newest scholarly thinking within Russia and abroad on individual subjects. In this vein he has engaged with previous criticisms of his work and fleshed out topics, such as methodology and the nature of Russia's multinational empire, added a new chapter on Russian culture in various representations ["v kollektivnykh predstavleniiakh"], more than doubled his tables (from 152 to 356), and increased the number of photographs (from 214 to 375) (Mironov, 2014: 12). A new section analyzes some of the different historiographical concepts (Marxism, modernization theory, civilizational, world-systems, institutional, synergism, and post-modernism) that have been applied to Imperial Russian history. It will become mandatory reading for all graduate students specializing in the subject¹. In one of the several concluding sections of this massive work, B.N. Mironov comes back to these concepts to demonstrate how his "neoclassical model of historical investigation," [неоклассическая модель исторического исследования], which is predicated on the concept of modernization, macro-analyses, quantitative data, and synthesis, corrects most of these other approaches and adds to modernization studies (Mironov, 2014: 12, 68; Mironov, 2015b: 649–676) B.N. Mironov's mastery of the secondary literature on Russian history is unprecedented and his engagement with the historical literature on modern Europe and the United States impressive. Having already been anointed as the heir to the nineteenth-century historian V.O. Kliuchevskii, B.N. Mironov once again makes an immense contribution to the field (Kamenskii, 2004: 408).

In this broad sweep of Russia's imperial history at the macro-level, the author characterizes himself as a positivist thinker who marshals impressive amounts of statistics and other types of hard evidence, and employs economic theory, sociological paradigms to understand Russian social structures and development, political analysis, anthropology, and at times psychology to Russia over the *longue durée*. With this arsenal at hand, B.N. Mironov argues against Russian exceptionalism and the Marxist-Leninist representation of the imperial period as a series of disaster. He identifies Russia instead as a typical European state, "в истории которой трагедий, драм и противоречий нисколько не больше, чем в истории любого другого европейского государства" (Mironov, 2014: 13). In so doing, he emphasizes Imperial Russia's successes as a state, the social and economic foundations of which, he argues, did not cause revolution and attributes revolution to political causes. As he has tried to do previously, the author does not begin with the revolutions of the early twentieth century and largely does not read history backwards, but rather delineates Russia's historical development, this time within a much more robust comparative European context (occasionally broadening that context to include the United States).

More specifically, B.N. Mironov charts Russia's modernization through the creation of well-defined estates in the late eighteenth century and the subsequent breakdown of those estates in the post-reform period as a result of greater social mobility; gradual urbanization; industrialization; the beginnings of a demographic transformation; improvements in the standard of living; an increase in literacy; the development of a civil society; the spread of private property among all social groups; the growth of individualism; and the eventual establishment of the rule of law, all of which constitute the attributes of a modern European state. He might have added to this list the fact that in the late stages of the empire the women's movement was actually quite successful in spite of the smaller number of women he notes participated in the Russian suffrage movement compared to the numbers of their counterparts in the United States and Denmark (Mironov, 2014:

¹ B.N. Mironov also sets out future research agendas for graduate students and specialists. Among these are excellent suggestions for specific types of demographic studies, which the author feels are urgent if historians are to obtain a better grasp of demographic patterns in Imperial Russia, as well as a recommendation that extensive content analyses of the voluminous reports written by hundreds of local correspondents solicited by the Tenishev Ethnographic Bureau in the 1890s be conducted (Mironov, 2014: 620–621; Mironov, 2015a: 203–204). I would add that critical analyses of the bureau's goals and the questionnaire it sent to its correspondents are also required. A prosopographical study of the correspondents, along the lines of I.K. Gerasimov's group biography of graduates of the Moscow Agricultural Institute who became rural professionals in the early twentieth century, would illuminate their social origins, age, and gender, among other things, in identifying what constituted a an important civil group. Some of the correspondents may have had peasant origins (Gerasimov, 2004; Gerasimov, 2009).

754). The Grand Duchy of Finland granted suffrage to women as early as 1906, while the Provisional Government extended suffrage in July 1917 (before the United States, Britain, France, and Italy).

In making these claims for Russia's modernization, B.N. Mironov is careful to note that these developments were uneven. Different tempos of development affected individual social groups, with Russian peasants lagging behind other social groups (which was not unusual in other European states). This meant that by the eve of World War I some of the changes were more substantial than others but the potential was there for further advancement. And while progress was made in urbanization, industrialization, and demographic factors in the twentieth century, B.N. Mironov bemoans that fact that the socialist revolution halted the transformation of society from collectivism to individualism and returned to collectivism, this time through violence, and almost destroyed civil society. In this respect the depeasantization of the countryside, in his opinion, had not advanced sufficiently to ward off the reinvigoration of collectivism.

In a larger historiographical context, Mironov's optimistic assessment of Russia on the eve of World War I fits the prerevolutionary Liberal interpretation championed by P.N. Milyukov and Russian émigré historians. It is also one that emerges from many studies of the development of civil society in Russia and two recent books, one by W. Dowler and the other by C. Evtuhov (Bradley, 2009; Dowler, 2010; Evtuhov, 2011)¹. According to W. Dowler, by 1913 "a vibrant public space" in Russia had emerged. "A host of voluntary associations, a lively and relatively free press, the rise of progressive municipal governments, the growth of legal consciousness, the advance of market relations and new concepts of property tenure in the countryside, and the spread of literacy were transforming Russian society" (Dowler, 2010, jacket cover). In a different type of work that champions the intensive study of Russian provincial life in all of its various manifestations, in this case, Nizhnii Novgorod, C. Evtuhov paints "a world where the future was full of possibilities, to be shattered a few years later." She further remarks that "when we stop defining Russia by its exceptionalism, we will find a place recognizable to any historian of nineteenth-century Europe." She defines that place as being dynamic, fluid, and progressive (Evtuhov, 2011, back cover). I quote these passages from these historians' works here to highlight the fact that B.N. Mironov is not working in a vacuum and that they mirror his own conclusions.

Historians will find issues in B.N. Mironov's work to champion and others to dispute. As an historian of the Russian peasantry, Russian women, and lived Orthodoxy (or Orthodoxy as practiced and experienced) in the imperial era, I will focus the remainder of my remarks on these subjects, although space precludes me from tackling all of the facets of these subjects that B.N. Mironov raises.

With regard to Russian peasants a paradox emerges in the author's presentation. While pointing to indices of good agricultural productivity under serfdom and increasing agricultural and proto-industrial productivity after emancipation, the integration of peasants in regional and national markets, increasing prosperity in the villages after emancipation, rising literacy rates in the late nineteenth and early twentieth centuries, the appearance of smaller families (if not yet dominant), and the beginnings of the breakdown of communal life, B.N. Mironov ascribes these peasants with little agency. There are some exceptions to the rule: He concedes that the peasants as a whole were making good choices over fertility and pregnancy (but not abortion) and credits a younger generation of peasants in the post-reform period with having an independent spirit by splitting off from the patriarchal household to set up separate households, buying land, and after 1906 embracing the Stolypin reforms and leaving the commune (Mironov 1985). B.N. Mironov also points to peasants rebelling, although he suggests that they benightedly protested laws that were supposedly good for them. By and large however, the peasants in the study appear as objects to be acted upon by either nobles or the state. Under serfdom this means that, in B.N. Mironov's analysis, peasants were most productive if they were beaten (although beating them too much would have been self-defeating) and continued to be most productive after 1861 in those areas where they continued to work for landlords after the period of temporary obligations had lapsed. The state comes across as the main arbiter of progressive change, especially with emancipation and other post-1861 reforms, which brought advancement and enlightenment to the countryside. It made huge infusions of capital during the 1891–92 famine, provided a constitution, and finally introduced the Stolypin reforms that sought to break down the peasant commune. Although all these reforms, the ways in which peasants interacted

¹ For other works on civil society in Imperial Russia, see J. Bradley's bibliography (Bradley, 2009).

with them and shaped them with their own interests in mind and mitigated some of the negative features are missing from the narrative¹.

The problem is twofold. It stems in part from B.N. Mironov's methodological emphasis on socio-economic processes and massive aggregate data sets that ignore the individual. It also originates from both his dismissal of post-structural analysis and his acceptance of the paternalistic and anachronistic portrayals of educated contemporary observers, both native and foreign, of Russian peasants². Unfortunately, B.N. Mironov repeats the tropes of the dark, primitive, childlike, irrational, weak, mythological, and ignorant peasant, although he suggests that at one and the same time the peasants were happy in their childlike innocence and emotional (Mironov, 2015b: 522–523). Here the author is on much surer footing when he argues that they did not consume alcohol significantly more than European peasants (Mironov, 2015a: 187–188). For some reason, most of the features of this negative portrayal are expanded upon in the lengthy concluding sections of the third volume rather than in the introduction or chapters on the countryside in the first and second volumes, even though the negativity casts a shadow on those chapters. The fuller explanations do provide necessary context for B.N. Mironov's negative statements such as the one in volume two "что закрепощение крестьянства, господство передельной общины и обязательного для всех способа земледелия компенсировали отсутствие у крестьянства инициативы, предприимчивости, желания (а, разумеется, не способности) добиваться максимально возможных экономических результатов" (Mironov, 2015a: 74).

Similarly, an ahistorical representation of nineteenth century Russian peasants as being stuck in the fifteenth or sixteenth century, which B.N. Mironov accepts as reality, appears in the conclusion. This time the representation comes from not only contemporary observers' remarks about Russian peasants, but also an outdated and colonial anthropological concept of primitive peoples (Mironov, 2015b: 618–619). It was only after reading this observation that I understood why a sixteenth-century painting of a peasant wedding by the Flemish P. Breughel the Elder appeared without explanation in an earlier volume (Mironov, 2015a: 300)³. Similar types of representations of supposedly traditional and unchanging peasants trapped in a mythological historical past were common throughout nineteenth century Europe. Acceptance of them as indicative of reality, however, perpetuates the myth of backward and benign peasants. That myth has unfortunately had more staying power in the Russian case, as demonstrated in this three-volume work that paradoxically argues for a more dynamic and progressive Russia.

Suppose if we replaced the irrational and ignorant peasant with one of the rational peasant as portrayed in cultural anthropology and provided the Russian peasants with agency, how would B.N. Mironov's analyses change (Popkin, 1979)? For one, they would complicate and problematize the narrative considerably. There is not sufficient space here to point out all aspects of changing peasant life in the nineteenth century. All I can do here is to provide some leading and illustrative questions about Russian serfdom. B.N. Mironov does refer to the importance of the communal structure on the noblemen's estate. This means that besides adjudicating internal peasant matters, the patriarchs in the commune regularly negotiated with their landlords and bailiffs, some of the latter of whom were peasants. What was the nature of the negotiations? Were there times when serfs ignored or modified their owners' demands? Did serfs regularly engage in everyday types of resistance such as footdragging, poaching game, and illegally felling timber in the nobles' and state forests? Did "naïve" monarchism really amount to peasants' conservatism and faith in authoritarianism, or did it involve peasants' manipulation of authorities and some understanding of the law? Did the increasing appearance of serfowners' charters delineating rules on large estates necessarily reflect greater intrusion of the nobles into their serfs' lives or did it they also reflect serf

¹ J. Pallot's in-depth archival study of the Stolypin Reforms, which was a social-engineering project, brilliantly illustrates the multifaceted ways in which peasants reacted to the reforms and modified their outcomes (Pallot, 1999).

² By challenging contemporary observers' representations, myth-making, and value judgments, I am not suggesting that historians discount everything they reported about Russian peasants. Critical analysis and consultation of different types of sources are nonetheless necessary to collaborate or refute evidence.

³ Paintings and photographs are also representations of artists' imagination. We tend to think of photographs as being closer to reality, but they too are staged. If another edition of B.N. Mironov's magnum opus were to appear, I would strongly suggest that the author provide a brief explanatory section in the introduction about the images he selected, the rationale for his selection, and how readers might best evaluate these very rich illustrations. The author does analyze some images in the course of the work and cannot be expected to do more of that type of analysis. Nevertheless, some of the illustrations could use short explanatory comments.

practices? Were household serfs serving in functions such as bailiffs, wet nurses, nannies, actresses, musicians, playmates and companions for the nobles' children, and gardeners in the manors' hot houses changed by those functions, the skills (including literacy) some of them attained, and daily interactions with landlords? Might those changes have affected non-household serfs? Did those same interactions have any impact on landlords? Did not serfowners learn healing techniques and remedies as well as practical knowledge about the soil, plants, and agricultural practices from their serfs? How do we access serfs who became skilled craftsmen, artists, and managers of factories as well as those who bought their freedom and changed their social ranking?

These and other questions have been asked and partly answered by the micro-studies of individual serfowner estates that B.N. Mironov cites in his magnum opus and broader works. Furthermore, a few detailed studies do demonstrate that peasants' economic opportunities on large *obrok* estates were greater and more diverse than those on the estates where *barshchina* prevailed and that the serfs were resourceful (Dennison, 2011; Melton, 1987; Melton, 1999). Precisely because the archival evidence challenges the universality of the moral economy in peasant serf communes, they need to be taken seriously and not dismissed. In the more dynamic micro-studies of estates and broader works the serfs become historical actors with names and even in some cases, when the sources are sufficiently rich, have biographies (Smith A., 2014; Smith, 2008; Schuler, 2009; Stites, 2005)¹. Clearly, more micro-studies and comparative studies of serfowners' estates based on archival records that provide not only quantitative but essential qualitative evidence are required.

In evoking the notion of the rational peasant and the questions I posed above, I purposely have avoided the other component of contemporary observers' representations of the backward and dark Russian peasants, which has pervaded the historiography – and that is the peasants' spirituality as being a separate culture full of pagan elements and superstitions, devoid of any associations with, or influences, from elite and official cultures. In an odd version of this thinking B.N. Mironov posits that until the beginning of the eighteenth century all groups in Russian society shared a similar religious culture that evinced a poor grasp of the fundamentals of Orthodoxy and among other things “распространенность суеверий и предрассудков (почитание икон, хождение на поклон к святым местам, посты и т. п.)” (Mironov, 2015b: 617). After the early eighteenth century, he continues, the peasants retained this older form of religiosity, which was full of magic and mythology, until the beginning twentieth century, whereas the elites did not. I am assuming that B.N. Mironov is referring here to the secularization of the elites that supposedly appeared immediately upon the heels of Peter I's reforms. In fact, secularization was far slower and much more incomplete than B.N. Mironov suggests. In terms of beliefs in witchcraft, which he also mentions, elite members of society did not abandon beliefs in witches and sorcerers until the late eighteenth and early nineteenth centuries. The increased persecution of witches and sorcerers in the first half of the eighteenth century and Catherine II's incomplete decriminalization of witchcraft guaranteed that such beliefs would linger (Lavrov, 2000; Smilianskaia, 2003; Worobec, 2016). More importantly, most noblemen and women continued to participate in icon processions, venerate icons, observe fasts (particularly Great Lent), go on pilgrimages, and were recipients of miracle cures until the end of the regime (Kenworthy, 2010; Robson, 2007; Worobec, 2007: 29; Worobec 2014/2015). Such religious practices were central to the tenets of Eastern Orthodoxy. The strictures against some of these practices in the 1721 Spiritual Regulation (which served as a reformation-type decree, and was not the first of its kind) pertained to false miracles attributed to unverified icons and miracles attributed to wells and springs; the veneration of uncorrupted bodies that had not been sanctioned officially as saints; and *klikushi* or demon possessed women.

Russian peasant religiosity was more firmly planted in Orthodox practices as well. Historians and ethnographers have been trying to reconstruct the spiritual life and practices of Russian peasants (as well as other social groups) in the early modern and modern periods by questioning the myths of *dvoeverie* and what has been (but no longer is) the dominant paradigm of secularization theory. That questioning and the mining of previously untapped primary sources have resulted in the reChristianization of popular culture and the narrowing of the cultural gap between the social classes in the modern period (Gromyko, Buganov, 2000; Lavrov, 2000; Smilianskaia, 2003; Kivelson, Greene, 2003; Greene, 2010; Shevzov, 2004). Much more work

¹ A. Smith's book on social estates in Imperial Russia appeared very recently in 2014, after B.N. Mironov completed his manuscript. I am citing here simply to inform readers of its existence (Smith A., 2014).

obviously needs to be done in this area. However the conclusions reached thus far suggest that the existence of a great spiritual chasm between peasants and elites is much exaggerated.

The reason that I have spent time on delineating B.N. Mironov's largely negative perceptions of the Russian peasants' *mentalité* is that they sit uneasily with his claims about advancements in the countryside by the turn of the twentieth century. In this instance he is reading history backwards and unfortunately equating peasants' collectivism with authoritarianism and the Bolshevik project. Peasants' darkness thus implicitly emerges as a major cause of revolution in 1917. If one removes this dark lens but not the genuinely negative aspects of peasant life, the more positive developments appear in a more optimistic light.

References

[Bradley, 2009](#) – *Bradley J.* Voluntary Associations in Tsarist Russia: science, patriotism, and civil society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009. 384 p.

[Dennison, 2011](#) – *Dennison T.* The Institutional Framework of Russian Serfdom. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 254 p.

[Dowler, 2010](#) – *Dowler W.* Russia in 1913. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. 351 p.

[Evtuhov, 2011](#) – *Evtuhov C.* Portrait of a Russian Province: economy, society and civilization in nineteenth-century Nizhnii Novgorod. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2011. 320 p.

[Gerasimov, 2004](#) – *Gerasimov I.K.* On the Limits of a Discursive Analysis of “Experts and Peasants” (an attempt at the internationalization of a discussion in *Kritika*) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2004. Bd. 52.2, S. 261–273.

[Gerasimov, 2009](#) – *Gerasimov I.K.* Modernism and Public Reform in Late Imperial Russia: rural professionals and self-organization, 1905–30. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2009. 325 p.

[Greene, 2010](#) – *Greene R.* Bodies like Bright Stars: saints and relics in Orthodox Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. 299 p.

[Gromyko, Buganov, 2000](#) – *Gromyko M.M., Buganov A.V.* O vozzreniyakh russkogo naroda [Beliefs of the Russian Folk]. Moscow: Palomnik, 2000. 541 p. [in Russian].

[Kamenskii, 2004](#) – *Kamenskii A.B.* Uroki, kotorye možno bylo by izvlech' [The lessons of history that could be learned] // *Odissei*. 2004, pp. 408–421 [in Russian].

[Kenworthy, 2010](#) – *Kenworthy S.* The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism, and Society after 1825. New York: Oxford University Press, 2010. 528 p.

[Kivelson, Greene, 2003](#) – *Kivelson V., Greene R.* Orthodox Russia: belief and practice under the tsars. University Park: Pennsylvania State University Press, 2003. 291 p.

[Lavrov, 2000](#) – *Lavrov A.S.* Koldovstvo i religiya v Rossii: 1700–1740 gg. [Witchcraft and Religion in Russia, 1700–1740]. Moscow: Drevlekhranilishche, 2000. 572 p. [in Russian].

[Melton, 1987](#) – *Melton E.* Proto-industrialization, Serf Agriculture, and Agrarian Social Structure: Two Estates in Nineteenth-century Russia // *Past and Present*. 1987. Vol. 115, pp. 73–87.

[Melton, 1999](#) – *Melton E.* The Magnate and Her Trading Peasants: Countess Lieven and the Baki estate, 1800–1820 // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1999. Bd. 47, S. 40–55.

[Mironov, 1985](#) – *Mironov, Boris.* The Russian Peasant Commune after the Reform of the 1860s // *Slavic Review*. 1985. Vol. 44, nr 3 (Fall), pp. 438–467.

[Mironov, 1999](#) – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticeskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 т. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1999. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].

[Mironov, 2000a](#) – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticeskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 т. 2nd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2000. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].

[Mironov, 2000b](#) – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.

[Mironov, 2000c](#) – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.

[Mironov, 2003](#) – *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva [Social history of the Russian Empire (the 18th – early 20th centuries): Genesis of personality, democratic family, civil society and lawful state]: 2 t. 3rd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. T. 1. 548 p.; T. 2. 566 p. [in Russian].

[Mironov, 2010](#) – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. Moscow: Novyi Khronograf, 2010. 848 p. [in Russian].

[Mironov, 2012](#) – *Mironov, Boris.* The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.

[Mironov, 2014](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

[Mironov 2015a](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

[Mironov, 2015b](#) – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

[Popkin, 1979](#) – *Popkin S.* The Rational Peasant: the political economy of rural society in Vietnam. Berkeley: University of California Press, 1979. 306 p.

[Pallot, 1999](#) – *Pallot J.* Land Reform in Russia, 1906–1917: peasant responses to Stolypin's project of rural transformation. Oxford: Clarendon Press, 1999. 272 p.

[Robson, 2007](#) – *Robson R.* Transforming Solovki: pilgrim narratives, modernization, and late imperial monastic life // Sacred Stories: religion and spirituality in modern Russia / ed. by M. Steinberg and H. Coleman. Bloomington: Indiana University Press, 2007, pp. 44–60.

[Schuler, 2009](#) – *Schuler C.* Theatre and Identity in Imperial Russia. Iowa City: University of Iowa Press, 2009. 326 p.

[Shevzov, 2004](#) – *Shevzov V.* Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. New York: Oxford University Press, 2004. 358 p.

[Smilianskaia, 2003](#) – *Smilianskaia E. B.* Volshebnykh Bogokhul'niki. Eretiki: narodnaya religioznost' i "dukhovnye prestupleniia" v Rossii XVIII v. [Magicians, Blasphemers, and Heretics: popular religiosity and "spiritual crimes" in eighteenth century Russia]. Moscow: Indrik, 2003. 462 p. [in Russian].

[Smith A., 2014](#) – *Smith A.* For the Common Good and Their Own Well-Being: Social Estates in Imperial Russia. New York: Oxford University Press, 2014. 278 p.

[Smith, 2008](#) – *Smith D.* The Pearl: A True Tale of Forbidden Love in Catherine the Great's Russia. New Haven: Yale University Press, 2008. 328 p.

[Stites, 2005](#) – *Stites R.* Serfdom, Society, and the Arts in Imperial Russia: the pleasure and the power. New Haven: Yale University Press, 2005. 640 p.

[Worobec, 2007](#) – *Worobec C.* Miraculous Healings // Sacred Stories: religion and spirituality in modern Russia / ed. by M. Steinberg and H. Coleman. Bloomington: Indiana University Press, 2007, pp. 22–43.

[Worobec, 2014/2015](#) – *Worobec C.* The Long Road to Kiev: nineteenth-century Orthodox pilgrimage // Modern Greek Studies Yearbook. 2014/2015. Nr 30/31, pp. 1–24.

[Worobec, 2016](#) – *Worobec C.* Decriminalizing Witchcraft in Pre-Emancipation Russia // Späte Hexenprozesse: Der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen / ed. by Wolfgang Behringer, Sönke Lorenz, and Dieter R. Bauer. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2016, pp. 281–308.

УДК 94(47)

Компетентный и оптимистичный анализ истории имперской РоссииКристина Воробец^{а, *}^а Университет Северного Иллинойса, США

Аннотация. В своем magnum opus по истории Российской империи Б.Н. Миронов предстает позитивистски мыслящим исследователем, мобилизовавшим внушительный объем массовых статистических данных и других надежных сведений, а также экономическую теорию и социологические концепции, политический анализ, антропологию и психологию, чтобы понять российские социальные структуры и их развитие в течение продолжительного времени (*longue durée*). Вооруженный таким значительным арсеналом интеллектуальных средств, он выдвигает аргументы против российской исключительности и идентифицирует Россию как нормальное европейское государство. Автор подчеркивает успехи империи, утверждает, что в стране отсутствовали социально-экономические предпосылки для революций начала XX в. и что они произошли по политическим причинам. Поскольку Б.Н. Миронов изучал проблему революции в своих прежних работах, он начинает книгу не с революций и отталкивается не от них, а исследует историческое развитие России в европейском контексте (иногда включая Соединенные Штаты). Говоря более конкретно, автор показывает, что модернизация России проявлялась в трансформации сословий, сформировавшихся в конце XVIII в., в классы благодаря высокой социальной мобильности в пореформенный период; в урбанизации; в индустриализации; в начавшемся демографическом переходе; в повышении уровня жизни; в росте грамотности; в развитии гражданского общества; в распространении частной собственности среди всех социальных групп населения; в росте индивидуализма; в утверждении власти закона. В ходе модернизации российское общество приобретало все признаки современного европейского государства. Во многом негативное представление менталитета (*mentalité*) российских крестьян плохо согласуется с утверждениями автора о прогрессе деревни на рубеже XX в. Отождествляя коллективизм крестьян с авторитаризмом и соединяя коллективизм с большевистским проектом, автор имплицитно наводит на мысль, что главной причиной революции 1917 г. послужило невежество крестьян. Если снять черные очки, но не закрывать глаза на действительно отрицательные аспекты крестьянской жизни, то изменения в деревне предстанут в более оптимистическом свете.

Ключевые слова: историография; модернизация; гражданское общество; русские крестьяне; коллективизм; крепостное право; моральная экономика; отсталость; колдовство; православие; секуляризация.

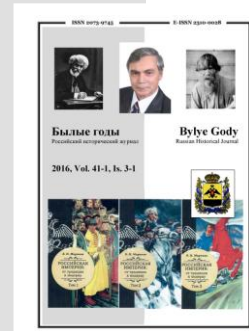
* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: worobec@niu.edu (К. Воробец)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 989-994, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 93(47)

“The Human Comedy” of Boris Mironov

Semen A. Ekshtut ^{a, *}

^a The Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Abstract

This article is devoted to an analysis of the book by well-known St. Petersburg historian Boris Mironov, “The Russian Empire: From Tradition to Modernity.” The author comes to the conclusion that this ambitious research study, by its final result and contribution to the humanities, is comparable to the work of a large team of researchers, who have worked together for many years according to a single plan. Three large-format volumes contain about three thousand pages, 383 statistical tables and 539 illustrations – graphs, documentary photographs, reproductions of well-known and little-known paintings, prints, and drawings. All these riches are treated in the text and organically included in the system of author’s reasoning. This monograph replaces a number of reference books or a small library of carefully selected books on the history of Imperial Russia. To create it, the author studied, interpreted, and creatively processed an array of archival documents and books, overwhelming for a single researcher, over the course of several decades. You can’t say about this work that undigested knowledge stands in the way of wisdom – it is all reasonable, orderly, and logical. The real “human comedy” of the period of the Russian empire is before us. Henceforth a serious study of its history would be impossible without reference to this book.

Keywords: historiography; modernization; Russian culture; Russian Empire; standard of living; social mobility; elite; serfdom; enslavement and emancipation; Thomas theorem.

Капитальный научный труд известного петербургского историка и постоянного автора журнала «Родина» Бориса Николаевича Миронова «Российская империя: от традиции к модерну» поражает своими колоссальными размерами. Судите сами: под прочными переплетами трех томов большого формата заключено без малого около 3000 страниц (896 + 912 + 992 = 2800). Большинство книжных разворотов снабжено статистическими таблицами, графиками, документальными фотографиями или репродукциями известных и малоизвестных картин, гравюр, рисунков – и все это богатство обыгрывается в тексте и органически входит в систему авторских рассуждений.

Внимательный читатель узнает множество интересных и выразительных подробностей, например: каков был размер крестьянского оброка – 5 руб. серебром в год; сколько россиянок XVIII–XIX вв. шли под венец беременными – две из пяти; сколько стоила рекрутская квитанция на рынке, т. е. какую сумму надо было заплатить, чтобы откупиться от 25-летней службы в армии, – 600 руб.; какова была разница в длине тела между представителями Дома Романовых и российскими подкидышами – превышала 21 см; во сколько раз возросла преступность в пореформенной России по сравнению с Россией

* Corresponding author

E-mail addresses: semenekshtut54@gmail.com (S.A. Ekshtut)

крепостнической – в пять раз. Трехтомная монография, которую написал известный историк, по своему итоговому результату и вкладу в гуманитарные науки соизмерима с работой большого коллектива исследователей, многие годы совместно работающих по единому плану. Но если сами авторы коллективных монографий зачастую не без иронии называют такие плоды собственного труда «братскими могилами» (книги фактически умирают для читающей публики сразу же после выхода из стен типографии), то грандиозный труд профессора Миронова – это жизнеспособный организм, который будет жить своей жизнью и сумеет сам за себя постоять: он заменяет собой несколько справочников или небольшую библиотечку тщательно подобранных книг. Чтобы его создать, автор в течение нескольких десятилетий изучал, осмысливал и творчески перерабатывал неподъемный для одного исследователя массив книг и архивных документов (неслучайно его работы хорошо известны за рубежом: [Mironov, 1985](#); [Mironov, 1993](#); [Mironov, 1999](#); [Mironov, 2000a](#); [Mironov, 2000b](#); [Mironov, 2012](#)), и про работу Миронова не скажешь: непереваренные знания преграждают дорогу мудрости. Все обоснованно, стройно и логично. Перед нами самая настоящая «Человеческая комедия» времен Российской империи. Отныне серьезное изучение ее истории будет немыслимо без обращения к этой книге, которая, как и предыдущие его исследования ([Миронов, 2013](#)), несомненно вызовет горячую дискуссию. Недаром журнал «Родина» назвал Б.Н. Миронова «самым оспариваемым историком России» ([Революционный..., 2015: 48](#)).

Перелистаем ее страницы. Автор безжалостно расправляется с расхожими представлениями и устойчивыми мифами. Российская империя отнюдь не была «тюрьмой народов», каковой ее часто пытаются представить. «Этнические критерии, хотя и принимались во внимание, но по существу не мешали продвижению по социальной лестнице. Благодаря этому между социальным статусом и национальностью отсутствовала связь, а политическая, военная, культурная и научная элиты России были многонациональными...» ([Миронов, 2014: 129](#)). В 1894–1914 г. среди 215 членов Государственного совета насчитывалось по крайней мере 12,1 % лиц неправославного вероисповедания и, следовательно, нерусских. В составе высшей бюрократии их доля к 1917 г. составила 11,8 %. В 1912 г. в Русской армии было 11 % неправославных офицеров и 20 % – генералов. Местная элита, как правило, активно инкорпорировалась в состав российского дворянства, и у нее не было оснований расшатывать и разрушать империю. Там же, где эта политика не проводилась последовательно (с мусульманской элитой на Кавказе и в Туркестане), у центральной власти возникали реальные проблемы.

Активно работали социальные лифты, обеспечивавшие восходящую межсословную социальную мобильность. Дворянство увеличивалось за счет наиболее энергичных, целеустремленных, предприимчивых и социально активных представителей других сословий – духовенства и крестьянства: «социальные перемещения обеспечивали рост численности дворянства в первой половине XVIII в. примерно на 30 %, во второй половине XVIII в. – на 40, в первой половине XIX в. – на 50 %» ([Миронов, 2014: 449](#)). В начале эпохи Великих реформ 30 % офицерского корпуса имело недворянское происхождение, в том числе 20 % происходило из низших воинских чинов – солдат и унтер-офицеров. На рубеже XIX–XX вв. 66 % благородного сословия Российской империи составляло «новое дворянство», получившее свой привилегированный статус на государственной службе ([Миронов, 2014: 449–450](#)). В пореформенную эпоху «состав дворянства качественно ухудшался, его благосостояние падало и престиж в обществе снижался, и сама дворянская идентичность испытывала кризис» ([Миронов, 2014: 475](#)). В настоящее время историческая наука еще не может однозначно ответить на вопрос, какой процесс преобладал в дворянском сословии – деградация или умение приспособиться к новым условиям. Однако любые попытки отыскать корни Великой русской революции в окостенелости правящей элиты и в принципиальном нежелании привилегированного сословия пополнять свои ряды за счет наиболее талантливых и активных представителей других сословий, были бы явной натяжкой: вплоть до 1917 г. элита Российской империи была подвижна и открыта как на входе, так и на выходе.

Российская империя умела отвечать вызовам времени – и отмена крепостного права в 1861 г. наиболее яркий тому пример. Профессор Миронов смотрит на привычную картину былого под новым ракурсом – и приходит к парадоксальным выводам. Крепостное право не было только безусловным злом и очевидным для всех негативом: оно выполняло важные функции для общества, не исключая и крестьян, и сохраняло свою экономическую

эффективность вплоть до своей отмены. «Ни один институт не может существовать столетиями, если он не выполняет общественно значимой и позитивной функции» (Миронов, 2015а: 15).

Был ли институт крепостничества жесток? Да, безусловно. Интенсивность и производительность труда в барщинных имениях была значительно выше, чем в оброчных. Это достигалось за счет методов внеэкономического принуждения. Крестьян, трудившихся на барщине, пороли в 25 раз чаще, чем крестьян в оброчном имении. Но не следует преувеличивать жестокосердие крепостничества: «жестокость» – понятие историческое. Обратимся к произведениям русской классической литературы и убедимся в справедливости этого тезиса. Монография профессора Миронова прекрасно корреспондируется с классикой. В рассказе Лескова «Человек на часах» очень точно сказано, что в царствование Николая I наказание рядового Измайловского полка Постникова розгами можно было счесть «отеческой милостью», если сравнивать розги со шпицрутенами: «Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда...» Солдат Постников был «из дворовых господских людей». У крепостных крестьян отсутствовало понятие личности, в соответствии со своими «патриархальными понятиями» они наказание почитали наукой. Вспомним «Мертвые души» Гоголя: Павел Иванович Чичиков пообещал высечь своего крепостного кучера Селифана за то, что тот напился и во время езды вывалил барина из брички в грязь. «Как милости вашей будет угодно, – отвечал на все согласный Селифан, – коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посесть, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посесть, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посесть?» Не забудем и поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Люди холопского звания –
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.

Объем понятия «крепостное право» не оставался неизменным и исторически весьма сильно варьировался от мягкой формы, когда крепостной почитался членом большой господской семьи, выполняющим самую тяжелую работу, до полной всеобъемлющей формы зависимости человека от его господина. Зависимый человек минувшего времени вовсе не тяготился своей зависимостью, ибо видел в ней защиту от еще большего произвола. Любая корпорация защищала своих членов, гарантируя им соблюдение обычаев, традиций, законов. Таковы были исторические реалии: «...в России на рубеже XVII–XVIII вв. свободными людьми были только царь да патриарх, а все остальные были в той или иной степени лично зависимы. Причем большинство было закрепощено на нескольких уровнях: священник – государством и епископом; посадский человек – государством и посадской общиной; помещичий крестьянин – государством, дворянином и сельской общиной; казенный крестьянин – казной и сельской общиной; и лишь дворянин был закрепощен только государством. Крепостное право было всеобщим» (Миронов, 2015а: 27).

В Российской империи медленно происходил стихийный процесс раскрепощения, но из-за недостатка инициативы со стороны помещиков и крестьян потребовалось вмешательство государства: без посредничества верховной власти крепостные и крепостники мирным путем никогда не смогли бы прийти к обоюдному добровольному соглашению. Верховная власть взяла инициативу в свои руки. Накануне проведения реформы Александр II, проигнорировав нежелание дворянства добровольно отказаться от «крещенной собственности», в 1858 г. предпринял два продолжительных путешествия по стране и убедил благородное сословие подчиниться своей воле. Крестьянская реформа 1861 г., отменившая крепостное право, вовсе не была побочным продуктом революционной борьбы, как долгое время вслед за Лениным утверждала советская историография. Под редакцией академика Милицы Васильевны Нечкиной в СССР было выпущено несколько сборников научных трудов «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.», направленных на обоснование этого ленинского положения: решение научной проблемы подгонялось под заранее сформулированный ответ. Профессор Миронов убедительно опровергает это давнее ленинское утверждение и сознательно очищает авгиевы конюшни историографии от мифов. Реформа была «...хорошо продумана, тщательно подготовлена и должным образом – последовательно, постепенно, по составленному плану – проведена, что

и обеспечило успешное экономическое развитие пореформенной России» (Миронов, 2015а: 106).

«...Верховная власть выбрала оптимальный путь отмены крепостничества» (Миронов, 2015а: 93). Если бы крестьяне были бы освобождены с большим земельным наделом, чем это произошло фактически, то эта контрфактическая ситуация только стимулировала бы лень и беспечность земледельцев, понизив интенсивность и производительность их труда и увеличив число праздничных дней в году. Лишь каждый пятый крестьянин был мужиком-тружеником. Закон запрещал работать в праздничные дни, а сами крестьяне считали, что труд должен быть умеренным. Профессор Миронов ссылается на подсчеты одного исследователя: «В течение своего тысячелетнего существования русский народ потерял одними прогульными днями 137 лет» (Миронов, 2015b: 433). Особенности национальной ментальности были таковы, что богатство, успех, слава расценивались как искушение и грех. Если бы вся помещичья земля безвозмездно перешла к крестьянам, то эта контрфактическая ситуация «черного передела» закончилась бы дворцовым переворотом и гражданской войной.

Если верховная власть в течение веков адекватно и своевременно отвечала на вызовы времени, почему же она не смогла избежать революции и почему триколор сменился красным флагом? Поэт Георгий Иванов вопрошал в эмиграции:

Красный флаг или трехцветный?

Божья воля или рок?

Не ответит безответный

Предрассветный ветерок.

Ответить попытался Борис Николаевич Миронов. Он ссылается на теорему Томаса. Американский социолог Уильям Айзек Томас (1863–1947) утверждал: «Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям» (Миронов, 2014: 257). В течение десятилетий русское образованное общество культивировало утверждение: нравственная защита существующего строя совершенно недопустима, а вот культ революционной святости не подлежит никакому сомнению. Так и только так должен рассуждать всякий так называемый порядочный человек или же человек, желающий прослыть таковым. Что делать? На этот извечный русский вопрос образованное общество ответило без обиняков: всемерно разрушать империю, а не способствовать ее модернизации. Из-за принципиальной убежденности наиболее радикальной части образованного общества в невозможности какого бы то ни было прогресса при абсолютной монархии по определению исключался любой диалог между властью и гражданским обществом. Русская интеллигенция пореформенной поры отличалась имманентной оппозиционностью и постоянной психологической неудовлетворенностью тем, что есть. «Уровень жизни всех социальных слоев повышался, но потребности росли еще быстрее. Все социальные и профессиональные группы постоянно хотели больше того, что реально возможно было иметь при тогдашних экономических и финансовых ресурсах, низкой общей культуре населения и невысокой производительности труда. Это создавало беспрецедентную социальную напряженность в обществе, особенно в образованной ее части» (Миронов, 2015b: 739). И когда Российская империя столкнулась с неблагоприятными форс-мажорными обстоятельствами Первой мировой войны, общество не справилось с процессом перехода от традиции к модерну.

Наступила Русская Смута.

Литература

Миронов, 2013 – Миронов Б.Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015а – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015b – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Революционный..., 2015 – Революционный сдержите шаг? // Родина. 2015. Июль. С. 48–53.

- Mironov, 1985** – *Mironov, Boris*. The Russian Peasant Commune after the Reform of the 1860s // *Slavic Review*. 1985. Vol. 44, nr 3 (Fall). P. 438–467.
- Mironov, 1993** – *Mironov, Boris*. Bureaucratic or Self-Government: The Early Nineteenth Century Russian City // *Slavic Review*. 1993. Vol. 52, nr 2. Summer. P. 233–255.
- Mironov, 1999** – *Mironov, Boris*. New Approaches to Old Problems: The Well-Being of the Population of Russia from 1821 to 1910 as Measured by Physical Stature // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58, nr 1. Spring. P. 1–26.
- Mironov, 2000a** – *Mironov, Boris*. The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.
- Mironov, 2000b** – *Mironov, Boris*. The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.
- Mironov, 2012** – *Mironov, Boris*. The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.

References

- Mironov, 1985** – *Mironov, Boris*. The Russian Peasant Commune after the Reform of the 1860s // *Slavic Review*. 1985. Vol. 44, nr 3 (Fall), pp. 438–467.
- Mironov, 1993** – *Mironov, Boris*. Bureaucratic or Self-Government: The Early Nineteenth Century Russian City // *Slavic Review*. 1993. Vol. 52, nr 2. Summer, pp. 233–255.
- Mironov, 1999** – *Mironov, Boris*. New Approaches to Old Problems: The Well-Being of the Population of Russia from 1821 to 1910 as Measured by Physical Stature // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58, nr 1. Spring, pp. 1–26.
- Mironov, 2000a** – *Mironov, Boris*. The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.
- Mironov, 2000b** – *Mironov, Boris*. The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.
- Mironov, 2012** – *Mironov, Boris*. The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.
- Mironov, 2013** – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nравы v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].
- Mironov, 2014** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- Mironov, 2015a** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- Mironov, 2015b** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- Revolutsionnyi..., 2015** – Revolyutsionnyi sderzhite shag? [Keep a revolutionary step?] // *Rodina* [Motherland]. 2015. July, pp. 48–53.

УДК 93(47)

«Человеческая комедия» Бориса Миронова

Семен Аркадьевич Экштут^{a, *}

^a Институт всеобщей истории Российской академии наук, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу книги известного петербургского историка Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну». Автор приходит к выводу, что грандиозное научное исследование по своему итоговому результату и вкладу в

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: semenekshtut54@gmail.com (С.А. Экштут)

гуманитарные науки соизмеримо с трудом большого коллектива исследователей, многие годы совместно работающих по единому плану. В трех томах большого формата заключено около 3000 страниц, 383 статистические таблицы и 539 иллюстраций – графиков, документальными фотографий, репродукций известных и малоизвестных картин, гравюр, рисунков. Все это богатство обыгрывается в тексте и органически входит в систему авторских рассуждений. Монография заменяет собой несколько справочников или небольшую библиотечку тщательно подобранных книг по истории имперской России. Чтобы ее создать, автор в течение нескольких десятилетий изучал, осмысливал и творчески перерабатывал неподъемный для одного исследователя массив и архивных документов, и книг. Про этот труд не скажешь: непереваренные знания преграждают дорогу мудрости – все обоснованно, стройно и логично. Перед нами самая настоящая «Человеческая комедия» времен Российской империи. Отныне серьезное изучение ее истории будет немислимо без обращения к этой книге.

Ключевые слова: историография; модернизация; русская культура; Российская империя; уровень жизни; социальная мобильность; элита; крепостное право; закрепощение и раскрепощение; теорема Томаса.

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 995-1002, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

The True Beginning of Post-Soviet Historiography of the History of the Russian Empire

Sergey V. Kulikov^{a, *}

^a Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Abstract

The paper assesses the place of Boris Mironov's new, foundational monograph in post-Soviet historiography and the place of the author himself among the number of modern historians. Special attention is paid to the methodological features of the monograph and the creative style of the author, who is the first living Russian historian to liberate his research mentality from the atavism of the Marxist-Leninist paradigm. As a result, Mironov has managed to present the history of the Russian Empire in a new, optimistic perspective, to newly illuminate already well-known subjects, to rightly correct many stereotypes that still affect the perception of the period of the Empire, for both professional and amateur historians. However, according to S.V. Kulikov, Mironov participates in some historiographical stereotypes, in particular, the notion that the history of the Russian Empire begins with Peter the Great, although Baron B.E. Nolde validated another view – that in fact the history of Russia as an empire begins with the 1550s, i. e., from the reign of Ivan IV the Terrible. The article raises the issue of the methodology of comparing the Russian Empire with other European countries that also possessed colonies and, in this sense, were empires. Mironov, according to the existing historiographical tradition, often compares the Russian Empire as a whole (the metropolis plus the colony) with metropolises of the corresponding powers, without considering that their colonies, as in the case of Russia, were legally, politically, and economically a single whole. In this approach, the Russian Empire, in terms of its development, will forever be catching up with other European empires. However, when comparing the Russian Empire with the British and other empires (as a whole), the situation changes, and Russia appears not as a country that follows, but as one that surpasses other European countries, particularly with regard to the beginning of the 20th century – in the degree of prevalence among the population of different parts of the empires of political rights and freedoms, including electoral rights. In Kulikov's opinion, Mironov's new monograph will cause a great interest among wide circles of the representatives of all disciplines of the humanities and will be an outstanding event in Russian historiography of the 21st century.

Keywords: Russian Empire; post-Soviet historiography; scientific communities; political rights; the comparative-historical method; criteria for the comparison of empires; Marxist paradigm; multi-conception approach; elite theory; the British Empire; European empires; political rights; methodology and ideology.

Чтение последней работы Бориса Николаевича Миронова наводит на размышления по поводу как затронутых им тем, так и судеб отечественной историографии истории

* Corresponding author

E-mail addresses: sergeykulikov70@mail.ru (S.V. Kulikov)

Российской империи. Долгое время субъектами историографического процесса были личности отдельных историков, и наблюдалось это не только в доисторические времена, в эпоху «отца истории» Геродота, но и тогда, когда появляется история как наука в современном смысле слова. В Западной Европе это XVI в., в России – XVIII-й. Еще в XIX в. в России, да и на Западе, история как наука ассоциировалась именно с именами отдельных историков – достаточно вспомнить нашу классическую триаду: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и... иже с ними.

С усилением институционализации истории как науки, с развитием в ней научных школ, одновременно – с расширением охвата изучаемых тем и понятия «исторический источник» наступило неизбежное следствие всего этого – специализация истории, разветвление единого потока на десятки, сотни, тысячи ручьев, ручейков и струек. Это не означало, что роль личности в истории не только как процессе, но и как науке перестала быть актуальной, это означало прежде всего, что если научный синтез являлся возможным и в XX в., то в рамках не одной, а нескольких методологий, и историку, стремившемуся не затеряться в мелкотемье, оставалось выбрать одну из методологических схем. Обратной стороной подобного выбора было то, что историк оказывался заложником выбранной методологии, подгоняя под нее, подчас абсолютно неосознанно, живую фактуру исторических реалий, выпячивая то, что соответствовало данной схеме, и отсекая то, что ей противоречило. Эта ситуация усугублялась усилением, особенно в XX в., давления на академическую науку пресса государственной идеологии, что наблюдалось и в той или иной мере наблюдается до сих пор во всех странах, претендовавших или претендующих на роль великих научных держав.

Выход из описанной ситуации артикулировала наиболее внятно, но отнюдь не впервые школа «Анналов», осознавшая необходимость междисциплинарного похода, на базе которого стало возможным восстановление «разрушенной храмины» – возвращение через «тотальную историю» к большой истории и к историку как субъекту историографического процесса.

В СССР и постсоветской России наметившаяся всемирная тенденция до сих пор еще пробивает себе дорогу, поскольку оставшиеся в отечественной исторической науке от советского периода научные кланы, а не школы формировались, испытывая давление господствовавшей идеологии, а потому способствуют не столько передаче, сколько извращению традиций дореволюционных и зарубежных научных школ, будучи замешаны на имплицитно присутствующей приверженности «единственно верному учению», густо одобренной мотивацией не академического, а меркантильного характера. Неудивительно, что в современной отечественной историографии много историков, но нет Историков, много книг, но нет Книг, причем, естественно, не может быть и речи о создании культа конкретного Историка и его Книги – речь идет о необходимости большей персонификации историографического процесса, чего в постсоветской историографии с ее отказом от свободы творчества в пользу верности «учению» теперь уже не классиков марксизма-ленинизма, а главы того или иного клана до сих пор почти не наблюдается (Миронов, 2013).

Между тем новые научные направления создаются, сама наука как целое развивается преимущественно отдельными учеными, пусть и опирающимися на результаты деятельности всей совокупности своих предшественников и коллег. Более того, существование научных кланов – нормальное явление с точки зрения социологии науки, и к пагубным последствиям ведут не научные кланы, как таковые, а их засилье либо отсутствие равновесия между принципами кланового и индивидуального творчества.

Б.Н. Миронов и его последний трехтомный труд (Миронов, 2014; Миронов, 2015a; Миронов, 2015b), абсолютно свободный от марксистско-ленинских догм, является доказательством того, что постсоветская историческая наука способна освободиться от господства кланов, а значит – у нее есть не только великое настоящее, но и столь же великое будущее. На данный момент это есть тот Историк и та Книга, которые уже давно разыскивали современные российские исследователи и, следовательно, появились и в нужное время, и в нужном месте.

Достоинства трехтомника, не просто фундаментальной работы, но того, что можно без тени преувеличения назвать научным подвигом, очевидны для всякого, кто обратился или обратится к труду самого читаемого историка современной России. Одно из достоинств этого произведения заключается в том, что автор раскрывает перед читателем свою творческую лабораторию, не боясь представить себя как на ладони. Здесь необходимо отметить высокий

уровень методологической культуры Б.Н. Миронова, который, пожалуй, как мало кто из ныне здравствующих историков Российской империи владеет и в теоретическом, и в прикладном смысле инструментариум современных методологий.

Хорошо известно, что вся мировая литература вертится вокруг нескольких трафаретных сюжетов, и историческая наука в этом смысле мало отличается от литературы, используя несколько парадигм, рассмотренных автором в начале первого тома, хотя среди них почему-то блистательно отсутствует элитистская парадигма, даже как часть иной парадигмы.

Как и ранее, едва ли не самая сильная сторона Б.Н. Миронова-историка, проявившаяся на пространстве всего созданного им нарратива, но детерминированная его методологической индивидуальностью – сочетание традиционных методик исторического исследования и методик, подразумевающих работу с массовыми источниками. Конечно, нельзя «поверить алгеброй гармонию», но, раз уж история как наука становится на рельсы междисциплинарности и если в этом, точнее – в социологизации истории, заключается едва ли не главный залог ее дальнейшего развития, то при написании Big History без особого внимания к большим цифровым рядам обойтись, очевидно, невозможно.

Впрочем, вызывает вопрос декларируемая автором известная иерархизация уровней истории как науки, при которой так называемой событийной истории отводится последнее место. Между тем, несомненно, что событийная история присутствует и в плоскости истории больших периодов, опирающейся в конечном итоге на те самые «презренные» события, произошедшие в конкретное время, в конкретном месте и в конкретной последовательности. С другой стороны, выявление мега-тенденций возможно и в плоскости событийной истории, и дело здесь не в ее более «низкой» природе, а в уровне мастерства данного исследователя – кто-то из-за деревьев не видит леса, а кто-то и в капле росы видит отражение вселенной!

В конце концов, сам же Б.Н. Мионов подтверждает существование мегатенденций не только многочисленными таблицами, но и еще более многочисленными данными событийной истории, не говоря уже о тщательно подобранном визуальном ряде. Вероятно, уровни историописания с гносеологической и эпистемологической точек зрения равнозначны, что, собственно, и доказывается на каждой странице мироновского нарратива.

Грандиозный по своей фундаментальности трехтомник – настоящий научный прорыв, который расшатывает устои многих несостоятельных историографических традиций – прежде всего концепта о тотальном кризисе как итоге истории Российской империи и причине ее падения (см. также: [Мионов, 2012](#)). Тем заметнее дань, отдаваемая Б.Н. Мионовым некоторым историографическим традициям, достойным если не ниспровержения, то по крайней мере пересмотра – в частности, традиции, возводящей начало Российской империи к царствованию Петра I Великого, действительно формально провозгласившего свою державу империей. Однако еще в 1940-е гг. выдающийся российский ученый-гуманитарий, в том числе историк барон Б.Э. Нольде, находившийся в эмиграции, выдвинул и обосновал концепцию, согласно которой фактически, а не de-jure, история России как империи начинается не с Петра I, а с Ивана IV Грозного, присоединившего к Московскому царству в 1550-е гг. Астраханское и Казанское ханства и начавшего присоединять Урал (братья Строгоновы) и Сибирь (Ермак) ([Нольде, 2013](#)).

С Ивана IV прежде моноконфессиональная и моноэтническая Московия стала превращаться в поликонфессиональную и полиэтническую Россию – именно в многонациональную империю. Кстати, если встать на точку зрения Б.Э. Нольде, то окажется, что Русское государство, по данному аспекту, шло в ногу с тогдашними великими европейскими державами, которые во второй половине XVI в. усиленно присоединяли к себе заморские территории. Да, Россия и в это время, и в дальнейшем, вплоть до 1917 г., являлась континентальной империей, но данное обстоятельство, иногда искусственно раздуваемое историками, прежде всего зарубежными, ни в коей мере не делало менее полноценным уровень ее имперскости и уж никак не превращало ее в менее развитое государство.

Вообще, вопрос о степени развития Российской империи, особенно в начале XX в., находится в центре внимания Б.Н. Миронова и решается им исходя, в частности, из такого бесспорного критерия, как сравнение России с тогдашними европейскими государствами. Но тут возникает вопрос: а что с чем сравнивать?

Поставленный вопрос отнюдь не праздный, поскольку, отвечая на него, Б.Н. Миронов основывается на точке зрения, также достойной рецензии. Дело в том, что в начале XX в., да и ранее, заморские колонии европейских государств рассматривались как неотъемлемая часть территории данного государства. «Колонии, как бы широки ни были их права самоуправления, – писал самый авторитетный английский государствовед В. Энсон, чьи работы штудировала даже нынешняя королева Елизавета II, – составляют часть Британской империи и зависят от нее» (Энсон, 1914: 299). «Нидерландское королевство, – гласила ст. 1 его Основного закона 30 ноября 1887 г., – состоит из территории в Европе, равно как из колоний и владений в других частях света» (Современные конституции, 1905: 278). Согласно ст. 2 Португальской конституционной хартии 29 апреля 1826 г. «территорию Королевства Португальского и Альгарвского» составляли владения «в Европе», «в Западной Африке» и на ее «восточном берегу», а также «в Азии» (Современные конституции, 1905: 353).

Соответственно, и подданными европейских монархов являлись не только представители титульных наций, но и коренных народов колоний, а потому сами британцы, по крайней мере – британская правящая элита, рассматривали Острова в качестве части «Рах Britannica», «Большой Британии», Британской империи. То же самое было характерно и для правящих элит остальных европейских стран, имевших колонии. Но если это так, то насколько методологически корректно сравнивать Российскую империю, с точки зрения любых показателей, с островной Англией, а не с Британской империей в целом?

Как резко меняется привычная картина при ином ракурсе, видно на примере распространения в колониальных империях начала XX в. избирательного права, принадлежавшего только жителям метрополии. В порядке убывания к 1914 г. (Александров, 1937: 9, 11):

в Нидерландской империи избирательное право имела одна десятая всего населения империи,

в Британской империи – одна девятая,

в Португальской империи – две пятых,

во Французской империи – две пятых,

в Бельгийской империи – более половины,

в Германской империи – шесть седьмых,

в Датской империи – девять десятых,

в Итальянской империи – 95 %,

в Испанской империи – 97 %.

«Огромному большинству народов, населяющих нашу Империю, – писал Дж. Гобсон в конце XIX в., – мы не даровали действительных прав самоуправления, и не только не имеем серьезных намерений сделать это, но и не питаем серьезной уверенности в возможности сделать это. Из 360.000.000 британских подданных, живущих за пределами своей родины, не более 10.000.000, или, другими словами, всего лишь 1/37 часть, пользуется фактически самостоятельностью в вопросах законодательства и управления. Политические и гражданские свободы, поскольку они опираются друг на друга, для преобладающего большинства британских подданных просто не существуют» (Гобсон, 2010: 102).

«Меньше 5 % населения нашей Империи, – отмечал Дж. Гобсон далее, – обладают сколько-нибудь ценной частицей тех политических и гражданских свобод, которые составляют основу британской цивилизации. Кроме 10.000.000 британских подданных в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, очень незначительная часть их наделена правом самоуправления даже в области самых жизненных для нее вопросов» (Гобсон, 2010: 104). То же самое наблюдалось и в большинстве других европейских империй.

В отличие от европейских империй, в Российской империи избирательное право с 1905 г. имели практически все населявшие ее народы, и это было результатом сознательной политики правящей элиты во главе с Николаем II. Как известно, 18 февраля 1905 г. последовал императорский рескрипт министру внутренних дел А.Г. Булыгину, возвестивший о согласии царя на создание высшего представительного органа и поручивший разработку его проекта А.Г. Булыгину.

«В Высочайшем рескрипте, – докладывал А.Г. Булыгин Николаю II в мае 1905 г., – не содержится предубеждений о том, от каких именно местностей Империи надлежит призывать выборных от населения, но не предубеждено и каких-либо в этом отношении ограничений. Отсюда следует, что избрание членов Государственной думы должно быть произведено во всех местностях Империи, где развитие гражданственности и наличность зрелых

общественных сил возможность к тому открывают, дабы пользы и нужды всего населения имели у престола своих выразителей и начертание законов, по отношению к каждой местности, сообразовалось с порядком, в Высочайшем рескрипте возведенном. Возможно последовательное проведение этого начала представляется существенно необходимым, в виду разноплеменности и разнообразия местных особенностей Империи, влекущих за собою и разнообразие действующих в отдельных местностях законов и порядков, населению других местностей неизвестных. Мера эта должна получить и важное государственное значение в деле сближения многочисленных народностей, объединенных под сенью Русской державы, с коренным русским населением, и установления между ними более правильного взаимодействия. Устранение при этом условия какой-либо местности от участия в избрании членов Государственной думы, как не вызываемое государственной необходимостью, могло бы возбудить справедливое неудовольствие соответствующей части населения, а потому являлось бы мерою нецелесообразною и нарушающею возведенное Высочайшею властью начало» (Материалы..., 1905: 123–124).

Получается, что в данном случае Российская империя, сравнительно с европейскими империями, являла собой пример не догоняющего, а перегоняющего развития! Особенно, если принять во внимание, что только сейчас граждане стран Британского содружества наций имеют те же самые избирательные права, т. е. могут избирать и избираться в английский парламент, которые жители российских окраин и колоний получили еще 100 лет назад.

Конечно, на части территории Российской империи в начале XX в. действовало Положение 14 августа 1881 г. «О мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия», предусматривавшее два вида исключительного положения – усиленной и чрезвычайной охраны. Однако степень распространения этих мер зависела от уровня революционного движения, резко усилившегося в 1905–1907 гг.

В Указе 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» Николай II объявил о необходимости отмены Положения 1881 г., в 1905–1906 гг. подготовкой этого занималось образованное царем Особое совещание под председательством графа А.П. Игнатьева, благодаря чему в начале 1907 г. правительство П.А. Столыпина с согласия Николая II внесло во II Государственную думу законопроекты «О пересмотре исключительных законоположений» и «О неприкосновенности личности и жилища и тайны переписки». Эти законопроекты, не рассмотренные II Думой, правительство вносило затем в III Думу, откуда они перешли в IV Думу, в которой застряли до Февральской революции 1917 г. Следовательно, в данном случае, как и во многих других, народное представительство Российской империи выступало в роли тормоза реформаторского процесса.

Пока Дума «думала», правительство в 1907–1910 гг. смягчило или отменило исключительное положение в 130 местностях, а административной высылке, главному атрибуту Положения 1881 г., подвергло в 1908 г. 10 060 человек, а в 1909 г. – 1911, т. е. в 5 раз меньше (Столыпин, 1991: 263). В 1908 г. либеральный государствовед Б.А. Кистяковский признавал, что «даже в данный момент, при крайне ненормальных условиях переходного состояния, все-таки заметна принципиальная перемена, происшедшая в правовом положении русских граждан; теперь даже в местностях, объявленных на положении усиленной и чрезвычайной охраны, русские граждане пользуются большими правами и свободой, чем они пользовались до 1905 г.» (Кистяковский, 1998: 570). Наконец, не дождавшись окончания работы IV Думы, Николай II Указом от 27 августа 1913 г. отменил исключительные законоположения, причем режим чрезвычайной охраны сохранялся только в Ялте и Ялтинском уезде, а усиленная охрана – в столицах и столичных губерниях, Одессе, Николаеве, Ростове-на-Дону и некоторых других промышленных городах. Остальная территория Российской империи подчинялась «правилам для местностей, не объявленных на исключительном положении» (Дякин, 1988: 158). Как же обстояло дело с распространением нормального порядка управления в других империях?

В порядке убывания к 1914 г. (Александров, 1937: 9, 11):

в Британской империи нормальный порядок управления распространялся на одну сотую территории империи,
в Бельгийской империи – на одну семьдесят седьмую,
в Датской империи – на одну пятидесятую,
в Нидерландской империи – на одну пятидесятую,

в Португальской империи – на одну двадцать пятую,
 во Французской империи – на одну двадцать вторую,
 в Итальянской империи – на одну восьмую,
 в Германской империи – на одну седьмую,
 в Испанской империи – на одну седьмую.

По мнению Дж. Гобсона, «новый империализм увеличил площадь британского деспотизма и далеко не достиг такого же успеха в деле культурного развития народов и практического осуществления истинной демократической свободы, которой пользуются лишь немногие колонии. Он ничего не сделал для насаждения британской свободы и для пропаганды наших принципов управления. Те страны и народы, которые мы аннексировали, управляются нами, поскольку они вообще управляются, явно автократическими методами, диктуемыми, главным образом, из Даунинг-Стрит, а частью из центров нашего колониального управления в тех случаях, когда нам удалось аннексировать независимые колонии» (Гобсон, 2010: 109–110).

Неудивительно, что в начале XX в. самая большая жемчужина в короне Британской империи – Индия – представляла собой «военную деспотию, в которой голос народа, хотя и не заглушаемый правителями, едва ли является конституционной силой» (Ольстон, 1905: 90). Следовательно, и здесь Российская империя не догоняла, а перегоняла европейских соседей!

Непреходящее значение трехтомника Б.Н. Миронова в том, что в нем, помимо прочего, автор обозначил актуальность использования компаративного подхода при оценке степени развития Российской империи на всех этапах ее истории. Б.Н. Миронов подвел итоги применению методов компаративного исследования в предыдущей историографии истории России, внес свой, самый весомый – по сравнению с предшественниками – вклад и в этой области и, что не менее важно, наметил захватывающие перспективы использования компаративного подхода как одного из наиболее объективных критериев оценки степени развития Российской империи не только в политической, но и в социальной, экономической, культурной и прочих сферах.

Действительно, одно сравнение применительно хотя бы к началу XX в. социумов или экономик Российской империи и, например, Британской или Нидерландской империй, а не Англии и Нидерландов даст поистине головокружительные результаты... В этом состоит, вероятно, главное достижение Б.Н. Миронова как самого выдающегося российского историка современности: в своем последнем творении он ставит не точки, а многоточия и, чуждый околонучной мании величия, открытый для конструктивной дискуссии, приглашает идти по проложенной им дороге вслед за ним, вместе с ним, дальше него. Как говорится: «Feci quod potui, faciant meliora potentes».

Литература

Александров, 1937 – Александров Б.А. Колониальные владения империалистических государств. М.: Соцэкгиз, 1937. 224 с.

Гобсон, 2010 – Гобсон Дж. Империализм. М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 288 с.

Дякин, 1988 – Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг.: Разложение третьеиюньской системы. Л.: Наука, 1988. 228 с.

Кистяковский, 1998 – Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. 800 с.

Материалы..., 1905 – Материалы по учреждению Государственной думы. 1905 г. СПб., 1905. Вып. I. 160 с.

Миронов, 2012 – Миронов Б.Н. Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд., испр., доп. М.: Весь мир, 2012. 848 с.

Миронов, 2013 – Миронов Б.Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015a – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

Миронов, 2015b – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.

Нольде, 2013 – *Нольде Б.Э.* История формирования Российской империи. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2013. 848 с.

Ольстон, 1905 – *Ольстон Л.* Очерк современных конституций: Введение к изучению политической науки. М.: Изд. Ф.И. Булгакова, 1905. 96 с.

Современные конституции, 1905 – *Современные конституции.* Т. 1: Конституционные монархии. СПб.: Право, 1905. 596 с.

Столыпин, 1991 – *Столыпин П.А.* Нам нужна Великая Россия... Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911. М.: Молодая гвардия, 1991. 416 с.

Энсон, 1914 – *Энсон В.* Английская корона, ее конституционные законы и обычаи. СПб.: Юридический книжный магазин Н.В. Мартынова, 1914. 480 с.

References

Aleksandrov, 1937 – *Aleksandrov B.A.* Kolonial'nye vladeniya imperialisticheskikh gosudarstv [Colonial possessions of the Imperialist States]. Moscow: Sotsekgiz, 1937. 224 p. [in Russian].

Dyakin, 1988 – *Dyakin V.S.* Burzhuaziya, dvoryanstvo i tsarizm v 1911–1914 gg.: Razlozhenie tret'eiyun'skoi sistemy [Bourgeoisie, nobility and tsarism in 1911 to 1914: Decomposition on the Third of June system]. Leningrad: Nauka, 1988. 228 p. [in Russian].

Enson, 1914 – *Enson V.* Angliiskaya korona, ee konstitutsionnye zakony i obychai [The English crown, its constitutional laws and customs]. St. Petersburg: Yuridicheskii knizhnyi magazin N.V. Martynova, 1914. 480 p. [in Russian].

Gobson, 2010 – *Gobson Dzh.* Imperializm [Imperialism]. Moscow: LIBROKOM, 2010. 288 p. [in Russian].

Kistyakovskii, 1998 – *Kistyakovskii B.A.* Filosofiya i sotsiologiya prava [Philosophy and sociology of law]. St. Petersburg: Izdatel'stvo RKhGI [Publisher Russian Christian humanitarian Institute], 1998. 800 p. [in Russian].

Materialy..., 1905 – *Materialy po uchrezhdeniyu Gosudarstvennoi dumy. 1905 g.* [Materials for the establishment of the State Duma. 1905]. St. Petersburg, 1905. Vyp. I. 160 p. [in Russian].

Mironov, 2012 – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperiskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nravny v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Nol'de, 2013 – *Nol'de B.E.* Istoriya formirovaniya Rossiiskoi imperii [The history of the formation of the Russian Empire]. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2013. 848 p. [in Russian].

Ol'ston, 1905 – *Ol'ston L.* Oчерк sovremennykh konstitutsii: Vvedenie k izucheniyu politicheskoi nauki [Essay on the modern constitutions: Introduction to the study of political science]. Moscow: Izdanie F.I. Bulgakova, 1905. 96 p. [in Russian].

Sovremennye konstitutsii, 1905 – *Sovremennye konstitutsii.* Т. 1: Konstitutsionnye monarkhii [The modern Constitution. Vol. 1: Constitutional monarchy]. St. Petersburg: Pravo, 1905. 596 p. [in Russian].

Stolypin, 1991 – *Stolypin P.A.* Nam nuzhna Velikaya Rossiya...: Polnoe sobranie rechei v Gosudarstvennoi dume i Gosudarstvennom sovete. 1906–1911 [We need a Great Russia...: Complete collection of speeches in the State Duma and the State Council. 1906–1911]. Moscow: Molodaya gvardiya, 1991. 416 p. [in Russian].

УДК 94(47)

Истинное начало постсоветской историографии истории Российской империиСергей Викторович Куликов^{а, *}^а Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Российская Федерация

Аннотация. В статье оценивается место в постсоветской историографии новой фундаментальной монографии Б.Н. Миронова и его самого в ряду современных историков. Особое внимание уделяется методологическим особенностям монографии и творческого стиля автора, который является первым из ныне живущих отечественным историком, освободившим свое исследовательское сознание от атавизмов марксистско-ленинской парадигмы. В результате Миронову удалось представить историю Российской империи в новом, оптимистическом ракурсе, по-новому осветить уже известные сюжеты, обоснованно устранить многие стереотипы, до сих пор еще влияющие на восприятие периода империи как специалистами, так и непрофессиональными историками. Однако, по мнению С.В. Куликова, Миронов разделяет некоторые историографические стереотипы, в частности представление о том, что история Российской империи начинается с Петра I Великого, хотя еще барон Б.Э. Нольде обосновал иное представление: фактически история России как империи начинается с 1550-х гг., т. е. с правления Ивана IV Грозного. В статье поднимается вопрос о методологии сравнения Российской империи с другими европейскими странами, которые также владели колониями и в этом смысле являлись империями. Миронов, согласно существующей историографической традиции, чаще всего сравнивает Российскую империю как целое (метрополия плюс колонии) с метрополиями соответствующих держав, не учитывая, что их колонии, как и в случае с Россией, составляли юридически, политически и экономически одно целое. При таком подходе Российская империя по уровню своего развития всегда будет вечно догоняющей прочие европейские империи. Однако при сравнении Российской империи с Британской и прочими империями (как целым) ситуация меняется, и Россия оказывается страной не догоняющей, а перегоняющей другие европейские державы, в частности, применительно к началу XX в. – по степени распространенности среди населения различных частей империй политических прав и свобод, в том числе избирательного права. По мнению С.В. Куликова, новая монография Миронова вызовет огромный интерес у широких кругов представителей всех гуманитарных дисциплин и станет выдающимся событием в отечественной историографии XXI в.

Ключевые слова: Российская империя; постсоветская историография; научные кланы; политические права; сравнительно-исторический метод; критерии сравнения империй; марксистская парадигма; поликонцептуальный подход; теория элит; Британская империя; европейские империи; политические права; методология и идеология.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: sergeykulikov70@mail.ru (С.В. Куликов)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 1003-1052, 2016
Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

Do Russians Need Cliotherapy?

Boris N. Mironov^{a, b, *}

^a Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

^b Saint Petersburg State University, Russian Federation

Abstract

The author gives detailed answers to the comments made by all eighteen round table participants in the course of the discussions that unfolded around his book “The Russian Empire: From Tradition to Modernity”. A fundamental debate on many of the issues raised in the book is conducted in the article. Among them: methodology and technique, in particular, the use of a variety of research strategies, the application of comparative historical approach, interdisciplinarity, macro- and micro-analysis, the search for patterns, the role of concepts, and the relationship between empirical and analytical aspects in the study. Much attention is paid to the controversial aspects of ethnoconfessional policies, mentalité and historical psychology, the unresolved issues of serfdom and colonization, cultural capital and educational policies, as well as self-government and civil society. The discussion concerning the specifics of Russian modernization and the issue of myth making occupies an important place in the article, as does historical optimism and cliotherapy.

Keywords: civil society; historical psychology; cliotherapy; colonization; serfdom; cultural capital; mentalité; methodology and techniques; myth making; historical optimism; enlightened absolutism; the Russian empire; self-government; the specifics of Russian modernization; ethnoconfessional policy.

This research was supported by grant N 15-18-00119 from Russian Science Foundation.

Ведь это очень вредно – не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь.
Ведь так и заболеть можно (*Золушка*).
Как сладки критические замечания, исходящие из дружеских уст;
от них становится грустно, но они не причиняют боли (*Оноре де Бальзак*).

Начну с объяснения, почему книга посвящена студентам. Это сделано в знак благодарности за творческие стимулы, которые они дают мне своими вопросами, любознательностью и требовательностью. Молодость всегда права и потому всегда побеждает. Само нахождение в атмосфере даже не слишком продвинутых юных студентов повышает тонус, настроение, умственные и эмоциональные способности.

Аналогичным образом действует на меня и критика. Поэтому я с большим интересом познакомился с выступлениями участников круглого стола и попытаюсь ответить на все их замечания.

* Corresponding author

E-mail addresses: bmironov@mail.wplus.net (B.N. Mironov)

Ответ В. Г. Хоросу

Мне понравился анализ книги, сделанный В.Г. Хоросом, за свою объективность, принципиальность, академичность и глубокую вовлеченность в поиски адекватного объяснения извилистого пути российской истории. Считаю своим большим достижением, что он согласился с принципиальной идеей книги: «В истории имперской России XVIII – начала XX в. не было перманентного кризиса и обеднения трудящегося населения. Революции начала XX в. надо объяснять иными причинами. Этот тезис является несомненной заслугой историка».

Вместе с тем критик высказал ряд интересных замечаний. Мой исторический оптимизм, на его взгляд, «выглядит чрезмерным». Я преувеличил эффективность внутренней политики самодержавия в целом и «креативность» российского чиновничества; «переоценил степень политической демократизации в России в начале XX в.» и уровень развития самоуправления; недооценил те социальные и культурные проблемы российского общества, которые стимулировали революционные настроения; наконец, мои статистические выкладки, создающие у читателя впечатление перманентного роста основных экономических и социальных показателей, у других исследователей «выглядят иначе». Чтобы можно было говорить о том, что я что-то переоценил или недооценил, нужно знать, как в действительности было, представлять норму, стандарт, действительное значение явлений, процессов, о которых идет речь. Кто может сказать, что он все это знает?! На чем тогда основываются сомнения В.Г. Хороса? Не на фактах и расчетах, а главным образом на господствующих в литературе представлениях, на стереотипах, которые почти 100 лет создавались народнической, либеральной и марксистской историографией.

Предполагаю, что мои данные показались критику преувеличивающими достижения страны на фоне того негативного образа имперской России, который преобладал в советской историографии, когда она изображалась почти исключительно в черных красках: загнивала, разлагалась – «стена, да гнилая: ткни и развалится» (В.И. Ленин), народ бедствовал, бюрократия отличалась некомпетентностью, а правящий класс – алчностью и классовым эгоизмом. Но, как известно, большое видится на расстоянии. Давайте посмотрим на историю России периода империи с высоты орлиного полета.

Если в истории имперской России XVIII – начала XX в. «не было перманентного кризиса и обеднения трудящегося населения», как соглашается дискуссант, то разве это не огромное достижение верховной власти и ее правительства. А превратить бедную финансовым и культурным капиталом страну (в конце XVII в. 98 % населения были неграмотными, в 1797 г. – 96 %, а в 1897 г. – 76 %) (Миронов, 2015b: 488) в великую мировую державу в XVIII в. и удержать этот статус до 1914 г. – разве это не показатель креативности бюрократии и правящего класса?

С точки зрения политической демократизации после 1905 г. Россия находилась на средневропейском уровне. Она вошла в круг правовых государств: конституция и парламент, разделение властей и независимый суд стали неотъемлемыми институтами русской политической жизни, а правомерность управления – характерным качеством исполнительной власти. В современной зарубежной и отечественной историографии оценка Основных законов 1906 г. как настоящей конституции, а законодательных учреждений как настоящего парламента получила широкое признание.

Трехтомник содержит две большие главы общим объемом 512 страниц: «Община и самоуправление как доминирующие формы организации социальной жизни» (Миронов, 2015a: 133–344) и «Государственность и государство» (Миронов, 2015a: 345–646), где обстоятельно и подробно показано, что в течение всего периода империи жизнью населения на поселенческом уровне (города, посады, села и деревни), за исключением столиц и нескольких крупных городов, управляли органы сословного самоуправления на принципах демократии, руками и головами самого управляемого населения при самом поверхностном руководстве со стороны коронной бюрократии. У государства не было достаточно сильного бюрократического аппарата не только для того, чтобы взять непосредственно в свои руки управление повседневной жизнью людей, но даже для того, чтобы серьезно контролировать деятельность органов самоуправления. В 1646 г. в России насчитывалось всего лишь 1640 чиновников, при Петре I – 4550, в конце царствования Николая I – 122 тыс. – на 74 млн населения, проживавшего на территории в 20 млн км²!!! В 1914 г. число чиновников выросло в 2 раза – до 242 тыс., но и население выросло в 2,2 раза – до 166 млн. В 1646 г. на одного чиновника приходилось 4,3 тыс. жителей, в 1726 г. – 3,6 тыс., в 1857 г. – 603, в 1914 г.

– 684, в современной России, в 2010 г., – 142 (Миронов, 2015а: 431, 440). Как могла столь малочисленная бюрократия вмешиваться во все сферы повседневной жизни простых людей?!

По числу чиновников Россия постоянно отставала от западноевропейских стран. Самая бюрократическая, как считается, страна Европы, Франция, превосходила России по числу чиновников на 1000 жителей в середине XVII в. в 11 раз, 1800-е гг. – в 5 раз, в 1850-е гг. – в 4,8 раза, в 1910-е гг. – в 7,3 раза, в 2010 г. – лишь в 1,4 раза. По этому показателю в 1910-е гг. Россия уступала Великобритании в 5,4 раза, Германии – в 4 раза, Австро-Венгрии – в 3,3 раза. Как выразился Д.И. Менделеев, страна «недоуправлялась». По величине административного ресурса, по степени бюрократического присутствия в повседневной жизни населения Московскую Русь и имперскую Россию можно отнести к *минималистскому государству*. А для критика мой вывод о том, что в течение многих столетий самоуправление, основанное на настоящей демократии, являлось стержнем нашей повседневной жизни, «звучит, мягко говоря, странно». Не знаю, какие более значимые аргументы нужно привести, чтобы его переубедить.

Главная причина расхождений в статистических выкладках моих и других исследователей состоит в том, что в большинстве случаев историки используют единичные данные, которые выдаются за типичные, а я – массовые данные, которые действительно говорят о типичном. Во всех подобных случаях расхождения объясняются подменой типичного единичным и общего случайным. Однако наука давно открыла закон больших чисел, который утверждает: количественные закономерности, присущие *массовым общественным явлениям*, отчетливо проявляются лишь в достаточно большом числе наблюдений, так как закономерность проявляется и обнаруживается при массовых наблюдениях, а в единичных случаях (в отдельные годы, в отдельных приходах, селениях, семьях и т. п.) она может нарушаться и потому не обнаруживаться.

По мнению В.Г. Хороса, я преувеличил роль интеллигенции как субъекта революции, дал ей чрезмерно негативные характеристики и вместе с тем недооценил протестный импульс снизу, народный характер русской революции 1917 г. Мое изучение народных движений и работ исторических социологов и психологов привело меня к убеждению, что неграмотные и полутрамотные люди могут быть активными участниками, устроить бунт, но не могут организовать настоящую революцию – они нуждаются в руководстве сверху, в буквальном и переносном смысле. В «Российской империи...» этому вопросу посвящен большой подраздел «Психологические, социальные и политические последствия низкой грамотности» (Миронов, 2015b: 501–536). Оценивая роль стихийного протеста в революции 1917 г., я сделал вывод: «С точки зрения механизма революционного процесса в русской революции 1917 г. стихийность сочеталась с организацией». Это говорит о том, что я признаю важную роль народа в революционном движении (Миронов, 2012: 659).

Что касается негативных характеристик интеллигенции. У меня и в мыслях нет отрицать огромный вклад русской интеллигенции в культуру России и в революционное движение. Но мне кажется, что дискуссант идеализирует интеллигенцию. Я нахожусь под большим впечатлением и влиянием двух книг: «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (1909) и «Из глубины. Сборник статей о русской революции» (1918). Разделяю основные идеи авторов этих сборников, написанных известными русскими интеллигентами и интеллектуалами о самих себе, потому что мой исследовательский опыт это подтверждает.

По мнению В.Г. Хороса: «Несмотря на ряд интересных соображений о процессе модернизации в России, Миронов отождествляет российскую модернизацию с вестернизацией (“европеизацией”). Но сам же Миронов правомерно показывает различие европейских и российских цивилизационных ценностей. Их несоответствие и послужило одной из причин российской революции». Я вижу сходство между российской модернизацией и вестернизацией только в том смысле, что в России процесс модернизации подчинялся универсальным закономерностям и принципиально осуществлялся по одним и тем же механизмам, как и в других европейских странах. Отмечая общее, я постоянно отмечаю и своеобразные черты российской модернизации, чему посвящен большой подраздел «Россия и Европа: общее и особенное» (Миронов, 2015b: 603–648). Но эта специфика, на мой взгляд, не дает оснований для заключения, что Россия является особой цивилизацией и развивалась особым русским путем. Россия, западноевропейские и вообще все европейские страны развиваются по *близким, но не тождественным (!) траекториям*.

Вместе с тем допускаю, что я недооценил национальные особенности имперской модернизации, во всяком случае не уделил этому вопросу необходимого внимания. Проблема действительно нуждается в более обстоятельном анализе на основе сравнительно-исторических исследований.

Признаюсь, что с большой долей скептицизма отношусь к цивилизационному подходу. Его главный недостаток – в антиисторизме. По определению локальной цивилизации фундаментальные институты, выступающие в качестве ядра цивилизаций, неизменны. Но это возможно только в том случае, если они каким-то образом генетически закреплены в геноме представителей данной цивилизации. До сих пор наука подобного явления не обнаружила, и все рассуждения на этот счет вплоть до утверждения, что история предков записана в ДНК человека, а мозг людей хранит информацию (информацию в буквальном смысле) прошлых эпох с момента появления человека разумного, носят спекулятивный характер. Факты говорят о том, что передача культуры от поколения к поколению происходит исключительно в ходе социализации – процессе усвоения индивидом «правил игр», принятых в данном обществе, социально одобряемых норм, ценностей, моделей поведения, которые генетически не закрепляются. Следовательно, и элементы культуры могут передаваться от поколения к поколению только в результате социализации и, значит, могут со временем, при изменении условий существования носителей культуры данной цивилизации, вытесняться или трансформироваться в другие.

Ответ Л. Н. Мазур

В статье обстоятельно подвергнуты анализу методологические подходы моей работы. Критик сравнивает аналитическое историческое исследование (на моем примере) с эмпирическим, находит между ними различия, оценивает плюсы и минусы того и другого. По аналогии с социальными науками можно сказать, что эмпирическое исследование выполняется по описательной, или дескриптивной, стратегии, а аналитическое – по аналитико-экспериментальной стратегии (Ядов, 2003).

По мнению Л.Н. Мазур, различия между двумя типами исследования начинаются с использования источников. Эмпирическое опирается на новые, преимущественно архивные источники, впервые вводимые в научный оборот, а аналитическое исследование – на опубликованные и уже введенные в научный оборот, а значит критически осмысленные источники, и научную литературу. Она считает, что выводы моего исследования «основаны преимущественно на изучении опубликованных исторических источников и научной литературы», которая используется не только для показа сложившихся в науке подходов к изучению рассматриваемых проблем, но и «для формирования информационной базы исследования». Это так и не так.

Большая часть из используемых мною опубликованных источников действительно были когда-то напечатаны, но, как отмечает дискуссантка, не были критически осмыслены, требовали оценки на точность и достоверность, что пришлось сделать мне, и в этом отношении не соответствовали их идентификации как вторичных. Но самое главное, я решился на ревизию традиционных представлений только после того, как проверил свои гипотезы на источниках первого уровня. Принципиальные выводы получены мною на основе анализа архивных материалов или опубликованных необработанных данных. Я нашел, обработал, рассчитал и ввел в научный оборот массу новых статистических данных, которые позволили переоценить стереотипные представления об имперской России. Построенные мною динамические ряды касались важных сфер общественной жизни, охватывали имперский период и всю Европейскую Россию: цены, заработная плата рабочих, жалованье чиновников и офицеров, доходы духовенства, грамотность населения, численность бюрократии, рост (длина тела) мужского населения, экспорт русского хлеба, уровень урбанизации, социальный состав, а также брачность, рождаемость, смертность и естественный прирост населения. Для XIX – начала XX в. оценена динамика преступности, массы тела населения, посещения исповеди и причастия во время Великого поста. А для пореформенной России рассчитал такие важные показатели, как индекс человеческого развития, децильный коэффициент неравенства, годовой бюджет времени крестьянина-работника и лаг в уровне развития между Россией и великими державами к 1913 г. Именно эти данные позволили оценить направление и степень изменений в стране. Создание таких баз сведений, которые в информатике называют «большими данными», потребовало огромных многолетних усилий и работы в архивах с источниками. В «Российской

империи...» во многих случаях эти данные, введенные мною в научный оборот ранее, приведены в обобщенном виде и использованы в анализе.

Например, для оценки реальной динамики различных показателей мне нужны были данные о ценах. Я нашел эти данные главным образом в архивах и в периодике и впервые построил индекс потребительских цен в России за XVIII – начало XX в., что позволило мне решить вопрос о динамике уровня жизни в России в период империи. Впервые в историографии в массовом порядке (сплошняком и погодно) были обработаны архивные метрические и исповедные ведомости XVIII–XIX вв. по уездам и губерниям России, на основе которых была дана характеристика демографических процессов среди городского и сельского населения и оценен уровень урбанизации. Ввиду спорности традиционных показателей об уровне жизни мне пришлось обратиться к антропометрическим данным. Для этого я собрал 306 тыс. индивидуальных и около 11,7 млн суммарных данных о росте, весе и других антропометрических показателях мужского и женского населения из девяти архивов России. Именно эти новые данные, которые никогда не использовались прежде, и обнаружили перманентное улучшение основных экономических и социальных показателей, о котором я и сам прежде не догадывался. Конечно, в «Российской империи...» эти и многие другие данные выглядят вторичными – и здесь критик права, но по сути они первичны.

В качестве особенностей моего исследовательского стиля Л.Н. Мазур отметила: 1) аналитизм – подход к научному исследованию, который опирается на *методы типологии, моделирования, факторного, причинно-следственного и динамического анализа*; 2) обобщающий характер с упором на изучении не событий, а процессных явлений в их комплексе и взаимосвязи; 3) ярко выраженная методико-методологическая рефлексия; 4) концептуализм (синтез эмпиризма и рационализма); акцент на выделении общих трендов, закономерностей и качественных состояний/оценок. Не отмечена принципиальная *междисциплинарность* моего подхода, которая, вообще говоря, в значительной степени и объясняет отмеченные особенности исследовательского стиля. Со студенческих лет я работаю в тесном контакте с социологией, экономической наукой, психологией, культурологией, политологией, географией и математической статистикой, где теория уважается даже в описательном исследовании, в аналитической же работе теория, обобщение, поиск закономерностей и тенденций просто обязательны, а экспериментально-аналитическая стратегия очень ценится.

Как справедливо предполагает Л.Н. Мазур, «сторонник эмпирической истории будет испытывать нехватку описательности, событийного нарратива». Действительно, далеко не всем коллегам импонирует такая манера исследования. Например, на заседании Ученого совета СПбИ РАН от 27 января 2015 г., посвященном рекомендации «Российской империи...» к печати, член совета М.Б. Свердлов выступил против утверждения книги к печати на том основании, что, по его мнению, монография – не историческое сочинение, поскольку по методологии и предмету моих штудий я не историк. Подобные заявления время от времени слышатся и в отношении других историков, работающих в аналитическом и междисциплинарном ключе. Критик совершенно верно заметила, что «осознавая этот запрос», я «стремлюсь выполнить его за счет соблюдения правила “триединства”, т. е. сочетания текста, статистики и иллюстраций». Добавлю, что кроме внешнего запроса я хотел реализовать и свою собственную глубокую потребность найти конкретно-образное, эмпирическое проявление и воплощение абстрактных отвлеченных понятий, мыслей, идей и цифр, так как это увеличивает мою внутреннюю уверенность в их правдоподобности.

По-видимому, дискуссант думает, что я излишне противопоставляю аналитизм и эмпиризм и переоцениваю первый в ущерб второму – потому, вероятно, и статья ее названа «Аналитизм против эмпиризма». Одним из оснований для такого вывода послужило отнесение мною конкретно-исторических исследований к «*поверхностному*» уровню событийной истории, подчеркивая при этом, что «при изучении коротких периодов затруднительно, если невозможно, разглядеть долговременные изменения и тенденции» (Миронов, 2014: 27). Как известно, слово «поверхностный» имеет два значения: а) верхний слой, то, что лежит на поверхности; б) малозначимый, несерьезный, несущественный. Однако я употребил слово исключительно в первом смысле, так как отношусь к фактам, лежащим на поверхности, с большим уважением и интересом. Более того, я испытываю аллергию к спекулятивным, оторванным от эмпирии рассуждениям. Мне нравятся факты, особенно такие, которые позволяют увидеть в единичном типичное, в случайном – закономерное, в частном – общее. Поскольку Людмила Николаевна не одинока в своем

впечатлении, что аналитическое исследование я ставлю выше эмпирического, то прошу прощения за неточность выражения своей мысли. Разделяю мнение, что обе стратегии равноценны, если исследования выполнены на высоком научном уровне, что серьезный глубокий аналитизм основывается на эмпиризме, а обобщения имеют цену только тогда, когда основываются на фактах.

Для меня очень важно, что критик поддержала мое стремление использовать «интегральный» (неоклассический) подход и правильно его трактовала – недостаточностью объяснительного потенциала теории модернизации для интерпретации всех явлений. Она метко назвала такой подход «десакрализацией теоретического знания», т. е. переводом его в «разряд инструментальных практик». Да, историк должен быть всеядным и в отношении эмпирии, и в отношении концепций, так как «цветы растут из всякого сора».

Согласен с дискуссантом также и в том, что методологический плюрализм имеет свои плюсы и минусы. К его потенциальным недостаткам она относит: а) незавершенность объяснительного акта; б) механическое смешение понятий, заимствованных из разных теорий, затрудняющих объяснение и понимание. Она находит проявления этого и в «Российской истории...». Первый пример относится к анализу процесса модернизации российской семьи. По мнению критика, я «ухожу от ожидаемого уточнения понятий “традиционная” и “современная” семья, подменяя их характеристикой “патриархальной” и “демократической” семьи: типология остается незавершенной». Действительно, в большой главе, посвященной семье, нет определений «традиционная семья» и «современная семья», однако не потому, что ухожу от ответа и не по причине методологического плюрализма. Причина в том, что в любой системе координат – исторической, социологической или психологической – простых определений традиционной и современной семьи наподобие «равнобедренный треугольник – треугольник у которого равны две стороны» дать практически невозможно из-за сложности объекта. Например, определения «традиционная семья – составная, авторитарная, патриархальная», «современная семья – малая, демократическая» весьма приблизительно отражают важнейшие черты традиционной и современной семьи. Не случайно в обширной литературе о семье искомым определениям тоже нет. Дело сводится к перечислению основных признаков, или критериев, той и другой. Вместо определений на своих лекциях я привожу студентам следующую таблицу – исключительно ради наглядности и удобства запоминания (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики традиционной и современной семьи

Основные признаки	Традиционная семья	Современная семья
Тип семьи	Составная: три поколения, две и более брачных пары и часто родственники	Малая (нуклеарная): два поколения, супруги с неженатыми детьми
Принцип организации	Союз преимущественно родственный; родственные отношения имеют приоритет над супружескими; перевес ценности родства над максимизацией выгод семьи и индивида	Союз преимущественно супружеский; первенство семейных и индивидуальных целей над родственными; максимизация выгод членов семьи
Семья – личность – общество (коллектив)	Находится под жесткой опекой коллектива, индивиды – под жестким контролем семьи; коллективизм: общее имущество, совместный труд, стол, отдых; общие интересы семьи главенствуют над индивидуальными интересами ее членов	Автономия семьи в обществе, личности в семье; интересы супругов и детей индивидуальны и разнообразнее семейных; потребности и круг общения выходят за рамки семьи; общие и индивидуальные интересы отдельных членов находятся в гармонии
Семья и церковь	Сакрализация семьи и брака	Десакрализация семьи и брака

Функции семьи	Основные функции: 1) регулирование сексуальной деятельности; 2) репродуктивная; 3) первичная социализация детей; 4) первичный социальный контроль; 5) определение и передача социального статуса и родства; 6) коммуникативная; 7) обеспечение взаимной эмоциональной поддержки; 8) хозяйственно-экономическая; 9) рекреативная; 10) поддержание социального благополучия и взаимопомощь	Функции семьи те же, но значения отдельных функций изменились
Хозяйственная деятельность	Вмонтирована в производственный процесс; является местом производства и подчиняется его требованиям; производственная функция – доминирующая	Освобождена от производственной функции; исключительно потребляющая единица
Основные ценности	Приоритет ценностей выживания, коллективизма и родства	Приоритет ценностей комфорта, удовольствий, экономической выгоды и эффективности
Передача социального статуса	Определяет и передает социальный статус и родство: дети наследуют статус и профессию родителей	Не предопределяет социальный статус, который достигается личными талантами и усилиями
Распределение власти	Власть у главы семьи – деда, отца, мужа	Власть принадлежит всем; в принятии решений участвуют все члены семьи, включая детей; глава семьи ситуативно
Тип внутрисемейных отношений	Авторитарно-патриархальные отношения; гендерное и возрастное неравенство; приниженное положение женщин и детей	Демократические отношения; власть принадлежит всем; в принятии решений участвуют все члены семьи, включая детей
Характер внутрисемейных отношений	Покоятся на неравенстве, иерархии и господстве; статусы у членов семьи разные	Партнерские, отличаются сердечностью и взаимным уважением
Интимная жизнь и цензура нравов	Сфера частной, интимной, личной жизни сужена и ограничена; строгая цензура нравов и сексуальных отношений в особенности	Сфера частной, интимной, личной жизни широка и ничем не ограничена; важное место эмоционально-эротической сферы; свобода нравов и сексуальных отношений
Распределение ролей	Разделение труда на основе половозрастных признаков; строгое разделение мужских, женских и детских обязанностей	Семейные обязанности распределяются равномерно и справедливо по взаимному согласию; дети освобождены от обязательного труда
Роль женщины	Ведение домашнего хозяйства, уход за мужем и детьми; полная зависимость от мужа	Вовлечена в общественное производство; имеет материальную независимость
Ценность брака	Супервысокая; культура всеобщих браков (вне брака остаются практически только инвалиды); осуждение внебрачного состояния; влияние брачного состояния на статус человека	Высокая; значительная доля людей не вступают в брак и не имеют детей; равноценность различных брачных состояний (холостых, женатых, вдовых, разведенных)
Ценность детей	Супервысокая; дети – необходимость из-за отсутствия государственного социального обеспечения	Высокая; значительная доля людей не имеют детей
Количество детей	Культура многодетности с жестким табу на предупреждение и прерывание беременности; осуждение бездетного состояния; в среднем три-четыре и больше детей на один брак	Культура малодетности с индивидуальным вмешательством в репродуктивный цикл и планированием числа детей; в среднем один, два ребенка на брак
Брачный возраст	Культура ранних браков	Культура свободных браков, но средний возраст вступления в брак повышается по причине удлинения времени социализации
Заключение брака и выбор партнера	Браки по расчету устраивались родителями; закрытая система выбора супруга на основе предписаний родства и традиций	Браки по любви и по инициативе молодых; открытая система выбора супруга на основе личностных склонностей
Разводы	Редкие, разрешаемые церковью на небольшом числе оснований	Частые, беспрепятственные и на любом основании

Перечисленные в таблице черты я взял прямо из главы о семье (Миронов, 2014: 645–785), и, на мой взгляд, это мало что добавляет к сказанному и не является определением традиционной и современной семьи. Будет интересно, если Л.Н. Мазур предложит краткие и емкие определения.

«Аналогичная ситуация складывается в главе 5, – пишет критик, – объектом которой выступают процессы модернизации города и деревни. Б.Н. Миронов отмечает, что “нет ясности относительно уровня урбанизации России” (Миронов, 2014: 517), поскольку нет возможности оценить ни количество городского населения, ни городов. Видимо, в силу этого автор не обращается к базовым проблемам истории урбанизации, в частности выделения ее стадий, связанных с переходом от аграрного/традиционного к индустриальному и интегрированному расселению; уточнению исторических критериев и содержания понятия. *Все внимание в главе сосредоточено на вопросах, по большей части второстепенных – типологии российского города XVII–XIX вв., механизмах его взаимодействия с сельской местностью (дифференциация-интеграция)*» (курсив мой. – Б. М.).

Даже если согласиться со сказанным, я не вижу здесь влияния методологического плюрализма. Однако в данном случае дискуссионка ошибается, что, конечно, более чем извинительно по причине большого объема книги. Говоря о недостатках моего анализа процесса урбанизации, она ссылается на отрывок (Миронов, 2014: 517), где речь идет об актуальных проблемах исторической демографии, среди которых называется недостаточная изученность урбанизации. Однако в главе, непосредственно ей посвященной, проанализировано не только то, что Л.Н. Мазур считает важным, но и многие другие интересные процессы, которые она по недоразумению считает второстепенными. В частности, оценены уровень урбанизации, ее динамика и периодизация, выделяются стадии, связанные с переходом от аграрной к индустриальной экономике, дан анализ такому явлению, как рассеянная урбанизация. В специальном подразделе выявлено, как изменялось число городов и их структура по величине населения, проведен анализ отраслевой структуры занятости городского населения и на этой основе города классифицированы по их функциям (военно-административные, аграрные, торговые, промышленные, смешанные) и по уровню развития. Изменению социального состава городского населения и социальной мобильности посвящен другой подраздел главы. В результате получены новые и принципиально важные выводы.

1. В течение четырех столетий, XVII–XX вв., российский город испытал разительные изменения. С точки зрения различий между городом и деревней можно выделить четыре периода: а) до середины XVII в.: город и деревня не были отделены друг от друга, а представляли как бы единое административное, социальное, экономическое и культурное пространство; б) середина XVII в. – 1775–1785 гг.: происходило отделение города от деревни во всех аспектах; в) 1785–1860-е гг.: город отделился от деревни экономически, и их дифференциация во всех отношениях достигла своего апогея; г) 1860-е – 1917 г.: дифференциация города и деревни сменилась процессом их интеграции.

2. В России XVIII – первой половине XIX в. наблюдалась *деурбанизация* – процент наличного городского православного населения с 1740-х по 1860-е гг. снизился с 13 до 9. Причины: низкий естественный прирост городского населения сравнительно с сельским (вследствие более высокой смертности в городе) и слабая миграция крестьянства в города (в силу крепостного права и низкого спроса города на рабочие руки). Лишь в пореформенный период доля городского населения стала систематически расти и к 1914 г. достигла 15,3 %.

3. В распределение городских поселений по числу жителей (большие – более 100 тыс. жителей, средние – от 20 до 100 тыс., малые – менее 20 тыс.) произошли существенные перемены. В последней четверти XVII в. в России был один средний город – Москва, все остальные были малыми, так как имели менее 15 тыс. жителей. С конца XVII в. малые города с населением до 2 тыс. жителей, а с середины XIX в. с населением менее 5 тыс. жителей либо становились средними, либо вымирали, превращаясь в села. Во второй половине XIX – начале XX в. процесс трансформации городов продолжался с еще большей интенсивностью. Малые города доживали свой век. К 1917 г. в России насчитывалось 22 больших города, а число жителей в Петербурге и Москве превысило 1 млн. Доля населения, проживавшего в больших городах, за 1722–1910 гг. возросла с 0 до 40 %, в средних городах – с 2 до 37 %, в малых городах, наоборот, сократилась с 98 до 23 %.

4. Сравнение структуры занятости городского населения на 1760-е, 1790-е, 1850-е и 1897 гг. показало, что функциональная структура городов претерпела радикальные изменения: в 1760-е гг. 4,6 % городов являлись административно-военными, 59 % – аграрными и лишь 5,9 % – торговыми (2,3 %) и промышленными (3,6 %). К концу XIX в. «чисто» административно-военных, аграрных, торговых и промышленных городов осталось лишь 10,8 %. Зато число городов смешанного типа (в которых население распределялось более или менее равномерно между разными сферами занятости) возросло как абсолютно, так и относительно – с 20 до 89 %.

5. Города принято также классифицировать на доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные. Города XVIII в. были преимущественно доиндустриальными, в первой половине XIX в. – преиндустриальными, или протоиндустриальными, а на рубеже XIX–XX вв. – индустриальными. В конце XIX в. одновременно сосуществовали умирающие доиндустриальные города, бурно развивающиеся индустриальные и зарождающиеся постиндустриальные города.

6. Социальный состав городского наличного населения изменялся. Доля дворян увеличивалась с 2,6 % в 1744 г. до 6,6 % в 1897 г., доля духовенства сократилась соответственно с 2,4 до 1,2 %, доля разных мелких социальных групп (разночинцев и др.) – с 13 до 2,3 %, доля военных находилась на уровне 10–12 %. Наибольший интерес представляют изменения в численности крестьян и городского сословия (мещан, купцов, ремесленников и др.). В наличном населении доля крестьян увеличивалась с 32 % в 1744 г. до 45 % в 1897 г., а доля городского сословия – с 40 до 44 %. К началу XX в. крестьяне в составе наличного городского населения стали самой многочисленной социальной группой в городе.

7. Несмотря на сословный характер общества, в городе наблюдался довольно высокий уровень вертикальной социальной мобильности, в которую были вовлечены все сословия, и мобильность со временем росла. Самым открытым на входе в сословие являлось дворянство, а самым закрытым – духовенство, а на выходе из сословия, наоборот – самым закрытым было дворянство, а открытым – духовенство.

8. Существенная перестройка городов по числу жителей и по занятиям имела следствием столь же радикальные перемены в характере труда, в образе жизни городского населения, в значении городов в жизни страны.

Есть серьезная причина, почему я так подробно остановился на проблемах урбанизации. Сделанные выводы опираются не на спекуляции, а на массовые источники всероссийского масштаба преимущественно архивного происхождения и радикально изменяют господствующие в историографии представления об урбанизации в период империи. По сути это полная ревизия априорно сложившихся в историографии взглядов на урбанизацию, согласно которым русские города со времен Древней Руси являлись преимущественно торгово-промышленными центрами, а доля городского населения в стране систематически повышалась. Но, несмотря на их радикализм и эмпирическую основательность, мои выводы остались мало замеченными в историографии, хотя впервые были опубликованы в 1990 г. (Миронов, 1990). В «Социальной истории...» и вот теперь в «Российской империи...» я их дополнительно обосновал, расширил период анализа до советского периода включительно, и вновь критик их не заметил и не оценил. Причем критик компетентный – ее перу принадлежат две монографии, посвященные близкой теме о сельской урбанизации и ее последствиях (Мазур, 2012; Мазур, Бродская, 2006).

Еще один пример «издержек» использования методологического плюрализма, на который указал дискуссант, относится к анализу социальной структуры. На этом замечании мне придется также подробно остановиться, потому что в советской историографии социальная структура по-марксистски элементарно изучалась (богатые – бедные, эксплуататоры – эксплуатируемые), и эта традиция до сих пор здравствует в постсоветской историографии.

«Основной итог эволюции социальной структуры изложен в схеме социальной стратификации российского общества начала XX века, в которой в качестве классов выделены высший, средний, «синие воротнички» и низший (социальное дно). Данная классификация используется в зарубежной социологии и опирается в своей основе на показатели дохода» (Миронов, 2014: 463–464) (табл. 2).

Таблица 2. Социальная стратификация российского общества начала XX в.

Классы	Страты	Профессиональные группы	Сословные группы	Доля в населении, %
Высший	Верхняя	Военные и гражданские чины I–II классов, церковные иерархи, богатейшие землевладельцы и предприниматели	Высшее титулованное дворянство, черное духовенство	1,0
	Нижняя	Военные и гражданские чины III–IV классов, богатые землевладельцы и предприниматели	Столбовое дворянство, потомственные почетные граждане, купцы I гильдии	0,3
Средний	Верхний	Чиновники V–VIII классов, городские священники, средние предприниматели, средние землевладельцы (помещики), известные люди свободных профессий, профессора	Потомственное и личное дворянство, почетные граждане, купцы II гильдии, личные дворяне, белое духовенство, разночинцы	1,0
	Средний	Военные и гражданские чины IX–XII классов, городские священники, свободные профессии, преподаватели высшей школы и гимназий, мелкие землевладельцы (помещики)	Потомственное и личное дворянство, духовенство, почетные граждане, разночинцы	1,0–2,0
	Нижний	Военные и гражданские чины XIII–XIV классов, сельские священники, дьяконы, учителя начальной школы и другие лица умственного труда средней квалификации, мелкая сельская («кулаки», «отрубники») и городская буржуазия	Личные дворяне, духовенство, зажиточные мещане, цеховые, зажиточные крестьяне	12,0–16,0
Рабочий	Верхний	Канцеляристы, церковнослужители, земледельцы, рабочая аристократия, белые воротнички	Крестьяне (середняки), мещане, цеховые	50,0–53,0
	Нижний	Земледельцы, рабочие, лица наемного труда	Крестьяне (бедняки), бедные мещане и цеховые	30,0–32,0
Низший, или социальное дно		Люмпены (бездомные, заключенные, нищие, бродяги, странники, богомольцы) и очень бедные	Представители всех сословий	1,0

«Насколько такая схема исторична? Вряд ли кто из рабочих конца XIX в. идентифицировал себя как «синий воротничок». Общественному сознанию начала XX в. была ближе марксистская теория классов, и антагонизм пролетариата и буржуазии воспринимался обществом того времени как социальная реальность. <...> Предложенная Б.Н. Мироновым схема классов весьма любопытна, но представляет собой теоретическую конструкцию, эпистемологический смысл которой для понимания структуры поздней имперской России не вполне очевиден». Из сказанного следует, что использование социологической матрицы понятий для характеристики социальной структуры российского общества усложняет и «запутывает картину». Давайте разберемся.

Классификация (высший, средний, «синие воротнички» и низший) используется не только в зарубежной социологии, но и весьма широко в отечественной, в настоящий момент это, можно сказать, нормативная концепция, и она опирается не только на показатели дохода (даже в своей основе). Классы *конструируются* на основании многомерного анализа и организуются в иерархический порядок в соответствии с (1) престижем, (2) властью, (3) материальным положением, (4) образованием, знанием, интеллектом, (5) религиозно-этнической принадлежностью, (6) происхождением, (7) стилем жизни.

В марксистской стратификации общества единственным и главным критерием является обладание собственностью. Поэтому социальная структура общества сводилась к двум классам: классу собственников на средства производства (рабовладельцы, феодалы, буржуазия) и классу, лишенному собственности на средства производства (рабы, крепостные, пролетарии). Интеллигенция и некоторые социальные группы рассматривались как промежуточные слои между классами. Жесткая бинарная схема элементарна и несостоятельна. Например, в начале XX в. в России в *класс буржуазии* попадают люди богатые, средние и даже бедные по материальному достатку, образованные и неграмотные, с разным стилем жизни – купцы всех гильдий, почетные граждане, мещане и ремесленники, если они эксплуатируют наемных рабочих, богатые дворяне-землевладельцы и мелкие земельные собственники, включая крестьян, с наемным трудом. *Класс рабочих* был также пестрым – там были крестьяне, мещане, купцы, солдаты, лица

духовного звания и даже деклассированные дворяне, неквалифицированные, квалифицированные наемные работники и рабочая аристократия (Миронов, 2014: 416), отличавшиеся доходом, стилем жизни, образованием. Многие «рабочие», в особенности занятые в сфере услуг (слуги, приказчики, дворники, извозчики, портные, сапожники, продавцы, проститутки, артисты и т. д.), представляли специфические социальные группы, отличавшиеся от промышленных рабочих по доходу, образу жизни, образованию и менталитету; некоторые из них занимались в большей или меньшей мере умственным трудом и не идентифицировали себя с рабочими. «Рабочие» не успели стать истинным классом; они идентифицировали себя не с пролетариями как специфической социальной группой, а с различными сословными группами (крестьянами, мещанами, ремесленниками и т. п.), являясь по сути полисословной социальной группой, объединяемой только профессиональными интересами. Марксистскую теорию классов знали и разделяли образованные люди социалистической ориентации, т. е. очень немногие, а среди рабочих – профессиональные революционеры. Концепция не имела сколько-нибудь широкого распространения.

Между тем в советской историографии нормативным считалось, что капиталистическая социальная структура сложилась в 1880-е гг., в постсоветской время формирования сдвинулось к началу XX в., но трактовка самого процесса классовобразования остается по сути марксистской. Я полагаю, что в течение всего пореформенного периода сословная структура трансформировалась в классовую, но процесс далеко не завершился даже к 1917 г. В «Российской империи...» довольно много уделено социологическим концепциям стратификации именно ради того, чтобы читатели осознали элементарность марксистской теории классов и познакомились с тем, как в современной социальной науке трактуются проблемы класса, социальной стратификации и социальной структуры. Таблица 2, которая вызвала недоумение у критика, дает представление о том, как социальную структуру начала XX в. можно сконструировать с трех точек зрения: (1) современной концепции классов, (2) профессий и (3) сословной парадигмы, которую разделяла подавляющая часть населения (значит, с точки зрения массового сознания). Эта схема наглядно показывает принципиальную несостоятельность марксистской концепции классов и неадекватность современной социологической концепции стратификации для характеристики социальной структуры российского общества начала XX в., поскольку эта структура еще не стала классовой. Формирование классов не завершилось, поэтому табл. 2 кажется странной. Вероятно, в недоумении критика есть и моя вина – недостаточно ясно и понятно изложил свою точку зрения.

Итак, вполне солидарен с Л.Н. Мазур в том, использование различных подходов и понятийного аппарата разных наук в исследовании должно быть тонко отрегулировано историком. Их необходимо органически объединить при анализе эмпирических данных, иначе не свойственные исторической науке методы и понятия не принесут ожидаемой пользы, в лучшем случае будут выглядеть архитектурными излишествами, а в худшем – замутят авторское видение и запутают читателя.

Ответ И.В. Побережникову

Мне приятно констатировать, что по принципиальным вопросам российской модернизации наши позиции близки. Мы схожим (хотя и не тождественным) образом оцениваем ход и результат имперской модернизации. По мнению критика, мне в полной мере удалось реконструировать модернизационные тренды в истории России имперского периода, и он принципиально соглашается со мной в том, что в имперской России процесс модернизации подчинялся универсальным закономерностям и осуществлялся одним и тем же механизмом, что и в других европейских странах. Вместе с тем дискуссант считает, что этот универсалистский подход к модернизации, принимающий в качестве эталонной модели западноевропейский вариант модернизации, недооценивает (1) страновое своеобразие, (2) региональную вариативность в пределах одной большой и полиэтнической и поликонфессиональной страны, (3) темпоральную вариативность, обусловленную временем начала модернизации в разных странах и в разных регионах одной большой страны, (4) ситуативную вариативность под влиянием сетевых эффектов (взаимодействия и взаимовлияния различных элементов исторической среды, порождающие своеобразие исторического момента), (5) роль случайности и уникальности в истории.

Однако И.В. Побережников полагает, что своеобразие российской модернизации в книге все-таки недооценивается, потому что диффузия западных институтов и ценностей не сопровождалась столь полным «стиранием» старых российских институтов и ценностей и заменой их новыми, как представляется мне: «Скорее, происходило *сложное взаимодействие* между “традиционным” и “современным”, которое сопровождалось трансформацией содержания того и другого, перестановкой акцентов в том и другом». Предполагаю, что такое впечатление сложилось у критика от «Введения», посвященного теории модернизации, в котором, к сожалению, о темпоральной, пространственной, ситуативной вариативности модернизаций, сетевых эффектах, проблематичности сопоставления с «Западом», страновых случайностях и уникальности в истории не было почти ничего сказано (Миронов, 2014: 38–41).

На самом деле я полностью разделяю идею сложного взаимодействия между «традиционным» и «современным», потому что именно так фактически происходила российская модернизация, что показано во всех главах. Более того, на мой взгляд, успешность имперской модернизации была как раз обусловлена тем, что коронная власть, как правило, использовала стратегию промежуточных институтов. «Характерной чертой успешных российских реформ являлся терапевтический режим их проведения. Все новые институты и институции, необходимые для успешного развития, создавались постепенно, с оглядкой на остальную Европу, но с учетом российской специфики. Размер “окна в Европу”, откуда заимствовались институты, власти тщательно регулировали. Аутентичное копирование применялось редко, поскольку оно не приносило ожидаемых результатов – заимствованные институты отторгались обществом. Да и в принципе буквальное заимствование зарубежных образцов было невозможным: ввиду малочисленности бюрократии, недоразвитости российской инфраструктуры и низкой культуры самого населения образец не мог воплотиться в жизнь без искажения. Отменить или игнорировать национальные самобытные институты оказывалось невозможным, даже если бы такую цель власти ставили» (Миронов, 2015b: 721). Эти идеи красной нитью проходят через всю книгу (Миронов, 2015a: 231, 239, 243; Миронов, 2015b: 440, 634–636, 723).

Вследствие постепенности модернизации, а также того обстоятельства, что Россия находилась и развивалась в конкретном историческом контексте, который оказывал на нее постоянное воздействие (через конъюнктуру мирового рынка, структуру «мировой системы», конкуренцию в области военных, политических, социокультурных технологий и т. д.), формирующиеся институты и структуры по определению не могли *стать элементарной калькой* с того, чем было современное европейское сообщество прежде и в момент трансферта. Соответственно *Россия не могла элементарно повторить чей-то исторический путь*. «То, что в императорский период считалось национальной спецификой русских, несколькими поколениями ранее *встречалось* в других европейских странах. Разумеется, *не буквально, а принципиально*, ибо в рамках европейской цивилизации Россия, как и каждая страна, имела национальные особенности, обусловленные различиями в религии, географической среде, в политических и культурных условиях существования» (Миронов, 2015b: 620).

И.В. Побережников ставит законный вопрос. Принимая Запад за эталон, мы сталкиваемся с другой проблемой: с каким именно «Западом» проводилось сравнение России? Ни одна из европейских стран не соответствует тому, что обычно называется Западом; сам Запад является «мифическим и идеализированным». Модернизации в отдельных странах Западной Европы и Северной Америки отличались своеобразием – скоростями, ролью государства, механизмами. Внутри европейского Запада существуют англо-французский Запад, германский Центр, славянский Восток и средиземноморский Юг. А модернизация на дальнем Западе – в Америке сочетала в себе элементы всех европейских модернизаций.

И на этот вопрос в книге предложен ответ. Суммируя наиболее характерные черты образа России и Запада на конец XIX – начало XX в., которые артикулируются в российском цивилизационном дискурсе в последние 133 года, от Н.Я. Данилевского до современных евразийцев, я обнаружил 20 пунктов «принципиальных» различий между Россией и Западом. Они не выведены индуктивно, путем анализа реальности, а сконструированы (как правило, с политическими целями) путем усиления, выделения, заострения тех черт, которые исследователям представляются наиболее важными и характерными. Россия или Запад – это умственная конструкция, называемая в социологии (по предложению М. Вебера) идеальным,

или чистым, историческим типом. Идеальные типы «Россия» и «Запад» – аналитические категории, подобно совершенному вакууму в физике или совершенной конкуренции в экономике. Реальные Россия и Запад похожи на их идеальные типы в той примерно степени, в какой совершенная экономическая конкуренция похожа на действительную конкуренцию в современной России или на Западе (Миронов, 2015b: 641–643).

В научном анализе идеальные типы, если они адекватно сконструированы, дают эталон для сравнения, без которого ученому не обойтись. Нравится европейский эталон или нет, он нужен для сравнительных исследований. Если отказаться от европейского, надо сконструировать китайский, восточный или какой-нибудь другой. Температура измеряется по четырем шкалам: Цельсия, Кельвина, Реомюра или Фаренгейта. Внешне шкалы дают разные оценки температуры – один градус Цельсия соответствует 274 градусам Кельвина, 33,8 градуса Фаренгейта и 0,8 градуса Реомюра. Но различие температур фиксируют примерно одинаково. Шкалы применяют в разных физических ситуациях. И в исторической социологии желателен иметь несколько шкал: например, одну для измерения научных и материальных достижений, вторую – моральных, третью – художественных, четвертую – для оценки уровня удовлетворенности и счастья.

Существование эталонов не искажает реальность, а лишь создает возможность для разных сравнений и оценок. К сожалению, историки и культурологи часто забывают об этом и отождествляют умственные конструкции с самой историко-культурной реальностью. Кроме того, многие считают европоцентристскую шкалу идеальной, а европоцентристскую модель развития – достойную для подражания.

Согласен с И.В. Побережниковым в том, что в книге недооценены сетевые эффекты и что пространственное измерение модернизации в России с ее колоссальной территорией и полиэтническим населением нуждается в более глубоком анализе, поскольку в ряде случаев речь должна идти о разных региональных моделях модернизации. С огромной работой по изучению сетевых эффектов и региональных моделей модернизации могут справиться только коллективы исследователей, поэтому эти задачи в книге даже не ставились. Моя цель ограничивалась реконструкцией общероссийских модернизационных трендов.

Ответ Н.Б. Селунской

Известный специалист в области методологии истории дополняет анализ методологии «Российской империи...», сделанный Л.Н. Мазур, И.В. Побережниковым и И.В. Поткиной (см. далее). По мнению Н.Б. Селунской, мое «исследование имеет концептуальный характер», поэтому дает основание «для дискуссии внутри исторического профессионального сообщества по поводу и самой процедуры исторического объяснения, и моделей объяснения российской истории в контексте парадигмы “Россия – Запад”». Ценно, что критик рассматривает предложенный мной интегральный подход к объяснению русской истории в период XVII–XX вв., во-первых, в контексте общих моделей исторического объяснения, разработанных в современной российской и зарубежной историографии, во-вторых, в контексте интерпретации российской истории на основе различных теорий исторического объяснения.

Подобно практически всем участникам круглого стола, дискуссант позитивно оценивает методологический плюрализм в подходе к объяснению (при предпочтении, отдаваемого мной концепции модернизации), который «расширяет горизонты видения российской истории, объемность и многогранность образа России», и мою приверженность неоклассической модели исторического исследования. Такое единодушие меня особенно радует потому, что, честно говоря, ожидал негативной реакции на методологический плюрализм, жестко осуждавшийся в советское время, как и теория модернизации, вплоть до обвинения в волюнтаризме, эклектизме и неразборчивости в методологических средствах. И.В. Поткина не исключает, что негативная реакция все же последует.

Н.Б. Селунская, как Л.Н. Мазур, И.В. Побережников и И.В. Поткина, разделяют со мной озабоченность распространенным в профессиональном историческом сообществе отрицания важного значения исторического синтеза и исторического объяснения, девальвацией теорий, создававших основу объяснительных моделей исторического процесса, вследствие увлечения локальной историей, микроисторией, исследованиями повседневной жизни, под влиянием так называемого «постмодернистского вызова» и «лингвистического поворота» в истории, отрицания исторического синтеза и исторического объяснения является.

Участники круглого стола поддержали Н.Б. Селунскую и в том, что в «Российской империи...» удалось реконструировать главный модернизационный тренд имперского периода – «переход от империи “старого порядка” к “современной” империи, от полицентричной и дифференцированной политической системы к более централизованному и бюрократизированному государству, которое через элиты проводило политику унификации в области экономики, языка и культуры». В связи с этим понятие «модернизирующиеся империи» является методологически значимым. «...Объяснение транзита Российской империи от традиции к модерну вписывается в три магистральных ракурса объяснения “модернизации империй” представителями направления “new imperial studies”, которые обозначены... как “сравнительное, географическое и культурное”».

Критик констатирует, что в книге используется «процедура наилучшего объяснения». Во-первых, признается возможность нескольких объяснений исторических событий, явлений и процессов. Во-вторых, находится консенсус между различными методологическими подходами, который «усиливает обоснованность “совпадающих” конкретно-исторических выводов и заключений относительно образа имперской России, а “несовпадающие” могут рассматриваться как комплиментарные, обогащающие этот образ». Такое решение не исключает предпочтения одних объяснительных моделей и критической оценки других.

По мнению дискуссанта, предпочтение концепции модернизации – вполне рационально, так как концепция до сих пор является прагматичной и работоспособной. Однако критику «представляется необоснованной и некорректной [моя] негативно-критическая эмоциональная оценка марксистской парадигмы». Не буду спорить по поводу эмоциональности. Но относительно других определений («необоснованная некорректная» и «негативно-критическая») хотелось бы внести два уточнения.

Во-первых, мне не импонирует *догматический марксизм ленинского извода*, господствовавший в советской историографии, прежде всего потому, что ему не удалось идентифицировать и объяснить основные тенденции в развитии имперской России.

Во-вторых, те или иные марксистские идеи были усвоены практически всеми концепциями, в том числе модернизационной, мир-системной, синергетической, постмодернистской, институциональной, что создало основание интеграции методологических подходов. Складывающаяся новая неоклассическая модель исторического исследования, последовательно используемая в трехтомнике, отличается прагматическим и интегральным характером – она, если можно так сказать, поликонцептуальна (по аналогии с полидисциплинарным подходом, интегрирующим концепции и подходы нескольких наук), следовательно, в той или иной степени использует марксистские идеи.

К моему удовлетворению, Н.Б. Селунская заметила, что в «Российской империи...» «присутствует, проступает и ощущается связь моего подхода с отечественной традицией исторического объяснения». Читая этот пассаж, понимаю, что подмечено верно. Однако, честно скажу, что это произошло неосознанно. Некоторые идеи усвоены так давно и прочно, что их происхождение забывается.

Ответ И.В. Поткиной

Уважаемая коллега предсказывает читательский интерес к «Российской империи...» благодаря обобщающему характеру, актуальности, дискуссионности, новизне выводов и подходов, введению в научный оборот ранее не использовавшихся массовых источников, повышенному вниманию к проблемам идейно-теоретического осмысления истории и широкому использованию отечественной и зарубежной историографии для подтверждения собственных наблюдений и для дискуссии.

И.В. Поткину тревожит теоретический нигилизм; она приветствует методологический плюрализм за прагматизм и эффективность, потому что «нет универсальных теорий, которые смогли бы дать максимально приближенное к неоднозначной и противоречивой реальности объяснение многослойному и многогранному историческому процессу». Вместе с тем она предполагает, что плюрализм «наверняка вызовет негативную реакцию у части исторического сообщества и обвинения в теоретическом эклектизме».

Вопросы еврейской политики затрагивались в выступлениях В.В. Керова, А.Б. Лярского и У. Сандерленда. Не прошла мимо них и Ирина Викторовна. Ее мнение интересно потому, что она основательно изучала предпринимательское право империи

(Поткина, 2009), имевшее прямое отношение к этноконфессиональной политике. Не оспаривая факт дискриминации по этническому и религиозному признаку, она подтверждает наличие тенденции к либерализации еврейского законодательства, которая завершилась отменой в 1915 г. черты оседлости и отказом от всех ограничений в отношении предпринимательской деятельности евреев. Как известно, все познается в сравнении. Критик отмечает, что в автономном и более демократическом Великом княжестве Финляндском отношение к евреям было «просто ужасающим» и что этноконфессиональная дискриминация наблюдалась во многих странах Европы, и от нее, как и в России, «избавлялись постепенно, в течение десятилетий». Она справедливо считает крестьянство «самым ущемленным сословием», для которого существовало свое особое законодательство, вследствие чего оно долго не могло реализовать право частной собственности на землю.

И.В. Поткина – единственный участник дискуссии, высказавшая свое мнение по главе «Государственность и государство» (Миронов, 2015а: 345–646). Она признает, что недоуправляемость, обусловленная дефицитом административного ресурса, послужила важной причиной медленной модернизации, справедливо добавляя, что надо также учитывать размеры страны и масштабы экономики. Развитие России она образно сравнивает с «рекой, которая неспешно течет по бескрайним просторам равнины». Дискуссант также соглашается с критериями, используемыми мной при оценке эффективности государственного управления. Результаты функционирования бюрократического аппарата или более конкретно – долгосрочный устойчивый рост экономики, политическая и социальная стабильность, повышение жизненного уровня населения и улучшение его основных демографических характеристик – это общепринятые научные критерии, принятые мировым научным сообществом. С точки зрения этих критериев, полагает она, «позиции России в мировом контексте были не так уж плохи», что доказывается положительными трендами в ее социально-экономическом развитии, особенно в позднеимперский период. Очень важно, что к этому заключению критика привел собственный многолетний опыт исследования предпринимательства в России (Поткина, 2004; Морозова, Поткина, 1998). На основе изучения делопроизводственной и финансовой документации различных крупных российских и иностранных компаний она пришла к ряду важных выводов: «о тенденции их устойчивого роста во второй половине XIX – начале XX в., несмотря на периодические экономические кризисы, а также о трансформации системы управления, продолжительном социальном спокойствии, повышении уровня заработной платы и в конечном счете улучшении качества жизни».

Согласен с И.В. Поткиной в том, что проблема человеческого капитала в имперской России «раскрыта в книге не полностью». Из разных измерителей величины человеческого капитала я выбрал уровень грамотности и число лет обучения, между тем как в современной науке существует и более широкое толкование данного понятия – это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. Человеческий капитал измеряется расходами семей на питание, одежду, жилище, образование, здравоохранение, культуру, а также расходами государства на эти цели. В таком широком понимании человеческого капитала определить его величину возможно, вероятно, только для конца XIX – начала XX в. По мнению дискуссантки, человеческий капитал имеет также качественное измерение и включает много аспектов, в том числе состояние среднего специального и высшего образования, уровень квалификации наемных работников на разных ступенях экономической структуры, каналы и способы взаимодействия высшего и среднего специального образования с торгово-промышленными предприятиями, обеспечение охраны труда и здоровья работников, а также организация досуга и развлечений. Некоторые из этих аспектов можно и нужно исследовать. Критик высказывает интересные соображения относительно изучения человеческого капитала с точки зрения становления среднего и специального высшего образования и уровня квалификации управленческого персонала торгово-промышленных фирм. Вступление Российской империи в фазу современного экономического роста, отмечает она, потребовало привлечения в промышленность высококвалифицированных кадров, имеющих специальную подготовку. Быстрый рост числа учебных заведений говорит о том, что страна сумела ответить на вызов времени – между 1904 и 1914 г. (вместе с США) стала мировым лидером в области технического образования, обойдя Германию.

Согласен также, что проблему подготовки инженерных кадров и специалистов среднего звена действительно можно было поставить в контексте изучения человеческого

капитала. Не сделал этого потому, что, с одной стороны, был ограничен объемом книги и сроками ее завершения, с другой – в интересах историзма я использовал, как правило, такие показатели, которые можно было представить в виде длинных динамических рядов.

Еще два интересных вопроса поставила И.В. Поткина – о роли религии и традиции в экономическом и культурном развитии. Она не считает, что почитание икон и посещение святых мест – предрассудки традиционной культуры. Например, Т.С. и М.Ф. Морозовы были глубоко верующими людьми, начинавшими каждый день с молитвы. Но это не помешало им вывести Никольскую мануфактуру в ряды лидеров текстильной индустрии и, кроме того, способствовало их благотворительной деятельности и социальной работе с рабочими. Предприниматели создали в итоге успешно работающее интегрированное предприятие с полным циклом производства и развитой социальной инфраструктурой, составной частью которой стала их домашняя церковь. На мой взгляд, это замечательная иллюстрация того, что традиции могут играть роль ускорителя процессов развития и роль общественного стабилизатора (о чем говорит современная теория модернизации).

Аналогичный синтез традиции и модерна И.В. Поткина обнаружила в искусстве и музыке. Художники, занятые в высокохудожественных народных промыслах Палеха, Мстеры, Федоскина, Холуя, работали, подпитываясь образами традиционной культуры, но создавали произведения с современными религиозными и светскими сюжетами. Такой стиль нравился Морозовым, материально поддерживавших эти промыслы.

Инструментальная музыка западного образца пришла в Россию в XVIII в. Но уже к концу этого столетия в российской светской культуре имелись высокие образцы инструментальной музыки русских авторов. Причина – музыка западного образца легла на очень хорошо подготовленную почву – традиции церковной хоровой музыки, в которой наряду с древним одноголосным знаменным распевом со второй половины XVI в. культивировалось демественное (многоголосное) пение, а в светской – с XVII в. широкое распространение получили многоголосные канты. «В сфере культуры, – заключает дискуссант, – была более сложная и, я бы сказала, причудливая динамика по сравнению с общим движением от традиции к модерну. С моей точки зрения в России произошло органичное взаимопроникновение двух культур».

Ответ В.В. Керову

В целом положительно оценив книгу и ее общую концепцию, критик высказал несколько конкретных замечаний. По его мнению, мой материал о ментальности буржуазии и интеллигенции выглядит «чрезмерно кратким и упрощенным». Согласен относительно краткости, но не согласен относительно упрощенности. Краткость объясняется недостатком места в книге и времени для написания соответствующих подразделов. Во время обсуждения «Социальной истории...» звучало замечание о недостаточном внимании к рабочему классу, буржуазии и интеллигенции. При подготовке «Российской империи...» я имел намерение заполнить этот пробел и начал с рабочего класса. Потребовалось несколько месяцев работы для подраздела объемом три авторских листа, поэтому я вынужден был отказаться от полной реализации плана. Но, разумеется, лакуну следует заполнить.

Интерпретация дискуссантом моей концепции отмены крепостного права меня огорчила своей простотой и неадекватностью: «...Желание меньше работать, якобы, стало главным стимулом антикрепостнических настроений российских крестьян, а единственной проблемой крепостничества для власти стала невозможность в первой половине XIX в. сохранять “прежний уровень насилия”». Вот, что на самом деле в книге: «Частновладельческое крепостное право было отменено благодаря отрицательному отношению к нему со стороны верховной власти, церкви и прогрессивной части общества, смягчению нравов, повышению образовательного и культурного уровня населения, пробуждению самосознания у крестьянства и его настойчивой борьбе за свое освобождение, коммерциализации экономики, которая развивала в крестьянине чувство собственности, самостоятельности, открывала ему ценность денег, прививала любовь к экономической свободе» (Миронов, 2015а: 80).

В моем объяснении большей эффективности труда помещичьих крестьян сравнительно с государственными и примерно одинакового уровня их жизни В.В. Керову не кажутся убедительными два моих аргумента: отсутствие различий в среднем росте различных категорий крестьянства и сведения о более высокой производительности рабского труда в США по сравнению со свободным трудом, при этом критик не обосновал

свой скептицизм. Замечу, что многим исследователям мои аргументы представляются серьезными и убедительными, в особенности занимающимся антропометрией или историей рабства и крепостничества.

Критику показалось, что «множество случаев отступления от норм национальной и конфессиональной толерантности» я объясняю исключительно «реакцией российского государство на “враждебность и сепаратизм”». Отсюда ему непонятна репрессивная политика в отношении евреев, не поднявших ни одного восстания, и старообрядцев, представлявших «вполне верноподданническую среду». Мое объяснение всегда многофакторное. Вот лишь несколько цитат из книги, объясняющих правительственную политику в отношении евреев. «При проведении политики интеграции евреев власти столкнулись с противодействием со стороны а) самого еврейского населения, желавшего сохранить традиционные формы организации еврейских общин и как можно больше автономии, б) христианского городского населения, не желавшего участия евреев в органах городского самоуправления, в) русского купечества, недовольного разрешением евреям занимать предпринимательской деятельностью во внутренних российских городах, г) РПЦ, опасавшейся конкуренции иудаизма по причине якобы присущей ему привлекательности» (Миронов, 2014: 197). «Все усилия властей включить евреев в общий строй российской жизни наталкивались на их упорное сопротивление. Несмотря на все соблазны и притеснения, они не поддавались ассимиляции и не смешивались с окружающим их населением» (Миронов, 2014: 205). «Антисемитизм в России имел общеевропейские корни, и колебания еврейской политики правительства также имели европейское происхождение» (Миронов, 2014: 218). В книге приведено честное объяснение К.П. Победоносцевым официальной точки зрения об изменении еврейской политики известному еврейскому финансисту и меценату барону Морису фон Гиршу, хлопотавшему в 1887 г. об отмене процентной нормы: «Политика правительства исходит не из “вредности” евреев, а из того, что благодаря многотысячелетней культуре, они являются элементом более сильным умственно и духовно, чем все еще некультурный русский народ, – и потому нужны правовые меры, которые уравнивали бы “слабую способность окружающего населения бороться”» (Миронов, 2014: 210).

Трудно согласиться и с тем, что старообрядцы представляли «вполне верноподданническую среду». В старообрядчестве существовало много течений, в том числе беспоповцы разных толков, которые верили в то, что в России воцарился антихрист, благодать священства прервалась, церковная иерархия прекратилась, и по этой причине не признавали царя, царской власти и Православную церковь. Беспоповцы-федосеевцы отрицали моление за царя и даже брак, поскольку считали, что если наступило Царство антихриста, то и продолжение рода человеческого преступно. Беспоповцы-бегуны бежали от мирской жизни, скрываясь от царства антихриста, не имели паспортов, отвергали военную службу, присягу, подати, налоги, некоторые из них отвергали и деньги. Людей с подобными взглядами нельзя считать аркадскими пастушками, в глазах государства они были врагами царя и церкви – и их в конце XIX в. насчитывалось несколько сот тысяч по всей стране. Нельзя забывать, что иногда старообрядцы сами устраивали бунты (Соловецкое восстание в 1668–1676 гг., Московское восстание 1681–1682 гг. и др.) и активно участвовали в восстаниях стрельцов в 1682 и 1689 гг., С. Разина, Е. Пугачева и др.

Наконец, нелояльность к существующему порядку вещей и к власти может выражаться не только в активных, но и в *не менее опасных* пассивных формах.

Мне представляется неадекватной оценка В.В. Керовым дискуссии между мной и оппонентами по вопросу происхождения революций: «Тезисы оппонентов в “имперской” дискуссии (на примере Б.Н. Миронова и В.П. Булдакова. – Б.М.) лишь внешне противоположны. В результате дискуссия оказывается концептуально иллюзорной и различия сводятся в основном к ответу на вопрос с сомнительным академическим смыслом: “хорошо” или “плохо” жили подданные Российской империи, бедствовало или богатело крестьянство, угнетались или гармонично развивались народы и т. п.»

По убеждению огромного большинства историков, ответ на вопрос, «хорошо» или «плохо» жили российские подданные, бедствовало или богатело крестьянство, угнетались или гармонично развивались народы и т. п., имеет огромный академический и практический смысл – это принципиальный вопрос историографии.

Дискуссия – концептуальна и отнюдь не иллюзорна. Уверен, что в этом меня поддержат и мои оппоненты. Я подробно рассмотрел и оценил степень конкретно-

исторических разногласий в своей книге «Страсти по революции», которые объединяются в четыре пункта. Во-первых, В.П. Булдаков сводит революционное движение к стихийному народному бунту и психозу; а я полагаю, что революцию совершил народ, но организовала и подвигла его на это интеллигенция и сплоченная и законспирированная оппозиция. Во-вторых, я не считаю, что последние 300 лет (т. е. вплоть до настоящего времени) Россия находится в состоянии перманентного кризиса и призрак смуты – неотъемлемая черта ее исторического развития; не согласен, что «государство было не в состоянии осуществлять ни планомерное “дисциплинирующее” насилие, ни образовательный “культурный” диктат, но в то же время препятствовало естественному ходу формирования ячеек настоящего общества» и «не выполнило свою цивилизаторскую миссию “подавления аффектов”». В-третьих, полагаю, что в России в начале XX в. существовали основные элементы гражданского общества. В-четвертых, базисные потребности народа в пореформенное время, по моему мнению, более или менее удовлетворялись (Миронов, 2013: 77–92).

В дополнение к сказанному отмечу, что мы придерживаемся различных методологических ориентаций. При объяснении русских революций и общего хода развития России я опираюсь на неозволюционизм, а В.П. Булдаков (сознательно или бессознательно) – на неофрейдизм, или социальный фрейдизм. Я понимаю социальное развитие как естественный рациональный процесс – как усложнение и повышение уровня организации социокультурной жизни, которые ведут к лучшему приспособлению общества к окружающей среде. Адаптационные изменения социальной системы происходят на уровне институтов, технологий, социокультурных процессов, прямо связанных с жизнеобеспечением, и имеют эволюционный смысл. Важной составляющей неозволюционизма является теория модернизации (ее В.П. Булдаков считает устаревшей), объясняющая транзит от традиционного общества к современному. Неозволюционизм допускает существование множества путей социокультурной эволюции, поскольку развитие общества происходит одновременно в результате саморазвития (самостоятельного, независимого развития) и исторических контактов и заимствований.

В основе социального фрейдизма лежат совсем другие идеи – принципиальная и неразрешимая конфликтность личности и общества, иррациональность поведения человека, конфликтность и расщепленность внутреннего мира личности, «репрессивность» культуры и общества, бессознательность эмоциональной мотивации человеческой деятельности. Правда, признавая решающее влияние подсознательного, в том числе сексуальных инстинктов, на поведение людей, они допускают и некоторую роль в этом социальных факторов (социальных связей и отношений между людьми, материальной и духовной культуры) в том смысле, что они влияют на *формы проявления* подсознательного.

Отсюда у В.П. Булдакова поиски «генетических изъянов» Российской империи, стремление найти у всех заметных акторов российской революции комплекс неполноценности, бессознательное стремление к власти и сверхкомпенсацию чувства неполноценности через стремление к превосходству. У него по просторам России постоянно бродит призрак смуты. Идея инстинктивного, аффектированного поведения масс является ключевой в его построениях. Его концепцию революции можно назвать психопатологической. По мнению В.П. Булдакова, «причина российской смуты одна – психоз бунта, вызванный крайней болезненностью бытовых ощущений несовершенства власти». «Восстание масс» объясняется им следующим образом: «разрушение привычной социальной иерархии ведет к увеличению массы психопатических личностей, которые своими действиями окончательно ломают общепринятые нормы социального поведения и освобождают место для “коллективного бессознательного”, проникающего и заполняющего публичную сферу»; а последующее «бегство от свободы» в диктатуру – «физическим выбыванием или дискредитацией “пассионариев” революционной эпохи», что ведет к возобладанию «серой массы», реанимирующей архаичнейшие образцы власти-подчинения» (Булдаков, 2010: 584, 683–684, 609).

В неофрейдистском подходе заключены серьезные потенции для анализа поведения выдающихся исторических акторов и народных масс в революционных событиях. Однако делу использования его идей очень мешает, что один из немногих его сторонников считает своих коллег, особенно придерживающихся иных концепций, «когнитивно беспомощными и недоразвитыми», «инфантильными, самонадеянными, откровенными неучами», «холуями», «вульгарными презентистами», «придворными историографами»; «у них наивное воображение заменяет реалии»; «великовозрастными “детьми застоя”,

одураченными курсами “истории КПСС” и “научного коммунизма”» (Булдаков, 2010: 80–81). При таком отношении у них пропадает желание обсуждать с ним какие-либо научные вопросы.

Отмечу, сам В.В. Керов не преувеличивает негативного значения своих замечаний: «Трехтомник Б.Н. Миронова можно назвать монументальной книгой выдающихся историографических достижений и маленьких историографических огрехов. <...> Главное историографическое значение имеют макровыводы в отношении имперской истории России».

Ответ Л.М. Артамоновой

Дискуссант сосредоточился на двух принципиальных и чрезвычайно важных проблемах – народном образовании и гражданском обществе. В советское время часто цитировали К. Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что, прежде чем строить соты, он «построит их в своей голове». Однако на практике об этом забывали. Культура в советской историографии считалась второстепенным сюжетом и изучалась по остаточному принципу после экономики, классовой борьбы, революционного движения, внутренней и внешней политики. Развитие гражданского общества вообще игнорировалось. Эти просчеты стали исправляться в постсоветское время. Статья Л.М. Артамоновой – замечательный пример работы над ошибками. «Путь к самым разным модернизационным преобразованиям был долгим и нелегким, – справедливо считает она. – Он начинался, конечно, не с реальных административных и законодательных шагов, а с идеальных представлений и перемен в сознании. Это касается и позиции имперской элиты, и “коллективных представлений” различных групп населения». Не стареет максима «Сначала было слово».

Критик сравнивает процессы культурного и социального строительства в общероссийском масштабе, изучаемые в трехтомнике, с провинцией, которую изучает она на примере Самарской губернии, и тем самым как бы проверяет адекватность моих выводов. Большей частью они подтверждаются, в чем-то корректируются – и это очень важный аспект ее статьи, потому что в этом и заключается суть коллективной научной работы в области истории, именно это превращает примерно 40 тысяч профессиональных историков России (Бордюгов, Щербина, 2011: 122) в сообщество. Благодаря такой совместной работе историография «избавляется от кривого зеркала, отражающего историю страны только под углом зрения из столиц».

На мой взгляд, культурный капитал народа – главный фактор развития общества, и мне приятно сознавать, что это заметила и оценила Л.М. Артамонова. От уровня культуры зависит качество когнитивных процессов, система ценностей, горизонт мысли, взгляд на мир, поведение человека в малом и большом. Например, антибуржуазный характер коллективных представлений большинства населения России и ориентация народа на принципы моральной экономики, пришедшие из традиционного общества, сделали широкие массы подверженными социалистическим идеям, порождали напряжение в обществе, чреватое революциями. Именно поэтому культурный капитал – системообразующий стержень моей книги, и о нем говорится во всех главах.

Основываясь на провинциальном материале, Людмила Михайловна поддержала и другую принципиальную идею о том, что верховная власть являлась лидером модернизации России, в том числе в сфере культуры. Она выступает против мифа о враждебности царизма просвещению и соглашается со мной, что правительство в своих усилиях по поддержке народного образования всегда немного забегало вперед, несколько опережая стремление к образованию широких слоев населения, а до второй половины XIX в. «намного опережала потребности и инициативы общественных групп».

Предложение критика перенести время начала вмешательства государства в культурно-воспитательную функцию деревенского мира с пореформенной эпохой на царствование Николая I мне представляется резонным. Действительно, киселевская реформа государственной деревни затронула народное образование, но по причине сопротивления крестьянства результаты оказались скромными.

Вопрос о времени введения в учебных заведениях в качестве обязательного предмета Закона Божьего, поднимаемый дискуссантом, нуждается в дополнительном изучении. В литературе высказаны разные мнения. В церковно-приходских школах, появившихся в начале XVIII в., Закон Божий всегда был в программе, а в тогда же открытых «цифирных»,

«математических» и «навигацких» школах его преподавание не предусматривалось. Но в 1720 г. архиепископ Феофан (Прокопович) написал первый катехизис, и Петр I повелел ввести его в школьное и частное обучение, а для народа читать по церквам. Был ли исполнен указ Петра – вопрос открытый. Елизавета Петровна вспомнила о петровском повелении в 1743 г., но вопрос о его воплощении в жизнь также остается открытым. В.М. Бычкова утверждает, что Закон Божий был введен в учебную программу школ только в 1774 г. (Бычкова, 2009: 12). Разногласия связаны с тем, что время, как правило, устанавливается на основе законов и постановлений, которые во многих случаях были сепаратными, не всегда и плохо исполнялись и потому часто повторялись. Кроме того, система народного образования сложилась только в 1800-е гг., после создания Министерства народного просвещения, которое провело коренную реформу. До этого времени преподавание Закона Божия регулировалось сепаратными постановлениями. Например, в 1731 г., при открытии Шляхетского корпуса, преподавание Закона Божия не было предусмотрено, а введено через 35 лет, в 1766 г. Поскольку сеть гимназий возникла в 1800-е гг., то и введение Закона Божия в программу не могло произойти раньше 1811 г. (по другим сведениям – в 1819 г. (Бычкова, 2009: 14)).

Вопросы развития народного просвещения, справедливо отмечает Л.М. Артамонова, тесно смыкаются с проблемой становления гражданского общества. Она обнаружила в Самарской губернии в середине XIX в. добровольные общественные организации, возникшие по указанию сверху и при содействии губернской администрации. Но в отличие от столиц и университетских городов в их деятельности, как правило, участвовали в основном люди чиновные и лишь отдельные частные лица. При создании всех этих «вольных», «императорских» и прочих научных, просветительских, культурных учреждений, признает дискуссант, верховная власть часто не имела в виду стимулирование самодеятельной общественной активности, а стремилась содействовать национальному развитию и продемонстрировать перед всем миром, что она осуществляет «просвещенное правление». Деятельность добровольных ассоциаций ни в просветительской, ни в иной области также никогда не оставались без контроля властей, хотя и в различной степени. Она соглашается со мной, что гражданское общество к 1917 г. в общих чертах сформировалось.

Критик приводит интересные факты провинциальной общественной самодеятельности: например, как гражданское общество действовало не только в городе, но за городскими заставами, правда силами городских добровольных обществ. Масштаб борьбы с последствиями неурожая 1911–1912 гг. свидетельствует, по ее мнению, о возникновении сетей общественной коммуникации на межрегиональном уровне. В деле становления гражданского общества подчеркивается большая роль периодической печати, особенно местной, хотя та и возникала повсеместно по распоряжению властей и первоначально входила в систему органов управления в виде газеты при губернской администрации. «Разница в состоянии общественной активности между первыми десятилетиями XIX в. и началом XX в. выглядит настолько разительной, – отмечает Л.М. Артамонова, – что, кажется, речь идет о разных городах и даже странах».

Дискуссант полагает, что я преуменьшаю силу «общественности» или «организованного общества» в XVIII – первой половине XIX в., оцененную по численности людей, с которыми считалась верховная власть при принятии решений, ввиду качественного изменения состава общественности. «Организованное общество», принимавшее Соборное Уложение и знакомое лишь с редкими печатными изданиями церковного содержания, качественно отличалось от «общественности», обсуждавшей и поддерживавшей Великие реформы, читавшей Пушкина и Гоголя, «Отечественные записки» и «Современник». Вопрос непростой. При решении его, конечно, надо учесть не только численность, но и качество общественности. Однако надо также принять во внимание и возросшую в 7 раз силу бюрократии (число чиновников на 1000 человек населения возросло с 0,23 в 1647 г. до 1,65 в 1857 г. (Миронов, 2015а: 431)), и степень общественной активности, и усиление в XVIII – первой половине XIX в. крепостного права, и существенное увеличение процента закрепощенного населения. Оставим эту проблему исследователям, которые найдут в себе силы и желание ее удовлетворительно разрешить.

В заключение отмечу одну симпатичную мне особенность научного стиля Л.М. Артамоновой. Она спокойно принимает какие-либо расхождения между моими и своими наблюдениями, так как понимает, что мои данные относятся, как правило, ко всей

стране, а ее – к отдельной губернии и потому нестыковки неизбежны. Многие историки этого не понимают и, обнаружив несогласия, даже если их данные относятся к одному уезду, городу или даже селу, громко вопиют о моей ошибке и неправоте.

Ответ А.Б. Лярскому

В статье ставятся амбициозные задачи: «обсудить границы и возможности применения клиометрического подхода», оценить мой вклад в изучение исторической психологии, а также разобраться с «клиотерапией» «как способом осознания исторического процесса».

«Как и многие критики Б.Н. Миронова, я не сомневаюсь в достоверности его вычислений. Меня больше *настораживает* следствие из авторского клиометрического приоритета и это следствие – *небрежность к языку выводов* (курсив мой. – Б. М.)», – печалится А.Б. Лярский. На конкретных примерах он доказывает, как ему кажется, «небрежность», т. е. мою невнимательность, халатность, нерадивость, недобросовестность, неаккуратность в выводах. Рассмотрим эти примеры.

Калмыцкий прецедент. На основании отраслевой занятости самодеятельного населения (по данным переписи 1897 г.) я пытаюсь определить *относительную* активность представителей каждого этноса в разных сферах социальной жизни. Оказалось, что самыми активными в управлении и в армии были русские, в церковных делах – калмыки, в свободных науках и искусствах, а также в накоплении капитала – немцы, в торговле и финансах, на транспорте и коммуникациях, а также в промышленности – евреи и т. д. Дискуссанта поразила калмыцкий приоритет в церковных делах. Он объясняет его вмешательством российского законодателя: «По всей Монголии и у чжунгаров посвящение в высшую степень гэлун составляет явление довольно редкое, потому что требует согласия целой монастырской общины, каждый член которой самостоятелен; у калмыков с предоставлением всего дела избрания и посвящения в гэлуну единой личности ламы (что явилось следствием действия имперского законодательства. – А. Л.) все исполняется гораздо проще. Лама посвящает каждого или по его просьбе, или даже по своему личному желанию...» Отсюда делается вывод: «Говорить без дополнительных комментариев о том, что наиболее активны в церковной жизни были калмыки, – это значит повторить ошибку российских чиновников, организовавших буддизм наподобие православной иерархии, и, кроме того, создавать не соразмерную реальности картину».

Опыт управления этноконфессиональным разнообразием в Российской империи свидетельствует: чиновники могли *формально* провозгласить, но отнюдь не навязать калмыцкому или любому другому народу новые нормы в религиозной жизни, если они не соответствовали его желаниям и потребностям. Миссионерство Русской православной церкви среди мусульман, католиков, протестантов и даже старообрядцев это с очевидностью показывает. Причина в том, что религия в изучаемое время являлась культурно образующим принципом и ключевым признаком этнической идентификации. Бюрократия, как показано в моей книге, была слабая, в этноконфессиональных окраинах могла проводить свою политику, как правило, только при поддержке местных элит. Конфессиональная политика отличалась толерантностью, в особенности в отношении к буддистам, лояльным к центральной власти. Разрешение ламам посвящать в гэлуну находилось в этом русле – привлечь их на сторону коронной администрации. Кроме того, численность духовенства существенно зависела от материальных возможностей населения его содержать. Если их не хватало, ни кнут, ни пряник помочь не могли, особенно в долгосрочной перспективе.

Цель моего тезиса, подвергаемого критике, состояла исключительно в том, чтобы определить, в какой степени представители различных этносов были заняты в престижных сферах деятельности в конце XIX в. – в управлении, армии, церкви, науке и культуре – и на этом основании выяснить: не было ли этнической дискриминации. Я четко и ясно объяснил методику расчета и указал источники. При этом меня не интересовало, как, когда и почему – в силу обычая, необходимости, закона, склонности – сложилась подобная структура занятости данного этноса. Как, когда и почему – безусловно, важные вопросы, но они выходят за пределы поставленных мною целей и задач. Однако по правилам научного жанра я обязан был от них абстрагироваться, что и сделал. Здесь нет и толики небрежности. Приведенных данных достаточно для вывода, что наиболее активны в церковной жизни были калмыки, естественно в пределах ареала их проживания.

А вот критик допускает настоящие небрежности содержательного, методического и стилистического характера. Он не понял цель моих расчетов – определить, в какой степени представители различных этносов были заняты в престижных сферах социальной жизни, и методике, как эту активность оценить. И потому заблуждается, когда пишет: «Если бы в соответствующем ключе (т. е. следуя моей методике. – Б. М.) были учтены народы, которые практиковали так называемый домашний шаманизм, то чукчи по активности “церковной жизни” калмыкам бы фору дали». Если действовать по моей методике, то следовало определить число *профессиональных* шаманов – людей, являвшихся, по мнению чукчей, посредниками и избранниками духов, обладающими способностью видеть иную реальность и путешествовать в ней, между тем как *домашний* шаманизм – это самодеятельность, не имевшая общественного звучания, это имитация работы профессионального шамана, проявление религиозного энтузиазма и большого желания стать настоящим профессиональным шаманом. До трети чукчей, мечтая стать профессиональными шаманами, воображали себя таковыми и пытались на домашних сеансах продемонстрировать обладание шаманскими способностями. Если следовать подходу Лярского, то для русских надо было определить число людей, которые молились дома, в то время как по моей методике надо оценивать численность профессионального духовенства. «Ину пору, не поглядев в святцы, да и бух в колокол, оно и некстати».

С буддизмом тоже не все гладко. Гэлун – это третья монашеская степень в ламаизме. Упрощение властями процедуры ее получения не могло увеличить численность монахов и «создавать не соразмерную реальности картину», как думает критик, а лишь могло повлиять на структуру монашества. Следующая небрежность. У всех буддистов всегда много монахов, примером чего служат страны, где буддизм является господствующей религией, – Бирма, Камбоджа, Лаос, Таиланд. Царское законодательство в этом отношении ничего не изменило, что было естественным следствием толерантного отношения ко всем религиям как принципа этноконфессиональной политики. Ввиду этого утверждение, что «российские чиновники организовывали буддизм наподобие православной иерархии», действительно создает не соразмерную реальности картину и требует серьезных аргументов и объяснений. Еще одна небрежность. Чтобы говорить о том, что предоставление всего дела избрания и посвящения в гэлуну единой личности ламы повлияло на численность буддийского духовенства, необходимо было выяснить: была ли привилегия, дарованная ламам, правом или обязанностью, как ламы воспользовались своим правом и воспользовались ли вообще, как отнеслось население к нововведениям? Но критику даже в голову не приходят эти вопросы.

Между тем «калмыцкое дело» обобщается дискуссионтом до глобального императива: «Урок, который можно извлечь из этого “калмыцкого дела”, довольно банален и прост: *каждое масштабное исследование, построенное на массовых количественных данных, необходимо и обязательно должно полагаться не столько анализом других массивов количественных данных, хотя бы даже и с корреляционными вычислениями, а только качественным микроисследованием, иначе друг степей навсегда станет образцом церковного бытия*» (выделено мной. – Б. М.). К сожалению, урок состоит совсем в другом.

Прежде всего непонятно, почему буддист и «друг степей калмык» не может быть образцом церковного бытия. Априорное сомнение в религиозной ревности калмыков говорит о недостатке политкорректности, может быть, опять по небрежности. Но самое важное – критик делает две методологические ошибки.

Настоящий количественный анализ в любом исследовании, будь то микро- или макроисследование, без качественного анализа в принципе невозможен, более того качественный анализ предшествует количественному. Для того чтобы что-нибудь элементарно посчитать, надо четко определить смысловые единицы или объекты счета (единицы) счета (Миронов, 1991: 28–29). Сложному количественному анализу «с корреляционными вычислениями» предшествует составление программы исследования, которая включает: 1) определение проблемы, предмета и объекта исследования; 2) определение цели и задач исследования; 3) эмпирическую и операционную интерпретацию основных понятий; 4) предварительный системный анализ объекта исследования; 5) определение основных процедур сбора и анализа данных. Как видим, составление программы – это серьезный качественный анализ (Миронов, 1984: 9–39).

Необходимость сочетания качественного и количественного анализа – это действительно общее место в методологии социальных наук. Но совсем не в том смысле, какой вкладывает в него критик. Неверно думать, что только качественное микроисследование может проверить любое макроисследование, построенное на массовых статистических данных. Одно микроисследование не может проверить макроисследование, потому что говорит только об одном, частном, индивидуальном, оригинальном случае, а макроисследование – о типичном, общем и закономерном. Только с помощью макроисследования можно открыть закономерности и тенденции в изучаемом явлении. Но эти закономерности и тренды отчетливо проявляются лишь в достаточно большом числе наблюдений, а в единичных случаях (в отдельные годы, в отдельных приходах, селениях, семьях и т. п.) они *могут* нарушаться и не обнаруживаться (подчеркиваю – не обязательно, а, возможно, потенциально). Например, если бросать монету случайным образом много раз, то окажется, что в 50 % случаев она падает на орла и в 50 % случаев – на решку. Если бросить четыре или шесть раз, то маловероятно, что ровно в половине случаев она упадет на орла и в половине случаев на решку – в этом состоит так называемый закон больших чисел.

Количество случаев индивидуальных отклонений от закономерности зависит от числа статистических данных (от величины выборки), на основании которых обнаружена закономерность. Грубо говоря, закономерность будет нарушаться в пяти случаях из 100, если была обнаружена на основании большой выборки, в 33 из 100 – если обнаружена на основании средней выборки, и всего в нескольких случаях – если обнаружена на основании малой выборки. В этом принципиальное отличие социальных явлений, между которыми закономерности носят вероятностный характер, от природных (биологических, физических и т. п.), между которыми связь однозначная, или функциональная. Капля дождя всегда упадет на землю, а водитель, нарушающий правила движения, не всегда попадет в аварию – это будет зависеть от его опыта, обстоятельств, пешеходов и других водителей. Но злостный нарушитель в конце концов попадет в аварию, и в этом проявится закономерность – нарушение правил движения ведет к аварии. Полноценное и масштабное макроисследование может проверить не одно, а два-три десятка, а может быть, и больше микроисследований – это зависит от проблемы и масштаба.

Полагая, что только качественное микроисследование может проверить любое макроисследование, А.Б. Ляровский отождествляет (как и большинство историков) индивидуальное с типичным, потому что забывает или не знает о законе больших чисел и о вероятностном характере закономерностей в социально-экономической жизни. Конечно, закон больших чисел, статистические закономерности или единство качественного и количественного анализа – это из области философии количественного анализа. Незнание и игнорирование их историками можно объяснить особенностями исторического образования. Хотя уже много лет на исторических факультетах университетов читаются курсы статистики или количественных методов в истории. Возможно, и критик слушал подобный курс.

Итак, макроуровень выявляет тенденцию развития в социуме или большой группе, микроуровень – индивидуальную реализацию тенденции. На макроуровне плохо или совсем не видно деталей и потому нельзя упрекать исследователя в их искажениях. Точно так же, как на микроуровне не видно тенденции – если она не обнаружена, нельзя упрекать исследователя в том, что она не обнаружена или неточно идентифицирована. Макроуровень и микроуровень – это разные проекции одной реальности, они по-разному изучаются, и результаты их правильного анализа не во всем совпадают, а нередко на первый взгляд выглядят даже противоречащими.

И, наконец, приведу наглядный пример (один из многих) «небрежности к языку выводов». Дискуссант пишет: «Безусловно, результаты, полученные Б.Н. Мироновым, во многих случаях требуют не столько погромных интонаций в голосе критиков, сколько дополнительной работы по их интерпретации». Отсюда следует, что иногда «погромные интонации в голосе критиков» все же требуются. Зная А.Б. Ляровского лично, полностью исключаю подобную возможность интерпретации этих слов. Предполагаю, что, говоря о «небрежности к языку выводов», критик имел в виду не халатность и недобросовестность, а неполноту, незавершенность интерпретации, что, согласитесь, не одно и то же. Опять небрежность?!

Дискуссант обнаруживает и другие случаи моей «небрежности». «Б.Н. Миронов в качестве источника для выяснения крестьянских коллективных представлений использует пословицы и поговорки, но делает это довольно непоследовательно: так, паремии являются основным источником для крепостного периода, однако, когда автор изучает коллективные представления крестьян пореформенного времени, поговорки почему-то не используются: Б.Н. Миронов явно отдает предпочтение статистике кредитных сделок. Если бы он использовал более поздние сборники пословиц и поговорок, изданные в конце XIX – начале XX в., то он, возможно, обнаружил бы, что текстуальные совпадения слишком велики, чтобы говорить о динамике в коллективных представлениях на основании паремий, а это значит, что либо эти представления не менялись, либо пословицы не несут необходимой нам информации».

Культурологами, социальными антропологами и фольклористами считается, что пословицы достаточно удовлетворительно отражают коллективные представления в *бесписьменном* и традиционном обществах с устной по преимуществу культурой и неграмотным населением. В обществах модерна, а также в переходных от традиции к модерну их значение падает. Поэтому мне пришлось обратиться к другим источникам, но отнюдь не отдавая «явного предпочтения статистике кредитных сделок», – использовалась публицистика и беллетристика, материалы различных правительственных комиссий, лубочная народная литература. Несмотря на это, было бы интересно сравнить корпус пословиц середины XIX в. и начала XX в., и я такую работу попытался сделать. К сожалению, в пореформенное время фольклористы не создали что-нибудь подобное известному сборнику пословиц и поговорок В.И. Даля (включающему около 30 тыс.). То, что собрали, не обобщено должным образом. Для такой работы нужен не только феноменальный талант выдающегося ученого, но и много времени и коллектив исследователей.

Пословицы – настолько часто используемый источник для характеристики народных представлений, что, на мой взгляд, не было нужды в очередной раз объяснять в *историческом сочинении*, почему это возможно делать, что является отражением нормы – то, что мы говорим, или то, что мы делаем, почему у разных народов некоторые пословицы совпадают и что это означает. Кроме того, в других главах книги обстоятельно изучена и объяснена, в меру моих сил конечно, социально-экономическая практика крестьянства, которая подтвердила выводы, полученные на основании анализа половиц. Другими словами, я исследовал, и что крестьяне говорили, и что они делали. Если на мою книгу смотреть системно и в целом, то, предполагаю, не должно возникнуть вопроса о неадекватности сделанных выводов. Хотя, разумеется, пределов для расширения источниковой базы и для уточнения выводов нет.

Критик обнаруживает «небрежность» и в моем контент-анализе содержания «Нивы» (самого популярного среди интеллигенции России в 1870–1918 гг. «тонкого» еженедельного журнала либерального направления). На мой взгляд, такой анализ дает адекватную оценку коллективных представлений интеллигенции. А.Б. Лярский же считает, что «журнал скорее отражал вкусы мелкой городской буржуазии, мещанского сословия – тех, кого мы сейчас назвали бы носителями массовой культуры». Это означает, что журнал отражал вкусы полуграмотных и неграмотных мещан, ремесленников и крестьян, которые в огромном большинстве журналы не покупали и не читали. Вывод критика, ни на чем не основанный, звучит как-то по-марксистски просто. На самом деле читателями журнала были интеллигентные люди с доходами существенно выше среднего, с высшим и средним образованием (в 1897 г. в европейских губерниях их насчитывалось всего лишь соответственно 111 тыс. и 663 тыс. на 48 млн населения в возрасте 20 лет и старше). Их следует считать носителями не массовой, а скорее элитарной культуры привилегированных групп общества. Поскольку в 1900 г. тираж журнала достиг 235 тыс. экземпляров, он был практически в каждой интеллигентной семье. Столь большой тираж объяснялся тем, что взгляды, выражаемые в журнале, находили поддержку его читателей, т. е. интеллигенции, а не мелкой городской буржуазии и мещанского сословия.

По мнению дискуссанта, биографические тексты, и более всего некрологи и юбилейные статьи, написанные по заказу, могли отражать не коллективные представления, а «идеализированную самопрезентацию буржуазного городского сообщества, вполне совпадающую с культурой буржуазной этики». Но это и есть искомое – коллективные представления, но только не полуграмотных мещан, ремесленников и крестьян, едва

умевших читать, а русской интеллигенции, а также образованной части средней и крупной буржуазии. То, что повседневная практика не всегда соответствовал идеалу, – аксиома. Однако нас в данном случае и интересовали именно идеальные коллективные представления. Не знаю лучшего источника для реализации поставленной задачи, чем биографические тексты самого популярного журнала. Нужно ли привлекать другие источники? Разумеется, нужно. Но пусть мои выводы подвергаются сомнению апостериори, а не априори, как делает А.Б. Лярский. Как говорится, «я сделал что мог; кто может, пусть сделает лучше».

Основываясь на экспериментах и наблюдениях психологов и социальных психологов и анализе исторических материалов, я делаю следующий вывод: «Психологи установили: малообразованные люди легче поддаются внушению и, значит, манипулированию. <...> Кроме того, малообразованный человек легче подчиняется авторитетам; мыслит стереотипами; навязываемые ему стереотипы усваивает бессознательно, дорефлексивно и очень прочно. Благодаря этому сообщество малограмотных людей с одной стороны, твердо поддерживает существующий общественный порядок, с другой – легко поддается воздействию пропаганды, агитации и пиару, что повышает вероятность манипулирования. Это классически проявилось во время революций 1917 г.» (Миронов, 2015b: 534). Критик сомневается. «Вопрос, который ставит в этом случае перед нами история XX в., прост: что делать с историей Германии, население которой, по крайней мере по сравнению с Россией, никак не назовешь малообразованным? Или понятие “малообразованный” надо толковать расширительно, или надо обратиться к тем авторам, которые утверждали, что в третьем рейхе реализуются очень архаичные структуры мышления европейца – не знаю, но проверку эта взаимосвязь “малообразованность – манипулирование – революция” явно требует не только на русском материале».

Германия – не основание для сомнения в моем выводе, потому что я не говорю, что неграмотность – единственное условие для манипуляции. Нужно искать объяснения немецкому варианту манипулирования, а не бросать тень сомнения на мой вывод. В Германии были другие, сравнительно с Россией, предпосылки, о которых, предполагаю, знает и дискуссант. Как известно, манипулировать легче не только малообразованными, но и обиженными, оскорбленными, нуждающимися, вообще людьми, находящимися в стрессе и т. д. Германский опыт XX в., как и все варианты манипулирования человеком во всех странах и во все времена, требуется изучать. Но эта задача большого специального сравнительного исследования, а не моей книги, о которой идет речь. Причем выводы подобного исследования подорвут мое заключение только в том случае, если будет доказано, что неграмотность не влияет на степень податливости манипулированию.

Иногда, казалось бы, очевидные и доказанные в науке тезисы, вызывают у А.Б. Лярского сомнения. «Не понятно, как можно говорить о том, что “устная трансляция культуры ориентирует человека на простое воспроизводство того, что он слышал, запомнил, чему научился от предков”, если весь опыт фольклористики говорит нам о динамичном и творческом характере устной культуры?» (курсив мой. – Б. М.). Антропологи и фольклористы обнаружили, что в архаичных и традиционных обществах изменения в фольклоре происходили очень медленно, на протяжении больших отрезков времени. Культурологи говорят, что «устная традиция как форма передачи культурного опыта доминирует в архаичных, бесписьменных обществах. Возможности для сохранения, приращения, систематизации культурной информации с появлением письменности возрастают неизмеримо. Дописьменные общества – это народы без истории, потому что у них непрерывно идет “гомеостатический процесс забывания и трансформации”, в результате которого сохраняется исключительно то, в чем есть нужда в данный момент» (Матецкая, 2006).

Не буду приводить другие возражения А.Б. Лярского аналогичного рода. Он неутомим. Иногда кажется, что о себе он мог бы сказать: «Сомневаюсь, следовательно, существую». Он постоянно настороже – о чем трижды в коротком тексте уведомляет читателя. Правда, и читателя настораживает априоризм критика – уже в начале своей статьи он признается, что «все сомнения, высказанные в адрес предыдущих работ автора, безусловно, сохраняются, как сохранились они у меня» (курсив мой. – Б. М.). Почему безусловно? Ведь, по словам критика, «в текст введены новые сюжеты, и их количество довольно велико – фактически весь третий том, не говоря уже о значительно расширенных главах первого и второго

томов». Критик безусловно уверен в своей правоте?! Или на него безусловно не действуют аргументы и безусловно не производят впечатление новые материалы?!

В научной критике все возражения, сомнения и вопросы к проведенному анализу должны иметь основания. В противном случае рождается нигилизм, бросающий тень на качество проведенного исследования. И тогда никакие оговорки не помогают: «Но благодаря тому, что работа Бориса Николаевича проведена и проведена так качественно на макроуровне, возможно и декларированное мною углубленное понимание реальности на микроуровне». Но, может быть, все это небрежности языка выводов?!

Ответ Ю.В. Веселову

Область интересов дискуссанта – экономическая социология. Естественно, что его пристальное внимание привлек очерк, посвященный питанию, которое он анализирует в контексте модернизации. По его мнению, в современной историографии очерк дает самый комплексный, системный, полный, компетентный и объективный анализ истории питания; особенно важно, что в его проблематику включена оценка достаточности потребления и влияние питания на социальное здоровье. Критик дотошно анализирует методику этой оценки и приходит к выводу, что она вполне соответствует современным требованиям. В силу этого он считает убедительными два моих принципиальных вывода: (1) питание городского и сельского населения в целом в период империи можно считать более или менее удовлетворительным; (2) оно испытало модернизацию, как все процессы и явления, проходившие в империи: потребление росло и становилось более разнообразным, стабильным и обильным благодаря прогрессу в производстве, хранении, обмене и транспортировке продовольствия. В ходе модернизации частота голодных лет и продолжительность периодов голодовок сокращались, что приводило к сглаживанию пиков колебаний в потреблении продуктов питания, причем прогрессивные изменения происходили в потреблении всех классов, но в разной степени – они затронули в большей мере городское население – к 1915 г. это 15 % населения страны. Только удовлетворительное народное потребление могло обеспечить расширенное воспроизводство населения и соответствующий ему уровень общественного здоровья. По мнению Ю.В. Веселова, феноменальный рост численности населения империи (с 1646 по 1914 г. оно выросло в 10,4 раза (с 7 млн до 73 млн) в границах 1646 г.) подтверждает адекватность моего вывода.

Веселов подчеркнул, что изменения в структуре питания россиян были аналогичные тем, которые происходили во всех европейских странах, и что России удалось избежать участи стран, попытавшихся быстро перейти к моноспециализации сельского хозяйства. «Шоковая модернизация традиционного сельского хозяйства чревата проблемами». Например, переход Ирландии на выращивание картофеля сопровождался голодовками, когда из-за болезней в одночасье погибал весь урожай; в странах Центральной и Южной Европы чрезмерное распространение кукурузы и повсеместное использование ее в пищу привело к массовым заболеваниям пеллагрой, которая двигалась следом за распространением кукурузы, начиная с 1730–1740-х гг. и до окончательного ее закрепления на европейских полях после голода 1816–1817 гг. В испанской Валенсии выращивание в больших количествах риса привело к эпидемиям малярии.

На взгляд дискуссанта, сравнение приведенных в книге данных о потреблении алкоголя в имперской и современной России и в зарубежных странах позволяет усомниться в мифе о пьяной России: всех алкогольных напитков в переводе на чистый (96 %) спирт потреблялось в 1913 г. 3,1 л, в СССР в 1987 г. – 4,4 л (меньше, чем в остальной Европе), в РФ в 2010 г. – около 18 л, в 2015 г. – 13,5 л. Привычка много пить, получается, новая, постсоветская, а в последние годы все большее число людей от нее отказываются.

Ю.В. Веселов подчеркивает важное значение собирательства в обычном питании крестьян – на каждом столе грибы, ягоды, фрукты, орехи – традиция до сих пор сохранившаяся. По оценкам экспертов, всего в современной России собирается в год в лесах более 150 тыс. т грибов и 375 тыс. т ягод ([Аргументы недели, 2016: 7](#)), до 1917 г., очевидно, собиралось больше.

По мнению критика, следовало указать на следующую особенность потребления русских и всех православных людей – у них не было абсолютно запрещенных продуктов, как в системе халяльного у мусульман или кошерного питания у евреев. Упущением в анализе в данной главе является также недостаточное внимание к неурожаем, голодовкам и их социальным последствиям. Соответствующие данные приводятся в других главах, а в

подразделе о потреблении, где бы они были наиболее уместны, о них даже не упоминается и не сделана перекрестная ссылка. Но данные о том, что пики смертности совпадали не с пиками повышения цен, а с распространением инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний, убеждают критика в том, что не голодовки являлись главной причиной высокой смертности крестьянства и населения России в целом.

Как социолог, Ю.В. Веселов отметил зафиксированную мною социальную, гендерную и детскую дискриминацию в сфере питания не только крестьян, но и горожан – в первую очередь и лучше кормили мужчин-работников, потом женщин и детей. Однако «социальное расслоение деревни в процессе потребления продуктов питания не так велико, как нас учили в советское время», даже среди привилегированных слоев избыточностью страдала относительно небольшая по численности группа населения. Удивился Веселов и тому, что «не отличался особой роскошью даже царский стол, по крайней мере о пирах Гелиогабала и других римских императоров можно не вспоминать. ...Дневное меню семьи Николая II ничем не лучше меню современного отеля all inclusive».

Ответ А. Ю. Морозову

Статья посвящена на первый взгляд частному, но очень важному вопросу – оценке роли дворянского самоуправления в истории России. Вопросу важному потому, что самое влиятельное сословие до 1861 г. шло в авангарде борьбы за сословные права, а после 1861 г. – за политические и гражданские права. И если дворянское самоуправление было слабым, то трудно говорить о сильном сословном самоуправлении крестьянства и городского сословия и о развитии гражданского общества. На мой взгляд, дворянское самоуправление имело юридическое основание и фактически существовало с 1785 г., благодаря чему каждое дворянское общество представляло собой сложившийся элемент гражданского общества. По мнению критика, в первой половине XIX в. «с сугубо юридической точки зрения» есть основания для вывода о росте самостоятельности дворянских собраний, но вопрос о том, в какой мере на практике реализовывались эти возможности, нуждается в дальнейшем изучении. Однако элементом гражданского общества, по его мнению, дворянское общество стало только в пореформенное время.

В историографии по этому вопросу также нет единого мнения. Причины расхождений по большей части состоят не в правоте одних и неправоте других исследователей, а главным образом в том, что между губерниями существовали значительные расхождения в численности, структуре и состоятельности дворянства, во времени устройства сословного самоуправления и в степени контроля над ним со стороны коронных властей. Как показано в моей книге, причины региональных различий состояли в лакунах и нечеткости отдельных юридических норм, в недоуправлении и слабом контроле со стороны центральных коронных властей, в наличии элементов самоорганизации, в соотношении сил между сословными дворянскими и коронными властями, в медленных и слабых информационных потоках (Миронов, 2015а: 281–299).

А.Ю. Морозов не уверен, что юридических оснований для дворянского самоуправления в первой половине XIX в. было достаточно. В то же время он считает, что после 1861 г. эти основания остались прежними, но влияние дворянских обществ существенно возросло. Значит, и до 1861 г. закон позволял самоуправлению и дворянским обществам быть работающими и действенными. Но юридический критерий – узкий и неадекватный. Критик указывает, что коронная администрация обходила юридические ограничения, однако известны случаи, когда и дворянство в свою очередь обходило ограничения на их самодеятельность. Четкость и прописанность в законе процедуры – важный аспект, но не главный. Нередко обычай и традиции сильнее закона. Писаного текста английской конституции не существует; нет даже точного перечня документов, которые бы к ней относились. Конституция состоит из некодифицированных законов, прецедентов и конституционных обычаев, которые определяют порядок формирования и полномочия органов государства, принципы взаимоотношений государственных органов между собой, а также государственных органов и граждан. Однако Британия считается образцом демократии.

Вопрос, таким образом, сводится к тому, как было на практике. В качестве критериев действенности дворянского общества обычно используются два: влияние дворянства на местную коронную администрацию и степень ее вмешательства в дворянское самоуправление. Мы имеем три набора свидетельств на этот счет: первый говорит, что

самоуправления фактически не существовало, второй – что оно было де-факто, третий – что было де-юре. По мнению дискуссанта, я привел недостаточно свидетельств в пользу наличия самоуправления в первой половине XIX в. Однако его вывод основывается на одном подразделе из 7-й главы «Община и самоуправление» (Миронов, 2015а: 281–298), между тем как этом вопрос анализируется еще в четырех главах: в главе 2 «Социальная стратификация и социальная мобильность» (Миронов, 2014: 323–504), в главе 6 «Крепостное право: от зенита до заката» (Миронов, 2015а: 9–132), в главе 8 «Государственность и государство» (Миронов, 2015а: 345–685), в главе 9 «Общество, государство, общественное мнение» (Миронов, 2015а: 687–890). Приведу несколько примеров.

Реальное влияние дворянства на местную коронную администрацию превышало юридические возможности, которые давала ему Жалованная грамота, благодаря тому, что именно правовое оформление губернского дворянского общества создало общественное мнение, с которым считалась и местная коронная администрация, и верховная власть (Миронов, 2015а: 759–775). В 1830-е гг. трое симбирских губернаторов подряд были вынуждены оставить свой пост из-за неуважительного отношения к мнению местного дворянства, что в законе не прописывалось (Миронов, 2015а: 769). Если это стало возможным в одной губернии, то могло происходить и в других. И действительно. А.И. Герцен, имея в виду первую половину XIX в., писал: «Власть губернатора растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири». Автор приводит примеры, как местное дворянское общество сопротивлялось произволу местной коронной администрации и добивалось устранения неудобных администраторов, включая губернаторов, чего в Жалованной грамоте не предусматривалось.

М.М. Сперанский в бытность свою сибирским генерал-губернатором провел ревизию управления в 1821 г. и обнаружил вопиющую картину злоупотреблений. Главную причину беспорядков он усматривал в отсутствии общественного мнения, носителем которого, на его взгляд, являлось дворянство.

Современник и знаток административных порядков первой половины XIX в. известный юрист А.В. Лохвицкий делил российские губернии с точки зрения административных злоупотреблений на дворянские и чиновничьи, т. е. такие, где имелись или отсутствовали дворянские общества. В чиновничьих губерниях произвол чиновников не встречает себе препятствий: «Нет общественного мнения, нет важных должностей, занятых по выбору дворянства, нет общества. Наша жизнь еще не выработала сильного и образованного класса вне дворянства». И само дворянское общество, и коронная администрация считали дворянские собрания рупором общественного мнения. «Дворянство сделалось некоторым образом легальным представителем губернии в противоположность губернатору как представителю государства. <...> Поэтому там, где не было дворянства, общества не существовало: были только чиновники и безличная масса, в которой и городское сословие было мужицким. Такой тип представляют губернии сибирские, Олонецкая, Архангельская и отчасти другие. Карта крепостного населения (и, следовательно, распределения поместного дворянства. – Б. М.) дает довольно верное понятие об общественной силе различных губерний» (Миронов, 2015а: 769–770). В современной историографии точка зрения о большой роли местного дворянства в местном управлении, способного убрать неудобного губернатора, находит подтверждение.

Относительно абсентеизма. Нет сомнения в факте масштабного распространения абсентеизма, но его степень и важность преувеличиваются. Дворянство становилось активным участником дворянских собраний, когда в повестке дня стояли его коренные сословные интересы, а в остальное время проявляло индифферентность. Отсюда волнообразность его активности. Само создание дворянской корпоративной организации в 1785 г. вызвало прилив энтузиазма и высокую активность. При Павле I активность резко упала, вновь выросла в начале царствования Александра I, снизилась при Николае I и вновь повысилась при Александре II во время подготовки и проведения крестьянской реформы. Если определять активность дворян на выборах, исходя из числа тех, кто реально имел избирательные права, а не общего числа дворян в уезде, то получается, что в периоды понижения активности, например в 1820-х гг., принимали участие в выборах около 25–30 % дворян, а в период высокой активности, например во второй половине 1850-х гг., – до 60 %. Для сравнения, в Российской Федерации в 2009–2012 гг. в среднем явка на выборах в

городские советы составила 37 %, в региональные парламенты – 45 %, в Государственную думу – 60 %, на выборах мэров – 40 %, президента РФ – 63 %. При этом явка на всех выборах варьировалась в широких пределах: от крайне низких (13 % на муниципальных выборах, 29 % на региональных и 43 % на федеральных) до крайне высоких (96 % на муниципальных и региональных выборах и 99,6 % на федеральных) (Любарев, 2013). На выборах в 2016 г. по РФ приняли участие 47,9 % избирателей, в Москве и С.-Петербурге – соответственно 35,2 и 25,6 %. В большинстве «цивилизованных» стран явка избирателей, как правило, еще ниже.

В конце XIX в. в дворянских собраниях принимали участие лишь около 21 % из имевших на это право, несмотря на это дискуссант считает, что реальное самоуправление во второй половине XIX в. существовало, а в первой половине XIX в., когда абсентеизма было меньше, – нет. Это нелогично.

Однако вполне согласен с А.Ю. Морозовым в главном – в том, что «за почти полтора столетия своей истории дворянская корпоративная организация эволюционировала из института традиционного в гражданский (сохранив многие черты традиционной организации)». Мы расходимся, таким образом, лишь в оценке темпов развития дворянского самосознания и самоуправления.

Ответ Г.Н. Ульяновой

Красной нитью через отзыв проходит мысль о том, что «книга не является строгой классической научной монографией для узкого круга читателей, напротив, написана понятным языком и содержит, наряду с академическими рассуждениями, публицистические размышления». Дискуссант отмечает «сбалансированную подачу в тексте теории, статистики и нарратива». Эти особенности книги не только не осуждаются, но приветствуются. «Многоуровневый текст будет ясен и простому читателю, не имеющему исторического образования, и профессиональным историкам». Такой стиль, по мнению критика, расширяет круг читателей, включая в их ряды широкую публику. Дискуссионная же подача материала, полагает критик, привлечет к книге молодых историков, «начитанных и одновременно обремененных бессмысленным шумом ненаучного знания в виде фантастических представлений о прошлом, порожденных массовой культурой и дилетантами в Интернете». Вместе с тем Г.Н. Ульянова сделала ряд полезных замечаний.

В книге отмечено, но лишь вскользь, что «потере интереса к купеческому обществу способствовал также закон 1898 г. о промысловом налоге, давший право на свободу частного предпринимательства всем подданным независимо от принадлежности к купеческим гильдиям» (Миронов, 2015а: 337, примеч. 411). Этот факт, конечно, заслуживал большего внимания. Критик справедливо пишет, что введение промыслового налога в 1898 г. изменило состав купечества. В его рядах остались представители старых династий для подтверждения «древности» рода и пребывания в торговом сословии. Лица из непривилегированных социальных групп, например из крестьян и мещан, продолжали приписываться в купечество ради престижа, а евреи ради права выехать из черты оседлости в большие города, которое давал статус купца.

Дискуссант справедливо подчеркивает, что угасание купеческих обществ (как самоуправляющихся корпораций) свидетельствовало не о слабости купечества, а о том, что купечество перестало замыкаться в рамках своей корпорации и вышло на более широкое поле гражданской деятельности, влившись в ряды так называемой «общественности». Это было деградацией старых сословных институтов, а не упадком самой социальной группы.

На взгляд Г.Н. Ульяновой, неуместно ссылаться одновременно на серьезные академические исследования и компилятивные популярные работы, как случается иногда в трехтомнике. Это касается работ по истории бюрократии, дворянских и купеческих родов. Ссылаюсь на них из предположения, что широкой читающей публике, на внимание которой рассчитывают авторы, они могут быть интересными.

Не нравится критику также обращение к персональным сайтам при ссылке на какие-то работы. Думаю, что это дело вкуса. Я использую любые источники информации, заслуживающие доверия.

Критик забраковала подписи под двумя из 539 иллюстраций. По сути дела она права. Но такими аннотациями были снабжены фотографии в архивных фондах, из которых они заимствованы. Ей также показалась неуместной фотография «В Бухарской тюрьме. 1900-е» (Миронов, 2015b: 80) на том основании, что Бухарский эмират юридически никогда не

являлся частью России, хотя и был под ее протекторатом. Думаю, однако, если следовать этому принципу, то пришлось бы исключать все иллюстрации о жизни за рубежом, что нарушило бы другой, более важный принцип, которому я следую – везде проводить по возможности сравнительно-исторический анализ.

Ответ Ю.Н. Смирнову

В статье основное внимание сосредоточилось на двух проблемах – колонизации и крепостничестве. Дискуссант протестировал мои наблюдения общероссийского характера на материалах юго-востока России.

Подтвердив правильность схемы, он нашел немало региональных особенностей, обусловленных географической и социально-экономической спецификой, которые проявлялись и в других районах империи.

Критик согласился с тезисом о благотворных (по большому счету) последствиях включения новых земель в состав империи как для страны в целом, так и ее народов. Но, говоря о колонизации в юго-восточном направлении, автор делает два ценных уточнения.

Во-первых, по его сведениям, в ней участвовали наряду с православными славянами протестанты западноевропейского и мусульмане тюркского происхождения. При этом «миграционная парадигма», о которой я говорю, была не только русской, а разделялась мордвой, чувашами и татарами, хотя и на свой лад. В силу этого защита своей языческой и исламской «старины» тоже оказалась немаловажным фактором их переселения.

Во-вторых, Ю.Н. Смирнов предлагает откорректировать мой тезис о том, что население России в период крепостного права, 1650–1858 гг., было менее мобильным, чем до закрепощения. В доказательство он указывает на масштабные самовольные переселения крестьян в юго-восточном направлении в XVIII в. В стихийной народной колонизации принимало участие «значительное количество» государственных и удельных крестьян, на уход которых власти реагировали спокойно, лишь бы те на новом месте жительства продолжали платить подати. У беглых помещичьих крепостных существовали свои вполне легальные способы закрепиться на новом месте жительства, в том числе весьма оригинальные. Например, беглый объявлял себя «не помнящим родства», т. е. не знающим своего происхождения и прежнего жительства. Если чиновникам не удавалось доказать обратного, он попадал в особую категорию государственных крестьян – «не помнящих родства», которыми в Заволжье были заселены целые слободы, имевших своих официально признаваемых выборных и посылавших депутатов в Уложенную комиссию Екатерины II. В 1746 г. Сенат распорядился всех, «не помнящих родства», обнаруженных во время ревизии в различных частях России, отправлять на поселение в Оренбургскую губернию. Массовое переселение беглых было возможным благодаря тому, что коронные власти, заинтересованные в заселении новых земель, смотрели сквозь пальцы на нарушения крепостного режима. С конца XVIII в. после пресечения массовых стихийных переселений беглых миграции все-таки продолжались под прикрытием работы на различных волжских промыслах. В 1852 г. секретным распоряжением правительство фактически упразднило паспортный контроль в Самаре над торговцами, транспортными и сельскохозяйственными рабочими.

Нелегальные пути колонизации действительно всегда существовали, но об их масштабе мы не знаем, и критик не приводит статистики. Оценки типа «значительное количество», «в переписях многих новопоселенных деревень» статистику не заменяют. А без этого принять его корректировку не представляется возможным. Между тем согласно имеющимся данным, приведенными в моей книге, в мирный и благоприятный в экономическом отношении период между 1498 и 1539 г. в ряде уездов, о которых сохранились сведения, лишь около 30 % крестьян оставались в домах своих отцов или поселялись в ближайшем соседстве, 36 % переехали в другие селения данного уезда и 20 % выселились за пределы своего уезда (о судьбе остальных сведения отсутствуют). В годы кризиса, 1539–1576 гг., за пределы уезда выселялось до 60 % крестьян (Миронов, 2014: 100). Мне трудно представить, что в XVIII – первой половине XIX в. в самовольной колонизации участвовало от 20 до 60 % крестьян хотя бы одного какого-нибудь российского уезда – это означало бы полный экономический коллапс, которого, как признает дискуссант, не наблюдалось. Пока можно согласиться лишь с тем, что «крепостничество, хотя и ограничило самовольные переселения, но не только не остановило, а даже не лишило их массового

характера». Вследствие этого и аргумент о введении крепостничества по причине массовой неконтролируемой миграции, остается в силе.

Отвечу на другие конкретные замечания. Ю.Н. Смирнов заметил в табл. 1.7 первой главы (Миронов, 2014: 99) в числе территорий, на которые до 1740 г. не было переселений, указано Поволжье и Приуралье, что не соответствует действительности. Причина – отсутствие официальных данных по этим регионам, о чем мне нужно было, конечно, уведомить читателя. А стихийные миграции, о которых пишет критик, как правило, не фиксировались.

Ликвидация Калмыцкого ханства в 1771 г. действительно стала следствием «эмиграции» из России в Джунгарию 200 тыс. калмыков.

Согласен с замечанием, что часть так называемых «ясачных инородцев», проживавших на юге-востоке в XVIII – первой половине XIX в., платили не особый налог – «ясак», а, как и все государственные крестьяне, подушную подать, оброчный сбор, несли рекрутскую и прочие повинности. Дискуссант объясняет, что «ясачными же они назывались по традиции с тех времен, когда на Волге участки, с которых взимались подати, именовались «ясаками». Слова «черносошный» и «ясачный» (чаще писали «ясашный») по сути являются синонимами, один с русским, другой – с тюркским корнем».

Относительно происхождения частновладельческого крепостного права между нами есть расхождение. По мнению Ю.Н. Смирнова, несмотря на важные функции, которые выполняло крепостное право для общества, этот институт следует считать абсолютным нравственным злом. Принудительная мобилизация и подневольное напряжение сил не могут быть оправданы их функциональной целесообразностью уже только потому, что цена была чрезмерной. Без крепостного права в деле социального развития и воспитания общественной зрелости России «можно было добиться большего». На мой взгляд, в научном анализе целесообразно отделять научные оценки от моральных, не отказываясь от последних. Мое функционалистское объяснение происхождения и заката крепостного права имеют целью не облагородить этот всемирный институт, который использовали все европейские страны для решения национальных проблем, а чтобы показать, что верховная власть при введении крепостного права руководствовалась – даже если и ошибочно! – государственными соображениями.

Зато по вопросу отмены крепостного права между мною и Ю.Н. Смирновым наблюдается полное согласие. Мой тезис, обоснованный еще в «Социальной истории...», что к моменту эмансипации резервы крепостничества с экономической стороны не были исчерпаны, что оно было отменено в силу государственной и общественной потребности в модернизации и более глубоком усвоении европейских культурных, политических и социально-культурных стандартов, нашел его полную поддержку. Он также признал, что «проводником крестьянской и других реформ стала имперская «просвещенная» бюрократия».

Еще одно расхождение. По мнению критика, в поисках причин установления неоправданного «дворянства» я пошел за В.О. Ключевским и его последователями, полагая, что именно гвардия в 1725–1762 гг. сыграла консолидирующую роль для дворянского сословия, что в ходе ее выступлений это сословие и осознало себя общественной и военной силой. В доказательство он ссылается на полковые списки, согласно которым гвардия в XVIII в. не была чисто дворянской по составу, и на другие материалы, якобы свидетельствующие о том, что «гвардия в дворцовых переворотах являлась не застрельщиком, а инструментом борьбы придворных группировок за власть». Армия – механизм, действующий без рассуждений и сомнений по приказу офицеров, которые все были дворянами (поскольку первый офицерский чин давал потомственное дворянство). Солдаты играют роль пушечного мяса. Вследствие этого именно позиция офицеров-дворян предопределяла участие гвардии в дворцовых переворотах. Мы знаем об этом также по восстанию декабристов, когда офицеры обманым путем вывели солдат на Сенатскую площадь. При одних обстоятельствах гвардия могла быть инструментом борьбы придворных группировок, при других могла и действительно была «боевой частью регулярной армии, которая служила трону, империи, государству». Но я вполне согласен с Ю.Н. Смирновым в том, что «механизм утверждения «дворянства» был все-таки более сложным, чем представляет «гвардейская парадигма», и не считаю ее единственным фактором, послужившим укреплению положения дворянства и его власти над крестьянами в XVIII в.

Ответ У. Сандерленду

По мнению американского коллеги, книга представляет собой необычное сочетание глубокого эмпирического исследования социальной жизни России в имперскую эпоху и эссе на разнообразные темы, которые временами перемежаются с анализом. В своем обзоре дискуссант сконцентрировался на проблеме империи, рассмотренной мною преимущественно в первой главе книги. Его оценка моей интерпретации Российской империи *с точки зрения этноконфессиональных отношений и политики* точно выражена в самом названии статьи – «Стакан, наполненный наполовину, возможно, на три четверти» или, как он пишет в заключении: «Российская империя в изображении Миронова напоминает мне стакан, наполненный наполовину, возможно, даже на три четверти». По мнению критика, «книга далека от поверхностного прославления российского опыта» – это вполне академическое произведение, рассматривающее империю во всей ее сложности, противоречивости и разнообразии; однако ее автор, анализируя имперский опыт, склонен обобщать его скорее в положительном, чем негативном ключе, – «он округляет в сторону увеличения, а не в сторону уменьшения». Причем в трактовке имперских проблем, как, впрочем, и всех других, я, по словам У. Сандерленда, «абсолютно откровенен относительно своих ориентаций и предпочтений» и отстаиваю свою концепцию аргументированно – «таким способом, который заставляет читателя задуматься».

У. Сандерленд полагает, что моя концепция заслуживает одобрения во многих отношениях. Она учитывает и положительно оценивает долгосрочную историческую стабильность империи и принципы этноконфессиональной политики правительства, превратившие ее в своеобразную конструкцию, в одних аспектах подобную другим империям, в других – от них отличающуюся. Критик соглашается, что «ошеломляющая необъятность империи» оказала принципиальное и позитивное влияние на развитие государства, что многочисленные народы империи действительно извлекли пользу от их объединения в российское пространство, что этнические русские не были «господствующим народом», получающим наибольшую выгоду от имперской структуры. И все же картина, рисуемая мною, представляется критику несколько односторонней, так как преувеличивает достоинства империи. Долгую, сложную, противоречивую историю различных народов в империи «трудно вписать в категории успеха или провала». А если это сделать, то неизбежны пропуски, которые могут создать искаженное представление об империи. У. Сандерленд обосновывает свою точку зрения «о стакане, наполненном наполовину, возможно, на три четверти», на примерах, показывающих, по его мнению, что я несколько приукрашиваю реальную ситуацию. На мой взгляд, слабость его аргументов состоит в том, что против моих обобщений, опирающихся на всероссийские и часто статистические данные, он выставляет отдельные негативные конкретные примеры, причем негативность, говоря его словами, «округляет в сторону увеличения».

«*На первый взгляд*, – пишет он, – в период империи русских в имперскую периферию переселилось больше, чем нерусских из имперской периферии» (курсив мой. – Б. М.). Зачем делать выводы по первому впечатлению, если в книге приведены исчерпывающие на этот счет данные?! «В 1897 г. на территории, инкорпорированной Россией после 1646 г., проживало 76,9 млн человек, из них лишь 12,2 млн, или 15,7 %, были русскими; на территории, заселенной русскими до 1646 г., проживало 52,0 млн, из них 8,5 млн, или 16,3 %, были нерусскими» (Миронов, 2014: 97). Разумеется, в отдельных регионах баланс миграций мог несколько отличаться в ту или иную сторону от суммарной цифры. Между тем критик *на основе своего впечатления* делает далеко идущие выводы о вытеснении русскими аборигенов с их исконных земель – но без всякой статистики! Я не сомневаюсь, что в отдельных случаях вытеснение аборигенов имело место, и даже указываю на некоторые подобные примеры. Но мой вывод обобщает имперский опыт, значит, речь идет о балансе. Например, когда мы обобщаем опыт США, то говорим, что белые вытеснили индейцев и загнали их в резервации. При этом, уверен, найдутся и примеры, когда некоторые белые защищали индейцев.

Аналогичным образом, по мнению критика, я не отрицаю фактов насилия со стороны русских в ходе аннексии, но делаю это «несистематическим способом» и сравнительно мало говорю о завоеваниях, которые заслуживают большего внимания. Я признаю наличие «колониальных аспектов» в строительстве империи, но в меньшей степени, чем это было на самом деле. Я не скрываю наличие в этноконфессиональной политике правительства антиеврейских элементов, но не называю политику в отношении евреев антисемитизмом.

Во всех этих и других случаях, как считает критик, негативный аспект этноконфессиональной политики недооценивается. С этим отчасти можно согласиться. Но относительно расизма принять возражения дискуссанта едва ли возможно. По его мнению, мое утверждение: «Российская империя никогда не знала расизма» – преувеличение, игнорирующее некоторые аспекты российского правления в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Например, в Ташкенте, указывает он, русские и «местные жители», которых называли туземцами, проживали в разных частях города – в «новом» и «старом». Во Владивостоке «желтые», как называли русские китайцев, по критериям санитарии и преступности, которые следует считать предубеждениями или предрассудками, были вынуждены проживать в китайском квартале, что «весьма напоминало расистские практики, распространенные в таких более открытых расистских обществах, как США, Канада и Австралия».

Разумеется, нельзя исключить, что на «ошеломляющих» просторах империи где-то можно было встретить проявления расизма, но в приведенных примерах его нет. В конце XIX – начале XX в. во всех больших городах мира, включая Европу и Северную Америку, существовала пространственная, или географическая, сегрегация – различные социальные, земляческие или этнические группы проживали в разных кварталах или улицах. Это явление наблюдалось и в Петербурге. Причины раздельного проживания были различными. В Ташкенте и Владивостоке, как и в Петербурге, подобная сегрегация покоилась на социальных и культурных основаниях, ничего общего не имевших с расизмом, который, как известно, имеет в виду физическую и умственную неравноценность человеческих рас. В Ташкенте новый город возводился русскими не только как место жительства для себя, поскольку жить вместе с местными жителями рядом не представлялось возможным, но и как образец для подражания местному населению. Этноконфессиональная политика в Туркестане имела целью сближение местного населения с русской администрацией и русскими, что показано в моей книге (см. также: [Термен, 1914: 3–20](#); [Федоров, 1913](#)).

Современники отмечали этническую толерантность российских дальневосточников даже на бытовом уровне и слабое развитие национализма, за исключением времени военных действий. Во Владивостоке большинство китайцев, неимущих, не знавших или очень плохо знавших русский язык, жили особыми кварталами не вследствие расистских предрассудков русских, а по причине целесообразности проживания вместе, по соседству людей одной культуры, одного языка и одного социального статуса. Ввиду бедности и временности пребывания они жили в антисанитарных условиях даже по меркам того времени. В одной комнате могли работать, спать, есть и стирать белье. Грязная вода выливалась прямо во дворах домов. Если китайцы поселялись в русских кварталах, они приносили с собой свои обычаи и привычки. В результате многоквартирные дома, в которых они поселялись, становились пристанищем для бедных и неимущих, где царил грязь и невероятная скученность – в каждой комнате проживало по 10–20 человек. Среди них было много криминальных элементов и нелегальных иммигрантов без документов на право жительства в России и национальных паспортов. Полиция и санитарные врачи, несмотря на все старания, не могли с этим справиться. В 1915 г., во время войны и под ее влиянием, вследствие огромного наплыва мигрантов, а не в силу расистских предубеждений, городская дума приняла постановление об особых кварталах для китайцев – правом повсеместного жительства вне этих кварталов обладали лишь те китайцы, которые имели русское подданство, недвижимую собственность, а также водonoсы ([Власов, 2010](#); [Прей, 2010](#)).

Аналогично с антисемитизмом. Антиеврейские элементы в политике – это не антисемитизм, потому что антисемитизм имеет расовую подоплеку. Кроме того, у современного человека с этим словом связаны столь сильные негативные ассоциации с фашизмом и холокостом, что использовать этот термин применительно к началу XX в. мне представляется неуместным.

Таким образом, У. Сандерленд предлагает откорректировать мои выводы. Но почему на 50 или 25 %? Скорее всего, «стакан, наполненный наполовину, возможно, на три четверти» – это метафора или фигура речи, означающая, что в моем исследовании имеет место недооценка негативных последствий этноконфессиональной политики правительства. Степень недооценки определить точно невозможно. Но, пожалуй, можно согласиться с критиком в том, что мои обобщения покрывают не менее 75 % фактов, касающихся этноконфессиональных отношений в Российской империи.

Замечания У. Сандерленда перекликаются, но не совпадают полностью с замечаниями В.В. Керова, который также полагает, что «существовало множество случаев отступления от норм национальной и конфессиональной “толерантности”». Однако у него не сложилось впечатления, что я их недооцениваю – по его мнению, в некоторых случаях (в отношении евреев и старообрядцев) они неверно объяснены (об этом шла речь в моем ответе В.В. Керову). Если У. Сандерленд считает, что мое изображение этноконфессиональной политики в лучшем случае адекватно лишь на 75 %, то, с точки зрения В.В. Керова «в целом очерки национальной политики можно считать удачей автора работы».

Существенно по-иному оценил имперский подраздел книги И.И. Верняев.

Ответ И. И. Верняеву

Анализируя книгу с точки зрения социальной антропологии, дискуссант переформатировал мой исторический нарратив в этнографический, применив специфические для данной дисциплины подходы и понятийный аппарат. Как указывает И.И. Верняев, он интерпретировал мой текст «с точки зрения разработанных в современной этнографии моделей традиционных обществ и культур, способов их модернизации и инкорпорации в современное общество». В результате текст заиграл другими красками, в нем обнаружились латентные смыслы, понятные социальному антропологу, а после того как смыслы были открыты, они становятся понятными и любому читателю. Текст об этноконфессиональной политике имперского правительства превратился в текст о «принципах и технологиях управления этноконфессиональным разнообразием и трансформацией традиционных социокультурных институтов с точки зрения разработанных в современной этнографии моделей традиционных обществ и культур, способов их модернизации и инкорпорации в современное общество». В таком переформатированном виде трехтомник может служить «ценным источником первичных данных, их глубокого аналитического осмысления и обобщающих моделей» и «открывает широкие возможности для проведения межстрановых и межрегиональных сравнительных исследований». Антропологизация текста стала возможной, во-первых, благодаря креативности И.И. Верняева, во-вторых, вследствие того, что пути и типология трансформации традиционных социумов и культур, их интеграция в современные общественные и государственные системы, способы управления этноконфессиональным разнообразием являются важнейшими темами современной социальной антропологии и этнографии.

Дискуссант соглашается с тем, что характерными чертами этноконфессиональной политики являлись сохранение статус-кво, использование косвенного, непрямого управления, предоставление широкой автономии присоединяемым территориям и проживающим там этническим группам, в особенности на первых этапах интеграции, этническая и конфессиональная толерантность, отсутствие по большей части правовой дискриминации по национальному или конфессиональному признаку. Эта политика была прагматичной и обуславливалась объективными факторами, прежде всего недостатком административного ресурса у Петербурга. Но критик предлагает посмотреть на имперский опыт России с точки зрения «управленческих “технологий”, позволявших осуществлять как “сборку” имперского пространства, так и постепенную, достаточно гибкую и непрямую интеграцию регионов и этнических групп».

К их числу он относит использование технологии промежуточных, компромиссных институтов, обеспечивающих симбиоз новых и старых институтов без травматической ломки последних. Исследования процессов модернизации традиционных обществ, их интеграции в современные экономические и социально-политические системы показали, что многие традиционалистские институты (родоплеменные, территориально-общинные, патрон-клиентские, кастовые и др.) могут вполне сочетаться с активной и успешной адаптацией обществ с такими социальными структурами в индустриальной экономике и в политическом процессе. Соответственно реформаторам нет необходимости осуществлять своего рода тотальную перестройку всех подсистем, сложившихся в регионах симбиотической институциональной системы традиционного типа одновременно и в исторически короткие сроки. Попытка подобной тотальной модернизации и унификации этноконфессиональных регионов России в последние десятилетия XIX – начале XX в. привела в итоге к возникновению дезинтеграционных тенденций в некоторых из них.

Важной технологией управления этноконфессиональным разнообразием он считает «процессы конфессионализации, легитимации существующих в империи религий и религиозных сообществ, включение их в систему государственного управления». Конфессионализация подразумевала признание религий и соответствующих религиозных сообществ как коллективных субъектов, конфессиональных корпораций, формирование государственной правовой базы их функционирования, покровительство им, защиту, признание особого статуса, прав и привилегий духовных лиц. Создание и признание управленческой вертикали признанных вероисповеданий и их инкорпорация в имперские структуры управления означали одновременно и постановку под государственный контроль трансграничных связей соответствующей конфессии, предотвращение альтернативной мобилизации части российского населения вокруг зарубежных конфессионально-политических центров.

Еще одной технологией имперской «инженерии» И.И. Верняев называет включение национальных элит в систему управления империи, сотрудничество с ними имперского центра, преобладание социальной ассимиляции над собственно этнической, приоритет политической лояльности интегрируемых обществ и их лидеров. Особенно важным было проведение технологии «социальной ассимиляции» в отношении национальных элит. Их лояльность обеспечивалась во многом сохранением, а нередко и усилением привилегированного статуса уже в новом для них, имперском пространстве. В результате в Российской империи по мере инкорпорации новых территорий постепенно складывалась полиэтноконфессиональная по своему происхождению имперская элита.

К важной технологии управления дискуссант относит практику создания некоторых преимуществ этническим группам национальных регионов страны, предоставления особого правового статуса «инородческому» населению, обеспечения их рядом льгот и привилегий.

Критик считает актуальным вопрос о «цене империи» и соглашается с использованной в книге методикой расчета «цены империи» как соотношения, с одной стороны, стоимости регионального управления, обеспечения безопасности, вложений, предпочтений и, с другой стороны, доходов, получаемых от национальной окраины.

Он приветствует применение теорий фронта к анализу российской колонизации, так как последняя осуществлялась по *фронтирной модели*. Поскольку российская граница в течение многих столетий была подвижной, пограничные территории долгое время находились во фронтирном состоянии, которое являлось своего рода пред-интеграционной подготовкой, необходимой стадией для последующих, более глубоких процессов административно-управленческой, правовой, инфраструктурой интеграции региона. Для пограничных, фронтирных территорий характерны проницаемость границ, гибридные социальные формы, множественность правовых норм, преобладание обычного права, слабость административного контроля, интенсивные обмены, в том числе брачные, симбиозы обменные, торговые, хозяйственные, взаимная аккультурация, отсутствие четко определенных этнических «фронтов», формирование смешанных, этнически гетерогенных сообществ.

Таким образом, статья И.И. Верняева демонстрирует большие перспективы междисциплинарного подхода.

Ответ В.А. Шкуратову

Приятно сознавать, что российский классик в области исторической психологии поддержал мою скромную попытку объяснить особенности поведения русского крестьянина, а точнее неграмотного простолюдина, принимая во внимание особенности его психического склада. Ради этого мне пришлось использовать некоторые концепты исторической психологии.

Дискуссант объясняет отсутствие интереса к исторической психологии в трудах современных психологов «кардинальным методологическим различием двух современных наук о человеке и обществе: историки работают с документами прошлого, психологи с приборно-тестовыми данными о живых людях. Совместить две познавательные системы в устойчивый научно-исследовательский комплекс до сих пор не удалось». Признавая этот конфликт трудноразрешимым, критик считает, что лишь «в далекой перспективе психологическая наука может стать триединством исследований человека прошлого, настоящего и будущего», если найдет гуманитарную альтернативу современной психологии, основанной на экспериментально-тестовых стандартизированных процедурах. И научное

творчество самого В.А. Шкуратова имеет целью найти эту гуманитарную альтернативу. Мне также кажется, что скептицизм о возможности воссоединения истории с психологией преувеличен, потому что прошлое все-таки оставило нам источники, которые отчасти могут заменить нам эксперименты. Например, по сохранившемуся описанию симптомов болезни, от которой умер человек, современный врач может поставить правильный диагноз. Наблюдения антропологов, этнологов и психологов XIX–XX вв. дают много ценной информации о когнитивных особенностях архаического и традиционного человека.

Дискуссант поддержал стадийный подход к ментальному развитию. В «Российской империи...» в качестве начальной точки выделен мифологичный психический тип, а в качестве конечной (на настоящий момент) – рациональный психический тип сознания. При этом подчеркивается, что рациональный психический тип вырабатывался постепенно в ходе эволюции, вследствие чего между рациональным и мифологическим типом есть много промежуточных форм. Взгляды о дихотомичности современного и досовременного мышления за последние полвека подверглись эрозии, хотя до сих пор остаются основой для предварительного логического противопоставления между архаичными «мифологичными» и современными «рациональными». В ранней работе я рискнул четко отделить архаику от традиции и современности, выделив промежуточный тип, названный мной «традиционным, религиозным» ввиду определяющего значения традиции и в особенности религии в жизни человека традиционного общества, которая по сути выполняла те же самые функции, что и миф в первобытном обществе (Миронов, 1984: 122–140). Но при работе над соответствующим подразделом в «Российской империи...» я решил отказаться от триады по причине трудности определения специфики традиционного типа сравнительно с мифологическим и рациональным типами сознания, за исключением того, что по всем признакам это был промежуточный, переходный тип, поэтому ограничился указанием на то, что должны существовать промежуточные типы без их конкретизации.

В.А. Шкуратов развивает идею триады, предлагая отделить «от традиционализма архаику» и рассматривать российскую ментальность в соотношении трех социокультурных порядков, «которые одновременно являются способами социализации человека, именно в архаической дописьменной, традиционно-письменной и современной культурах». «Теоретически дописьменная мифомагическая архаика народа, книжный традиционализм и современная рациональность располагаются как стадии социокультурного развития» «В общих чертах ясна и хронологически-историческая принадлежность социокультурных страт. Первая относится к догосударственной первобытности, вторая – к феодальному Средневековью, третья – к буржуазно-капиталистическому порядку Нового времени».

Однако он весьма приблизительно идентифицировал их особенности. «Под традиционализмом я, вполне согласно с автором “Российской империи...”, предпочитаю понимать отстаивание наличного уклада жизни и морально-религиозное сопротивление инновациям, индивидуализму, под архаикой же – своеобразное (нерациональное и ненаучное с нашей точки зрения) сопровождение базисных жизненных потребностей – органической витальности». Вполне разделяю намерение критика развить идею триады. Правда, в перспективе он идет дальше – добавить к триаде «архаика, традиционализм, современность» и постсовременность «как темпоральные ориентации, в аспекте организующей роли социального времени».

Остановлюсь на некоторых спорных моментах.

По мнению дискуссанта, «в книге несколько избыточно подчеркивается “отсутствие серьезных побудительных мотивов у широких слоев населения”... к образованию. Мотивация мотивацией, но имелись и важные системные факторы, тормозившие продвижение грамоты на Руси. Ведь до конца XVII в. в стране не было сети регулярного обучения детей и взрослых». Мне же кажется, что причину и следствия в данном контексте следует поменять местами – именно по причине отсутствия мотивации и потребности не сложилась и сеть регулярного обучения детей и взрослых ранее XVIII в.

Критик скептически относится к идее народного капитализма: «Не знаю, имеет ли автор [Б.М. Миронов] в виду самоуправление в духе офтальмолога С.Н. Федорова или ему ближе семейное предпринимательство восточноазиатского типа. Но знаю, что в позапрошлом веке русская интеллигенция лелеяла планы общинного социализма в стремлении избежать язвы пролетариата. Она тоже мечтала сбалансировать коллективизм и передовое хозяйство, а вылилось все в печальной памяти колхозы». Ирония – сильное оружие. Однако народный капитализм как раз и рассматривается в

качестве альтернативы олигархическому капитализму, причем его автором был экономист Луис Келсо из США – стране с развитым олигархическим капиталом и с отсутствием традиций народного капитализма. Среди наиболее известных и достаточно успешных примеров проведения политики народного капитализма называются ФРГ после Второй мировой войны, в 1950–1960-е гг., и Великобританию при Маргарет Тэтчер, в 1980-е гг.

И последнее. На вопрос: «Делает ли модернизация человека счастливее?» – В.А. Шкуратов отвечает в отличие от меня положительно. В качестве аргумента он ссылается на список счастливых стран по индексу World Happiness, составляемый ООН. В 2015 г., третий год подряд, его возглавляла Швейцария. Следом идут Исландия, Дания, Норвегия и Канада. Замыкают список из 158 стран Того, Бурунди, Бенин, Руанда и Сирия. Россия оказалась на 64-м месте. «Утверждение, что в Швейцарии люди ощущают себя более довольными жизнью, чем в Руанде и Сирии, не вызывает у меня никакого возражения», – пишет он. Так осторожно он говорит, что между степенью модернизации и степенью удовлетворенности от жизни существует прямая связь. Однако, на мой взгляд, аргумент некорректен. Следует сравнивать не современные страны друг с другом, а одну и ту же страну в разные периоды: Бурунди или Того 2015 г. правильно сравнивать не со Швейцарией 2015 г., а с Бурунди или Того в 1915, 1815 и 1715 гг.; Швейцарию 2015 г. – со Швейцарией 1915, 1815 и 1715 гг., Россию 2015 г. – с Россией 1915, 1815 и 1715 гг. Потому что Бурунди 2015 г. – это совсем не то, чем была Швейцария 100, 200 или 300 лет назад, как латентно предполагает критик. И тогда результат будет другим. У меня мало сомнений в том, что 200–300 лет назад племена, проживавшие на территории современных Бурунди или Того, были счастливее, чем сейчас, именно потому, что в то время модернизация мало или совсем их не затронула. А сейчас народы этих стран несчастливы более других именно потому, что охвачены модернизацией, которая разрушает их традиционный уклад и дает недостаточную компенсацию.

Таким образом, В.А. Шкуратов даже более оптимист, чем я, что мне вдвойне приятно. Во-первых, он соглашается со мной, что «историко-эмпирический материал книги подтверждает идею о поступательном движении экономики, государственного управления, социальной структуры, благосостояния, культуры России с начала XVIII в. до 1917 г.». Во-вторых, я оказываюсь с точки зрения исторического оптимизма в центре.

Ответ К. Воробец

Если В.А. Шкуратов вполне позитивно оценил мой краткий пилотажный очерк по исторической психологии русского крестьянства, то К. Воробец отнеслась к нему негативно. По ее мнению, я архаизировал менталитет и поведение крестьян и поддержал неадекватные представления, бытовавшие о них в среде образованной части населения, как о людях темных, невежественных, примитивных, инфантильных, эмоциональных, иррациональных, слабых, суеверных, которые, несмотря на это, были удовлетворены жизнью по причине своей простоты и наивности. Эти «антиисторические представления о русских крестьянах XIX в.», якобы застрявших в XV или XVI в., являются отражением устаревших колониальных представлений о примитивных народах. По мнению критика, распространение языческих представлений и практик среди крестьянства в литературе и мною преувеличено, тезис о двоеверии, подвергнутый сомнению в новейших исследованиях, является скорее мифом, большой духовной пропасти между крестьянами и элитами не было.

Подобная характеристика крестьянства, полагает дискуссантка, находится в противоречии с моими же оценками экономического, социального, культурного, политического и культурного развития деревни как достаточно успешного, с которыми она согласна. На самом деле противоречия нет, потому что в моем изображении крестьянство выглядит совсем не таким, как показалось К. Воробец.

На чем основывается ее заключение об архаизации мною массового сознания крестьянства? На одном подразделе об исторической психологии из 12-й главы ([Миронов, 2015b: 501–536](#)). При этом приведенную там информацию Воробец интерпретировала произвольно – в духе колониальных представлений о примитивных народах. Как автор, я нигде в книге не называл крестьян темными, невежественными, примитивными, инфантильными, иррациональными, суеверными и т. п. Слово «суеверный» и производные от него во всех трех томах употреблены 23 раза, в том числе применительно к крестьянам 11 раз, но не мною, а современниками. Слово «невежество» и производные от него во всех

трех томах использованы 19 раз, в том числе относительно крестьян 11 раз, но все 11 раз из характеристик, данным крестьянам современниками. Слово «примитив» и производные от него использованы 18 раз, но применительно не к крестьянам, а к хозяйственной практике и экономике (необязательно крестьян). Слово «инфантильный» и производные от него использованы 2 раза, слово «иррациональный» – 4 раза, но не в отношении крестьян. В книге постоянно подчеркивается, что крестьянская культура и менталитет отнюдь не примитивны, а рационально и прагматично приспособлены к условиям их существования и уровню их знаний. Даже массовое сознание первобытных людей я оценил не так, как показалось критику: «Примитивное» (“архаическое”, “варварское”) сознание ни в коей мере не примитивно, но оно существенно отличается от современного рационалистического сознания иным способом расчленения и организации действительности, способом, вряд ли менее логичным и последовательным, чем наш, и главное, вполне соответствующим потребностям общества, которое выработало этот тип сознания» (Миронов, 2015b: 510).

Что касается эмоциональности крестьянства, то я о ней действительно говорю, но не как о признаке недоразвитости или несовершенства: «Имеется много данных, подтверждающих глубокую эмоциональность русских крестьян периода империи, что неудивительно: эмоции играют огромную роль даже в жизни современного человека из самых продвинутых в культурном и технологическом отношении стран. Идея об укрощении эмоций, якобы произошедшем под влиянием дисциплинированных практик индустриального общества, и о наступившей “дисциплинарной цивилизации” подвергается в современной науке ревизии. Модель человека как “рационального оптимизатора” дополняется представлениями о человеке как о носителе “логики эмоций, пристрастий и впечатлений”. <...> Отсюда очевидна правота тех, кто утверждает, что люди в бесписьменных и вообще традиционных обществах были чрезвычайно впечатлительны и эмоциональны, что эмоции служили важным коммуникативным средством, компенсировавшим бедность и неразвитость языка, служили одним из механизмов познания человеком внутреннего мира других людей путем проникновения-вчувствования в их переживания» (Миронов, 2015b: 532).

Когнитивные процессы у подавляющего большинства «деревенских» крестьян, в 1917 г. бывших либо неграмотными (на 68 %), либо элементарно грамотными (на 32 %), не могли происходить как у образованного человека со средним или высшим образованием – они не достигали стадии «формальных операций», когда человек может размышлять не только о наличных, но и о гипотетических ситуациях – что могло бы быть. Однако я указываю на наличие у них большой способности решать жизненные проблемы без обращения к логическим операциям, посредством интуиции, путем быстрой и почти мгновенной интерпретации того, что воспринято чувствами, руководствуясь чем-то вроде чутья или сметки. Как отмечал С. Леви-Брюль, даже люди первобытной культуры, которым отвлеченная мысль дается с трудом, в проблемных ситуациях «показывают себя пронизательными, рассудительными, умелыми, искусными и даже изощренными». Им свойственно также «красноречие, богатство аргументации, ловкость словесных выпадов и защиты в спорах, тонкая и острая наблюдательность, плодотворное и поэтическое воображение» (Миронов, 2015b: 506).

То, что в XVIII–XIX вв. крестьяне и даже малообразованные помещики были суеверными и разделяли языческие предрассудки, зафиксировано всеми современниками и прежде всего приходскими священниками. В семинариях середины XIX в. были в ходу сборники религиозных предрассудков и суеверий, свойственных городскому и сельскому «простонародью», чтобы будущие пастыри были готовы бороться с ними (Миронов, 2015b: 382). В отношении суеверий российская деревня отставала от западноевропейской. В России гадалки, колдуны и прорицатели пользовались большим почетом и в начале XX в.; в крупных городах они стали исчезать в конце XIX в. В западноевропейских странах их популярность достигла своего пика в Средние века; с началом Нового времени она пошла на убыль, но в сельской местности сохранилась до XX в. В США в 1950-е гг. сельскохозяйственная магия – типичный пример языческих предрассудков – широко применялась при поднятии целины, кастрации скота, посадках садов и в других случаях, когда налицо были риск и неопределенность результата. В 1956 г. 40 % фермеров из штата Огайо перед севом приглашали профессиональных колдунов, гарантирующих достаточное количество осадков. Вследствие спроса на их услуги только колдунов, вызывающих дождь, во всей стране насчитывалось до 25 тыс. Русские путешественники первой половины XIX в. с

некоторым удивлением отмечали бытование языческих праздников в Европе. В современном мире магия также существует, но ее роль уже не подразумевает объяснение устройства мира, а сводится к символической и экспрессивной (Миронов, 2015b: 617–618).

Однако, говоря о предрассудках, я постоянно подчеркивал, что русские православные крестьяне жили по христианским заповедям, а это высшая похвала для всякого христианина. «Моральный кодекс общины воплощает христианские заповеди, крестьяне обязаны его соблюдать» (Миронов, 2015a: 180). «В целом принципы общинной жизни соответствовали потребностям и интересам большинства крестьян, их пониманию справедливости, а также представлениям о настоящей, доброй христианской жизни, которые утверждала Православная церковь. Мы легко обнаруживаем проявление 10 заповедей Закона Божьего в принципах общинной жизни» (Миронов, 2015a: 182). «...В целом жизнь в крестьянской общине строилась на основе христианских заповедей» (Миронов, 2015b: 728).

В период империи моральная экономика крестьянской общины постепенно и понемногу подвергалась эрозии вследствие коммерциализации, однако до начала XX в. не была вытеснена из деревни, о чем говорит низкая товарность крестьянского хозяйства – в 1913 г. товарность всего сельского хозяйства составляла лишь 31 % чистого сбора основных сельскохозяйственных культур, значит, у крестьян была много ниже (Миронов, 2015b: 668). Большое число праздников, существование субсистенциальной трудовой этики и сопротивление большинства крестьянства Столыпинской реформе также говорят о живучести моральной экономики. Признаки коммерциализации крестьянских хозяйств, которые обнаружили некоторые американские слависты в больших оброчных имениях в середине XIX в., не следует преувеличивать – критика этих представлений дана в книге (Миронов, 2015a: 196–199).

Не могу согласиться с тем, что «по большому счету, крестьяне в исследовании выступают как объекты воздействия либо помещиков, либо государства». Боюсь, что здесь и в данном случае К. Воробец неправильно меня поняла. Я подчеркиваю, что если крестьянство предпочитало мирные формы борьбы, нередко безмолвствовало и переносило административный раж чиновников, то это не означает, что оно являлось исключительно объектом властей и помещиков. Субъектность крестьянства состояла не только в том, что оно регулярно устраивало бунты, бывшие для правящего класса моментами истины (Миронов, 2015a: 579–582), но и в том, что оно ежедневно использовало «оружие слабых» – молча, на практике игнорирует приказы, указы и инструкции начальства или имитирует их исполнение. Массы нельзя насильно, против их воли и желания реформировать – эта идея красной нитью проходит через все три тома и стала новым трендом в моем подходе к крестьянству. В то же время есть многочисленные свидетельства (и они приведены в книге), показывающие, что в период империи крестьянские практики во всех сферах жизни постоянно совершенствовались под влиянием бюрократии, разного рода общественных организаций и помещиков-рационализаторов (Миронов, 2015a: 570–581), и было бы неправильно об этом забывать. Крестьяне, таким образом, являлись и объектами, и субъектами истории.

Приравнивая коллективизм крестьян к авторитаризму и соединяя коллективизм с большевистским проектом, полагает критик, я имплицитно поддерживаю точку зрения, что главной причиной революции 1917 г. послужило невежество крестьян. На самом деле я явно и недвусмысленно считаю, что большевики опирались на крестьянство, но не на его невежество, а на его идеалы и коллективные представления. «В кратком виде формула советской модернизации сводилась к технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных институтов. Не забывая, что всякое обобщение огрубляет действительность, можно сказать, что на какое-то время вся страна превратилась в большую общину и во многом действовала на ее принципах. Если мы сравним основополагающие принципы, на которых строилась жизнь общинной русской деревни до 1917 г. и советского общества в сталинское время, то обнаружим между ними сходство. Выразим принципы общинной жизни в современных терминах: 1) коллективная форма собственности; 2) право на труд, которое община гарантировала тем, что каждый взрослый мужчина получал от нее во временное пользование участок земли; 3) право на отдых <...>; 4) право на социальную помощь бедным, старым, одиноким, а также попавшим в тяжелое положение вследствие пожара, падежа скота и других чрезвычайных обстоятельств; 5) демократический централизм: подчинение меньшинства большинству; 6) коллективная ответственность:

один – за всех, все – за одного; 7) право на участие в общественных делах: главы семей участвовали в сходках, заседали в крестьянском суде, занимали общественные должности, важные – по выбору, а второстепенные – по очереди; 8) равенство, отсутствие существенной материальной и социальной дифференциации; 9) регламентация жизни, право общины вмешиваться в дела крестьян, включая семейные, если они вступали в противоречие с интересами общины, с традицией и обычаем; 10) тождественность прав и обязанностей: право на труд, отдых, участие в общественных делах, на помощь являлось одновременно обязанностью трудиться, отдыхать, заниматься общественными делами, помогать нуждающимся» (Миронов, 2015b: 714).

Таким образом, мой антиисторизм, о котором говорит К. Воробец, является результатом неадекватной интерпретации текста книги, а мой пессимизм в отношении крестьянства сильно преувеличен. В этом есть отчасти моя вина. Характеристику менталитета и коллективных представлений крестьянства я поместил в конце третьего тома, не оговорив как это коррелирует с содержанием всей книги. Интересно, что К. Воробец призывает меня снять черные очки, не закрывая при этом глаза на действительно отрицательные аспекты крестьянской жизни и менталитета. Тогда, по ее мнению, изменения в деревне предстанут реалистичнее и в более оптимистическом свете. Пожалуй, впервые меня призывают усилить исторический оптимизм. Это – хороший знак. Знак того, что я нахожусь в золотой середине.

Ответ С.А. Экштуту

В выступлении дискуссанта хотелось отметить три момента – о крепостничестве, социальной мобильности и русской интеллигенции. Выше было указано, что Ю.Н. Смирнов настаивает на том, что крепостное право следует однозначно осудить как «абсолютное зло» и что нет нужды искать какой-либо рациональности в этом институте. С.А. Экштут высказывает, по-моему, более взвешенный взгляд, подчеркивая относительность понятий «жестокость» и «целесообразность». Про сути он призывает воздерживаться от презентизма при оценке имперских институтов. «Был ли институт крепостничества жесток? Да, безусловно». Чем это объяснялось? «Интенсивность и производительность труда в барщинных имениях была значительно выше, чем в оброчных. Это достигалось за счет методов внеэкономического принуждения. Крестьян, трудившихся на барщине, пороли в 25 раз чаще, чем крестьян в оброчном имении». При этом критик отмечает историчность жестокости, ее обыденность, привычность, приемлемость и даже необходимость с точки зрения людей первой половины XIX в., не говоря уже о более раннем времени. И это обстоятельство историкам необходимо принимать во внимание, чтобы понять мотивацию и наказываемых, и наказывающих. В доказательство он обращается к классической литературе, которая для историков нередко выполняет роль социологических исследований.

С.А. Экштут разделяет мою точку зрения, что именно вертикальная социальная мобильность обеспечивала жизнеспособность имперской системы: «Активно работали социальные лифты, обеспечивавшие восходящую межсословную социальную мобильность». Поэтому «попытки отыскать корни Великой русской революции в окостенелости правящей элиты и в принципиальном нежелании привилегированного сословия пополнять свои ряды за счет наиболее талантливых и активных представителей других сословий» не выдерживают, по его мнению, критики.

Как исследователь истории русской интеллигенции периода империи, дискуссанта не может обойти вниманием проблему роли интеллигенции в российской революции 1917 г. И здесь наши мнения близки. С.А. Экштут считает, что русская интеллигенция пореформенной поры отличалась постоянной неудовлетворенностью тем, что в России было, и по этой причине страдала имманентной оппозиционностью. Самая радикальная ее часть, при одобрении большинства, свой святой долг видела в разрушении существующего строя и построении другого, сущность которого она плохо представляла.

Ответ С. В. Куликову

В статье книга положительно оценивается за то, что она, по мнению дискуссанта, возвращает историографию «к большой истории и к историку как субъекту историографического процесса», представляет историю Российской империи в новом, оптимистическом ракурсе, по-новому освещает уже известные сюжеты, обоснованно устраняет многие стереотипы, до сих пор еще влияющие на восприятие периода империи,

«прежде всего концепт о тотальном кризисе как итоге истории Российской империи и причине ее падения». К положительным чертам исследования С.В. Куликов относит междисциплинарность, отказ от марксистской парадигмы, следование интегральной методологии, полную свободу творчества и концептуальную независимость автора. Критик убежден, что именно в междисциплинарности, прежде всего «в социологизации истории, заключается едва ли не главный залог дальнейшего развития историографии».

Однако в отношении методологии С.В. Куликов делает два замечания. Ему показалось, что я отвожу «так называемой событийной истории последнее место». Это замечание звучит на круглом столе второй раз. В ответе Л.Н. Мазур я объяснил, что это недоразумение вызвано неверным пониманием слова «поверхностный» в контексте иерархизации уровней историописания. Хотелось бы повторить: я считаю три уровня анализа равнозначными, что, как говорят сами критики, доказывается на каждой странице моего труда.

Критик также сетует на то, что среди семи парадигм, рассмотренных во «Введении» «отсутствует элитистская парадигма, даже как часть иной парадигмы». В начале «Введения» я пояснил, что в дальнейшем анализе буду иметь в виду под парадигмой: «Парадигма – совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов. Она дает образец решения исследовательских задач в соответствии с принятыми правилами, готовый и почти обязательный алгоритм исследования» (Миронов, 2014: 33). Элитизм по этому определению парадигмой назвать нельзя. Однако элитистскую концепцию я использую, в том числе со ссылкой на работы С.В. Куликова, в которых она успешно использована (Миронов, 2015а: 642, 857).

Дискуссант вносит два интересных инновационных предложения. Первое – начинать историю Российской империи не с Петра I, а с 1550-х гг. (вслед за Б.Э. Нольде (1876–1948), известным историком, русским юристом – специалистом в области международного права), потому что «фактически, а не de-jure», история России как империи начинается именно с Ивана IV Грозного после присоединения к Московскому царству Астраханского и Казанского ханств и начавшегося присоединение Урала и Сибири. В таком случае «Русское государство, по данному аспекту, шло в ногу с тогдашними великими европейскими державами, которые во второй половине XVI в. усиленно присоединяли к себе заморские территории». Эта идея звучит резонно. Не случайно генезис Российской империи «фактически, а не de-jure» многие зарубежные и отечественные исследователи уже давно относят к царствованию Ивана IV, да и западные заморские империи получили международный статус империи de-jure не в XVI в., а много позже.

Второе предложение – изменить сложившуюся традицию сравнивать Российскую империю как целое (метрополия плюс колонии) с метрополиями соответствующих держав, не учитывая их колонии, которые составляли фактически и юридически одно государство – империю. При таком подходе, полагает он, Россия станет «страной не догоняющей, а перегоняющей другие европейские державы, в частности применительно к началу XX в. по степени распространенности среди населения политических прав и свобод, в том числе избирательного права». Он приводит на этот счет любопытные данные. В Российской империи избирательное право с 1905 г. имели практически все населявшие ее народы, а в Британской империи в это время – менее 5 % населения.

Предлагаемый способ расчета различных показателей действительно может изменить иерархию империй по уровню развития. Например, в 1900-е гг. коэффициент смертности в Великобритании (40 млн населения) был самым низким в Европе – 16,9 промилле, но в Британской Индии (население 225 млн) – 35 промилле. Тогда в Великобритании вместе с Индией коэффициент смертности достигнет 32 промилле (Statistical Abstract..., 1915: 230), а в Британской империи в целом (вместе с африканскими колониями) – еще выше, поскольку смертность в колониях была выше, чем в Индии. В Российской империи коэффициент смертности в 1900-е гг. был ниже 30 промилле, значит, меньше, чем в Британской империи. Конечно, не секрет, что колонии европейских морских империй разительно отставали от метрополий. Но поскольку так называемые окраины Российской империи по закону и по факту являлись полноценной органической частью империи, а колонии морских империй имели особый административный и юридический статус, исторически сложилось, что их метрополии учитывались отдельно. Этому способствовало и то обстоятельство, что статистические сведения о некоторых колониях появились только в конце XIX – начале

XX в. Впрочем, и в Российской империи статистические данные о сибирских, кавказских и центрально-азиатских губерниях стали собираться с конца XIX в.

К вопросу о клиотерапии

Отдельно остановлюсь на проблеме клиотерапии, которая в большей или меньшей степени волнует всех участников круглого стола. Среди них обозначились три позиции – позитивная, амбивалентная и нейтральная. Первую в той или иной степени разделяют С.В. Куликов, Ю.Н. Смирнов, Г.Н. Ульянова, В.Л. Хорос. Л.Н. Мазур и А.Б. Лярский высказывают по поводу клиотерапии противоречивые суждения. В.В. Керову, по-видимому, также не нравится идея создания нового адекватного позитивного прошлого России. У. Сандерленд и К. Воробец отнеслись к идее клиотерапии вполне нейтрально, чтобы не сказать положительно. Остальные дискуссанты не акцентируют свое внимание на данной проблеме, и, поскольку они в целом положительно оценивают книгу, можно предположить, что по крайней мере аллергии в отношении клиотерапии не испытывают.

Прежде чем обсудить этот важный вопрос, напомним, что клиотерапией я называю трезвое изучение своих недостатков, но и достоинств с целью недостатки лечить и устранять, а достоинства развивать. Лучшее средство избавиться от недостатков – знать их происхождение, ибо как предрассудки – это осколки прежних истин, так и особенности современных институтов, которые теперь являются недостатками, когда-то были достоинствами. Историки могут и должны стать социальными врачами. Подобно тому как психоаналитик избавляет пациентов от различных комплексов, которые мешают им жить, путем объективного трезвого анализа их личной истории (в первую очередь опытов и травм детства!), так и историки могут избавить свой народ от комплексов, сформировавшихся в ходе исторического развития, путем анализа прошлого, а историографию от негативных мифов. С другой стороны, подобно тому как сами психоаналитики должны время от времени сами подвергаться психоанализу, так и историки должны время от времени лечить свою методологию и избавляться от своих устаревших стереотипов (Миронов, 2014: 18).

Из этого определения следует, что клиотерапия в моем понимании не предполагает обязательно позитивную трактовку всех явлений и событий российской истории. Она предполагает трезвое, значит, сбалансированное, объективное изучение истории, отделение моральных оценок от функционалистских объяснений. Если в историографии взяли верх неадекватно негативные представления (как в случае имперской истории), их необходимо корректировать в позитивном ключе. Если, наоборот, в историографии взяли верх неадекватно позитивные представления (как в случае с советской историей), их нужно корректировать в негативном направлении. Потому что по большому счету в истории каждой страны примерно одинаков баланс негативного и позитивного. Меня обвиняют в избыточном оптимизме потому, что изучаю историю имперской России, в историографии которой существует негативный тренд и потому ради объективности требуется коррекция в позитивном направлении. В альтернативном случае, если бы при изучении имперской истории существовал позитивный крен, я бы стал пессимистом. По сути речь идет о требовании по возможности объективного изучения истории, нормализации исторического процесса, который включает светлые и темные страницы, между которыми надо найти баланс. Существующие представления о Российской империи, ставшие нашими национальными мифами, в отличие от исторических мифов, господствующих в зарубежной историографии относительно своей национальной истории, не только искажают наше прошлое самым негативным образом. Они дают основание нашим геополитическим соперникам и конкурентам считать русских не способными к «цивилизованной» жизни, а Россию – тюрьмой народов, деспотическим полицейским империалистическим государством, понимающим только язык силы и санкций.

Можно ли в данном случае руководствоваться поговоркой «Собаки лают – караван идет»? Увы, нет. На карте стоит национальное духовное здоровье. Позитивная или негативная интерпретация российской истории исключительно важна по своим последствиям. В социологии и психологии хорошо известен феномен, получивший название теоремы Уильяма Томаса (1863–1947): если ситуация описывается как реальная, то она реальна по своим последствиям, потому что оценка ситуации порождает модели поведения, способствующие развитию ситуации в соответствии с ее трактовкой. «Если человек думает, что его представление о какой-то ситуации соответствует действительности, то он ведет себя так, как того требует его представление, и последствия его поведения вполне реальны.

Отсюда следует, что ментальные комплексы, независимо от того, насколько они соответствуют реальности, предопределяют как восприятие действительности, так и действия людей. В ментальном поле культуры разнообразные комплексы представлений и установок взаимосогласуются так, чтобы люди, исходящие из них в своем мышлении и поведении, могли создавать и поддерживать необходимые для жизни условия. При этом между ментальными комплексами возникают связи, которые отчасти отражают реальные соотношения между явлениями действительности, а отчасти представляют собою вымышленные зависимости между ними, существующие лишь в человеческом воображении» (Merton, 1968: 477). Отсюда феномен самоисполняющихся пророчеств: пророчества сбываются потому, что у людей вырабатываются новые образцы поведения, стимулирующие реализацию пророчества. Фальшивые негативные мифы России в историографии по своим последствиям сродни самоисполняющимся пророчествам – они способствуют такому развитию общества, которое соответствует этим мифам. Миф имманентно заключает в себе опасность подтверждения. Таким образом, ошибочные исторические представления, овладевающие массами, стимулируют процесс возникновения самоисполняющихся сценариев, так как становятся движущей силой развития общества в соответствии с этим сценарием. Если россияне будут оптимистичнее оценивать свое прошлое и настоящее, верить, что оптимистический сценарий развития нашей страны – реальный, то именно этот сценарий и станет для нас реальным. И наоборот.

Современная наука пришла к выводу, что прошлое конструируется историками. Именно они формируют понимание прошлого, «заставляют» людей забывать одни события и хорошо запоминать другие, воспитывают морально-культурные традиции, национальное самосознание и национальное достоинство – словом, создают историю и образ страны. Поэтому и отечественным историкам следует, как и во всех «цивилизованных странах», создать свое позитивное прошлое, которое бы помогало нам повысить свою самооценку и благодаря этому успешнее двигаться вперед. Позитивный образ не означает фальшивый. Неадекватный фальшивый образ не выполняет свою конструктивную роль: шизофреник, воображающий себя Наполеоном, никогда не станет Наполеоном. Позитивный образ должен быть адекватным и объективным. И наша история дает для этого оснований и аргументов ничуть не меньше, чем история любой великой державы.

Л.Н. Мазур в своем отношении к клиотерапии противоречива. «Стремление автора сформировать позитивный образ имперской истории можно считать вполне реализованным, но это имеет весьма неоднозначные последствия» – включение в науку эмоций, редуцирование взгляда на исторические процессы до бинарной оппозиции «хорошо – плохо» и формирование исторического мифа. Однако любые научные результаты имеют эмоциональную составляющую. Даже физики и математики испытывают сильные чувства в процессе исследования. А. Эйнштейн считал критерием истины чувство эстетического удовольствия – осознание стройности, красоты, внутренней гармонии. Что говорить об историографии, насквозь пронизанной страстями?! «Образ науки, руководствующейся исключительно требованиями точности, истины, стерильной по отношению ко всему человеческому – к идеям, страстям, вкусам, – кажется мне во многом ложным. Применительно к наукам о культуре – в особенности! Человеческие истины всегда и неизбежно антропологичны. Помещаясь в человеческих головах, владея живыми сердцами, истина, направляющая людей на те или иные поступки, не может не окрашиваться эмоциями, целевыми установками и даже эстетическими тонами. И незачем рыдать над утратой ею “химически чистой” нейтральности, которой она никогда не обладала! Для того чтобы служить людям, истина, наука должны подышать их воздухом, пропитаться их стремлением и страстями. Худо, когда наука превращается в проститутку, но слепая девственность, страшась всего земного, – бесплодна. Я утверждаю, что история – наука пристрастная, что работать, не имея никаких симпатий и антипатий, увлечений, склонностей, даже предвзятых идей, историк, который изучает людей, действовавших в обществе, совершавших поступки и движимых мыслями и страстями, – не может» (Гуревич, 2004: 184). Вот что сказал А.Я. Гуревич по поводу пристрастности в науке и ее объективности – пожалуй, впервые так честно и ясно, – и я с ним полностью согласен.

Когда я говорю о новых мифах, я имею в виду не новые фальсификации и упрощенно «позитивные» или «негативные» оценки. Работать страстно или пристрастно в поисках истины – это не то же самое, что намеренно и страстно фальсифицировать свидетельства, подделывать документы, подтасовывать данные, поносить неразделяемые

точки зрения и исказить взгляды коллег. В современном информационном обществе миф – не фальсификация, а часть реальности, интерпретированная определенным образом, в соответствии с целями и интересами интерпретатора. Управляемая мифологизация – это технология конструирования и обновления смыслового поля в массовом сознании (Барт, 1994: 72–130; Миронов, 2015b: 723). И оптимистическая «Российская империя...» не содержит, как явствует из выступлений всех участников круглого стола, фальсификаций и упрощенных позитивных или негативных оценок и выводов. Так же могут работать другие исследователи объективно-оптимистической ориентации. Поэтому страхи фальсификации, на мой взгляд, сильно преувеличены. Первым делом – профессионализм исследователя, а его исторический оптимизм или пессимизм – потом. Сказанное является также ответом на предостережение В.В. Керова об опасности включения в отечественный научно-исторический дискурс «идеологической заданности». Настоящий профессионал всегда настороже.

Противоречиво относится к клиотерапии и А.Б. Лярский. В одних случаях он ее осуждает за искажение и упрощение реальности, в других – приветствует за преодоление локальности отечественной истории и возможность оценить историческую перспективу. В отличие от Л.Н. Мазур, он полагает, что эмоции полезны в историческом исследовании. Говоря о моей трактовке еврейской политики, которую в отличие от меня считает антисемитской, он пишет, что я не отказываюсь признать наличие дискриминационных мер. Но, встраивая их в большой контекст, «Б.М. Миронов нормализует процесс, демонстрируя его внутреннюю логику: введение черты оседлости – логично, поскольку интеграция еврейского населения не удалась». «Он убирает эмоциональный пафос, в полном согласии с духом “клиотерапии” минимизирует эмоциональную боль, а с ней и обличительный подтекст описания государственной дискриминации. А этого делать, на мой взгляд, не надо из соображений как раз терапевтических, поскольку обличение государственных машин с помощью истории – это один из механизмов минимизации опасности, исходящей от любого государства». Другими словами, эмоциональный пафос и клиотерапия в данном случае нужны для обличения государства, имманентно представляющего для общества опасность.

Называть этноконфессиональную политику правительства антисемитизмом, на мой взгляд, неадекватно. В современных словарях так называют одну из форм национальной нетерпимости, выражающейся во *враждебном отношении к евреям как этнической или религиозной группе*. В империи на бытовом уровне наблюдались антииудейские (но не антиеврейские!) настроения, причем главным образом в черте оседлости, в которую не входили великороссийские губернии. Они не имели этнической и расовой составляющей, не поддерживались государством и не являлись частью государственной политики. Некоторые меры, юридически ограничившие права иудеев, распространялись и на другие этносы, имели в своей основе не *конфессиональную или этническую подоплеку, а экономическую или политическую*. Поэтому, на мой взгляд, их неадекватно называть антисемитскими. В настоящее время термину имеет чрезвычайно негативную окраску и так сильно нагружен негативными смыслами, что я воздерживаюсь от его употребления в определении этноконфессиональной политики XVIII – начала XX в. К тому же термин «антисемитизм» вошел в оборот в Германии в 1860–1870-е гг., а в России еще позже. Его использование кажется мне презентизмом.

Моя трактовка еврейской политики как «непоследовательной, извилистой и многозначной» с позитивным трендом нашла поддержку у И.В. Поткиной. По ее мнению, «показанные и обобщенные Б.Н. Мироновым факты свидетельствуют о неуклонной либерализации правительственной политики в национальном вопросе». Думаю, одна из причин различной интерпретации состоит в том, что И.В. Поткина, в отличие от А.Б. Лярского, верит в творческую силу российского государства – в этом ее убедили собственные исследования истории предпринимательства и предпринимательского права Российской империи.

В трехтомнике приводится информация, свидетельствующая о несправедливости обвинений в адрес имперских властей, которые якобы из-за страха утраты контроля над подданными являлись главными врагами просвещения. По моему мнению, это один из необъективных негативных мифов. А.Б. Лярский возражает, полагая будто я игнорирую охранительные аспекты образовательной политики России. При этом тут же добавляет: «О чем и сам Б.Н. Миронов, разумеется, осведомлен». Действительно, как и в случае с

оценкой еврейской политики, я ничего не скрываю от читателя относительно политики в вопросе просвещения, но объясняю мотивацию ограничительных мер не злым умыслом, а стремлением удержать людей в их сословном положении, потому что власти считали разрушение сословного строя нарушением разумного порядка вещей. Иными словами, нормализую процесс просвещения. Но А.Б. Лярский жаждет обличений.

Л.М. Артамонова, напротив, полагает, что верховная власть была просвещенной «на всех этапах своей истории» и прежде всего в сфере просвещения. Она считает мифом представление об отрыве правительственной политики от интересов общества и общества от политики на протяжении всего императорского периода. В чем причины столь разительных оценок? Л.М. Артамонова в отличие от А.Б. Лярского не имеет априорного бессознательного страха перед государством, так как, изучая историю культуры, убедилась, что коронные власти действительно были поборниками просвещения.

В своем выступлении А.Б. Лярский не приводит исторических казусов, когда клиотерапия уместна. Но в статье по истории детского труда в начале XX в. он обосновывает целесообразность клиотерапии настолько правильно и искусно, что приведу его аргументы его собственными словами. «Когда современные исследователи говорят о детском труде, они часто находятся в плену наших собственных представлений о гуманности и месте ребенка в доходно-расходном балансе семьи. На мой взгляд, *мы крайне нуждаемся в неморальной истории детства.* <...> *Именно потому, что наше отношение к детству слишком морально, оно отрицает нормы и практики других эпох* (курсив мой. – Б.М.). Мы нуждаемся в истории детства, исходящей из того, что ребенок может быть нежелательной неизбежностью, что ребенок был рабочей силой и экономическим ресурсом и это – вовсе не “эксплуатируемое” или не “незамеченное” детство, а единственное детство, которое было. Но что же мы получим, если откажемся от морального взгляда на детство? Мы получим понимание того что труд ребенка поощрялся родителями, в поисках дохода для семьи пытавшихся пристроить детей на фабрики любыми путями; что фабриканты не лгали, когда говорили, что родители приводят детей сами. В случае нужды никакие законы, ограничивающие детский труд не могли остановить семью: давались взятки и “любой пристав в городе или урядник в деревне, а то и просто поп, с удовольствием за три рубля увеличивал годы рождения”. <...> Если же представить себе не крестьянскую, а городскую рабочую семью, то самый абстрактный арифметический подсчет показывает, что если в семье по каким-то причинам работал только отец, то выход на фабричную работу малолетнего сына увеличивает доход семьи на четверть, а подростковый заработок добавляет к доходной части половину прежнего дохода. Неудивительно, поэтому, что некоторые забастовки подростков на фабриках прекращались самими родителями: “родители некоторых из подростков избивали их за отказ идти работать, других насильно приводили к директору фабрики и умоляли, чтобы он их принял обратно”» (Лярский, 2015: 309–310).

Кажется, А.Б. Лярскому было бы логично сказать, что никакая необходимость, никакие аргументы не могут оправдать жестокую эксплуатацию детей, не совместимую с моралью и гуманизмом; детская дискриминация заслуживает всегда только самого строгого осуждения. А он говорит, что историография нуждается в «*неморальной истории детства*», иначе нам не получить адекватного представления о детстве.

То же самое делаю я – разделяю моральные оценки и объяснения, но не отказываясь в принципе от оценок, когда ищу функционалистские объяснения существования крепостного права, коррупции, антисемитизма, авторитаризма в семье и государстве, преступности, детоубийства, противоречий в политике просвещения и всякого рода «преступлениях царизма». Но в отличие от Лярского я последователен в своей клиотерапии, а он действует, по-видимому, по велению сердца. Получается, что критик не является сторонником клиотерапии только «в ее государственно-апологетическом изводе», поскольку имманентно и априорно негативно относится к государству, но поддерживает клиотерапевтический подход в других случаях, когда речь идет о частных интересах.

Отделять моральные оценки от объяснений, на мой взгляд, совершенно необходимо. Во-первых, сама моральная оценка зависит от объяснения, во-вторых, без объяснения останутся непонятными изучаемые факты, институты, явления и процессы. Поясню эту мысль на примере. Историка можно уподобить судье, выносящему приговор, который учитывает не только материальные последствия преступления, но и мотивы и обстоятельства его совершения. Так, за убийство в зависимости от причин преступного

деяния, степени тяжести и других обстоятельств Уголовный кодекс РФ предусматривает шкалу наказания от 2 лет условно до пожизненного заключения строжайшего режима. Человек, совершивший действия, повлекшие смерть человека по причине злого умысла, мести, в результате драки, приговаривается судом на заключение от 6 до 15 лет, за убийство с отягчающими обстоятельствами – от 8 лет до пожизненного, а за убийства, совершаемые в состоянии психологического срыва, – от 2 лет ограничения свободы (условный срок) до 5 лет. Аналогичным образом выносятся приговоры и за другие преступные деяния. И это справедливо!

А.Б. Лярскому не нужны мои функционалистские и психологические объяснения антиеврейских и других мероприятий правительства. Потому что объяснения предполагают смягчение наказания и минимизируют боль. Но на смягчение приговора он согласен для родителей, отдающих своих детей работать на фабрику (а между прочим отдавали и 4–5-летних!), но не согласен для государственных структур. Это все равно как если Уголовный кодекс предусматривал пожизненное заключение для всех преступлений, направленных против государства и общества без различия мотивов и обстоятельств, и в то же время предусматривал широкую шкалу наказаний для остальных видов преступлений.

Априорно-негативное отношение интеллигенции к государству мы уже проходили и тяжелые последствия этого знаем – террор, баррикады, революции, гражданская война (перечень последствий легко продолжить), а также противостояние общества государству как гражданская норма поведения. «Идейной формой русской интеллигенции, – считал Струве, – является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему. <...> В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка, как таковых. Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма» (Вехи, 1909: 160).

Таким образом, мой «государственно-апологетический» подход, по мнению критиков, заключается в том, что я последовательно объясняю политику верховной власти и ее правительства путем анализа ее мотивации, обстоятельств и условий ее выработки и проведения, не замалчивая ее негативных последствий, ошибок и издержек. На мой взгляд, это делать просто необходимо, чтобы политику адекватно понять и оценить. Благодаря этому мы осознаем, что российская бюрократия не была столь глупой и недалекой, как обычно изображается, что она действовала рационально и беспокоилась о благе народа в соответствии с теми представлениями о рациональности и народном благе, которые господствовали в свое время. Но в нашей литературе так давно и так глубоко въелась привычка поносить российское государство, что не требуется никаких аргументов для доказательств ее бездарности, близорукости, пренебрежения интересами народа и т. п., а любые аргументы в пользу государства считаются недостаточными и встречают критику.

Современные критики империи и царизма находятся в плену современных представлений о рациональности, моральности, гуманности, прогрессивности – они в плену того, что называется презентизмом. От верховной власти и бюрократии, от героев империи они требуют невозможного и иррационального (в соответствии с представлениями прошлого). Например, М.М. Сперанский превозносится за программу либеральных государственных преобразований, составленную в 1809 г. по поручению Александра I, на основе западных источников. Между тем было крайне опасно проводить либеральную реформу, задуманную М.М. Сперанским в начале XIX в., потому что ее реализация могла бы создать в России того времени огромные проблемы. Сам М.М. Сперанский впоследствии осознал опасность своего проекта, когда понял, что Россия еще не готова к конституционному строю. Он писал в 1819 г.: «Возможность законодательного сословия, сильного и просвещенного, весьма мало представляет вероятности. Посему одно из двух: или сословие сие будет простое политическое зрелище, или, по недостатку сведений, примет оно ложное направление». Не дворянская ли анархия XVII–XVIII вв., приведшая Польшу к гибели, виделась Сперанскому? Во всяком случае такой сценарий исключать было нельзя – декабристски мыслящих дворян даже в 1825 г. насчитывалось несколько сотен. Впрочем, если бы к власти пришли радикальные декабристы во главе с П. Пестелем, которые хотели установить диктатуру, едва ли новый режим стал прогрессивнее предыдущего (Мионов, 2015а: 705).

Подобно тому как от ребенка нельзя требовать, чтобы он вел себя как взрослый образованный человек, так и от элиты и народа XVIII–XIX вв. нельзя требовать, чтобы они

вели себя как просвещенные люди XXI в. Если правильно, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, то каждое правительство проводит именно ту политику, которая по большому счету устраивает большинство народа. Я смотрю на историю, в том числе российскую, как на естественный процесс эволюции общественных порядков, которые люди сознательно и бессознательно приспособливают к новым условиям существования и изменяющемуся человеку. По большому счету, все социальные институты, структуры и учреждения – функциональны и целесообразны – разумеется, по-своему, относительно, в рамках тех представлений о рациональности и народном благе, которые господствовали в свое время. Как только они утрачивают эти свойства, они изменяются, и историческая действительность становится иной. Всею свое время. Делай, что должно, и будет, что должно.

В заключение хотелось бы поблагодарить участников круглого стола за огромный труд, на который они себя обрекли, согласившись участвовать в этом мероприятии. Поблагодарить и за положительные оценки, и в меньшей степени за критику. И заслуженная похвала, и объективный анализ одинаково необходимы как для автора, так и для успешного развития любимой науки.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00119).

Литература

- Аргументы недели, 2016** – Аргументы недели. 2016. 18 авг. № 32 (523).
- Барт, 1994** – *Барт Р.* Миф сегодня // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 72–130.
- Бордюгов, Щербина, 2011** – *Бордюгов Г., Щербина С.* Транзит: социологический портрет сообщества // Научное сообщество России: 20 лет перемен / Г. Бордюгов (ред.). М.: АИРО-XXI, 2011. С. 122–176.
- Булдаков, 2010** – *Булдаков В.П.* Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 2010. 967 с.
- Бычкова, 2009** – *Бычкова В.М.* Некоторые моменты из истории преподавания Закона Божия в России // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Серия 4: Педагогика. Психология. 2009. Вып. 1 (12). С. 7–20.
- Вехи, 1909** – Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М.: И.Н. Кушнерев и К, 1909. 210 с.
- Власов, 2010** – *Власов С.А.* Очерки истории Владивостока. Владивосток: Дальнаука, 2010. 250 с.
- Гуревич, 2004** – *Гуревич А.Я.* История историка. М.: РОССПЭН, 2004. 283 с.
- Любарев, 2013** – *Любарев А.Е.* Активность избирателей на федеральных, региональных и муниципальных выборах в Российской Федерации // *НВ: Проблемы политики и общества.* 2013. № 8. С. 138–209.
- Лярский, 2015** – *Лярский А.Б.* История детства с точки зрения междисциплинарности: из практики исследования // Стены и мосты – III: История возникновения и развития идеи междисциплинарности / Г.Г. Ершова (отв. ред.). М.: Академический проект: Гаудеамус, 2015. С. 307–315.
- Мазур, 2012** – *Мазур Л.Н.* Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX – начало XX в.). Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2012. 471 с.
- Мазур, Бродская, 2006** – *Мазур Л.Н., Бродская Л.И.* Эволюция сельских поселений Среднего Урала в XX веке: опыт динамического анализа. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. 563 с.
- Матецкая, 2006** – *Матецкая А.В.* Социология культуры: учебное пособие. 2006. Ростов/Д: Феникс, 2006. 260 с. URL: <http://yourlib.net/content/view/306/16/> (дата обращения: 24.08.2016).
- Мионов, 1984** – *Мионов Б.Н.* Историк и социология. Л.: Наука, 1984. 174 с.
- Мионов, 1990** – *Мионов Б.Н.* Русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.: Наука, 1990. 271 с.
- Мионов, 1991** – *Мионов Б.Н.* История в цифрах: Математика в исторических исследованиях. Л.: Наука, 1991. 167 с.

- [Миронов, 2012](#) – *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд. испр., доп. М.: Весь мир, 2012. 848 с.
- [Миронов, 2013](#) – *Миронов Б.Н.* Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.
- [Миронов, 2014](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.
- [Миронов, 2015a](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.
- [Миронов, 2015b](#) – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- [Морозова, Поткина, 1998](#) – *Морозова Т.П., Поткина И.В.* Савва Морозов. М.: Русская книга, 1998. 205 с.
- [Поткина, 2004](#) – *Поткина И.В.* На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых, 1797–1917. М.: Изд-во Главархива Москвы, 2004. 383 с.
- [Поткина, 2009](#) – *Поткина И.В.* Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX – первая четверть XX в. М.: НОРМА, 2009. 302 с.
- [Прей, 2010](#) – *Прей Э.Л.* Письма из Владивостока, 1894–1930. 2-е доп. и испр. изд. Владивосток: Рубеж, 2010. 462 с.
- [Термен, 1914](#) – *Термен А.И.* Воспоминания администратора: Опыт исследования принципов управления инородцев. Пг.: Тип. Сапер, 1914. 20 с.
- [Федоров, 1913](#) – *Федоров Г.П.* Моя служба в Туркестанском крае (1870–1906 г.) // Исторический вестник. 1913. Т. 134, № 10. С. 33–55; № 11. С. 437–467; № 12. С. 860–893.
- [Ядов, 2003](#) – *Ядов В.А.* Стратегия социологического исследования. М.: Академкнига: Добросвет, 2003. 596 с.
- [Merton, 1968](#) – *Merton R.K.* Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968. 702 p.
- [Statistical Abstract..., 1915](#) – Statistical Abstract Relating to British India from 1903–04 to 1912–13. Forty-eighth number. London: His Majesty's Stationary Office, 1915.

References

- [Argumenty nedeli, 2016](#) – Argumenty nedeli [Arguments of the week]. 2016. 18 avgusta. Nr 32 (523) [in Russian].
- [Bart, 1994](#) – *Bart R.* Mif segodnya [Myth today] // *Bart R.* Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika [Selected works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress, 1994, pp. 72–130 [in Russian].
- [Bordyugov, Shcherbina, 2011](#) – *Bordyugov G., Shcherbina S.* Tranzit: sotsiologicheskii portret soobshchestva [Transit: a sociological portrait of a community] // Nauchnoe soobshchestvo Rossii: 20 let peremen [Scientific community of Russia: 20 years of change] / G. Bordyugov (red.). Moscow: AIRO-XXI, 2011, pp. 122–176 [in Russian].
- [Buldakov, 2010](#) – *Buldakov V.P.* Krasnaya smuta: Priroda i posledstviya revolyutsionnogo nasiliya [Red trouble: the nature and consequences of revolutionary violence]. Moscow: ROSSPEN, 2010. 967 p. [in Russian].
- [Bychkova, 2009](#) – *Bychkova V.M.* Nekotorye momenty iz istorii prepodavaniya zakona [Some highlights from the history of teaching the law of God in Russia] // Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo un-ta. Seriya 4: Pedagogika. Psikhologiya [Herald of Orthodox St. Tikhon humanitarian university. Series 4: Pedagogy. Psychology]. 2009. Vyp. 1 (12), pp. 7–20 [in Russian].
- [Fedorov, 1913](#) – *Fedorov G.P.* Moya sluzhba v Turkestanskom krae (1870–1906 gg.) [My service in Turkestan (1870–1906)] // Istoricheskii vestnik [Historical journal]. 1913. T. 134, nr 10, pp. 33–55; nr 11, pp. 437–467; nr 12, pp. 860–893 [in Russian].
- [Gurevich, 2004](#) – *Gurevich A. Ya.* Istoriya istorika [The history of the historian]. Moscow: ROSSPEN, 2004. 283 p. [in Russian].
- [Lyarskii, 2015](#) – *Lyarskii A.B.* Istoriya detstva s tochki zreniya mezhdistsiplinarnosti: iz praktiki issledovaniya [The history of childhood from the point of view of the interdisciplinarity: of research practices] // Steny i mosty – III: Istoriya vznikeniya i razvitiya idei mezhdistsiplinarnosti [Walls and bridges – III: History of the origin and development of the idea of interdisciplinarity] / G.G. Ershova (red.). Moscow: Akademicheskii proekt: Gaudeamus, 2015, pp. 307–315 [in Russian].

Lyubarev, 2013 – *Lyubarev A.E.* Aktivnost' izbiratelei na federal'nykh, regional'nykh i munitsipal'nykh vyborakh v Rossiiskoi Federatsii [Voter turnout at Federal, regional and municipal elections in the Russian Federation] // NB: Problemy politiki i obshchestva [NB: Problems of politics and society]. 2013. Nr 8, pp. 138–209.

Matetskaya, 2006 – *Matetskaya A.V.* Sotsiologiya kul'tury: uchebnoe posobie [The sociology of culture: textbook]. Rostov-na-Donu: Feniks, 2006. 260 p. [in Russian].

Mazur, 2012 – *Mazur L.N.* Rossiiskaya derevnya v usloviyakh urbanizatsii: regional'noe izmerenie (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.) [Russian village in the context of urbanization: the regional dimension (second half of the 19th – early 20th centuries)]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta [Publishing house of the Ural State University], 2012. 471 p. [in Russian].

Mazur, Brodskaya, 2006 – *Mazur L.N., Brodskaya L.I.* Evolyutsiya sel'skikh poselenii Srednego Urala v XX veke: opyt dinamicheskogo analiza [Evolution of rural settlements of the Middle Urals in the 20th century: the experience of dynamic analysis]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta [Publishing house of the Ural State University], 2006. 563 p. [in Russian].

Merton, 1968 – *Merton R.K.* Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968. 702 p.

Mironov, 1984 – *Mironov B.N.* Istorik i sotsiologiya [Historian and sociology]. Leningrad: Nauka, 1984. 174 p. [in Russian].

Mironov, 1990 – *Mironov B.N.* Russkii gorod v 1740–1860-e gody: demograficheskoe, sotsial'noe i ekonomicheskoe razvitie [Russian city in the 1740–1860s: demographic, social and economic development]. Leningrad: Nauka, 1990. 272 p. [in Russian].

Mironov, 1991 – *Mironov B.N.* Istoriya v tsifrakh: Matematika v istoricheskikh issledovaniyakh [The history in numbers: Mathematics in historical research]. Leningrad: Nauka, 1991. 167 p. [in Russian].

Mironov, 2012 – *Mironov B.N.* Blagosostoyanie naseleniya i revolyutsii v imperskoi Rossii: XVII – nachalo XX v. [The well-Being of the population and the revolutions in Imperial Russia: the 18th – early 20th centuries]. 2nd ed. Moscow: Ves' mir, 2012. 848 p. [in Russian].

Mironov, 2013 – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Nравы v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: Mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].

Mironov, 2014 – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].

Mironov, 2015a – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].

Mironov, 2015b – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].

Morozova, Potkina, 1998 – *Morozova T.P., Potkina I.V.* Savva Morozov. Moscow: Russkaya kniga, 1998. 205 p. [in Russian].

Potkina, 2004 – *Potkina I.V.* Na Olimpe delovogo uspekha: Nikol'skaya manufaktura Morozovykh, 1797–1917 [On the Olympus of business success: Nikolskaya manufaktura Morozov, 1797–1917]. Moscow: Izdatel'stvo Glavarkhiva Moskvyy, 2004. 383 p. [in Russian].

Potkina, 2009 – *Potkina I.V.* Pravovoe regulirovanie predprinimatel'skoi deyatel'nosti v Rossii: XIX – pervaya chetvert' XX v. [Legal regulation of entrepreneurial activity in Russia: the 19th – the first quarter of the 20th centuries]. Moscow: NORMA, 2009. 302 p. [in Russian].

Prei, 2010 – *Prei E.L.* Pis'ma iz Vladivostoka, 1894–1930 [Letters from Vladivostok, 1894–1930]. 2nd ed. Vladivostok: Rubezh, 2010. 462 p. [in Russian].

Statistical Abstract..., 1915 – Statistical Abstract Relating to British India from 1903–04 to 1912–13. Forty-eighth number. London: His Majesty's Stationary Office, 1915.

Termen, 1914 – *Termen A.I.* Vospominaniya administratora: Opyt issledovaniya printsipov upravleniya inorodtsev [Administrator's memories: A study of the principles of management of inorodtsi]. Petrograd: Tip. Saper, 1914. 20 p. [in Russian].

Vekhi, 1909 – *Vekhi.* Sbornik statei o russkoi intelligentsii [Milestones: Collection of articles about the Russian intelligentsia]. 2nd ed. Moscow: I.N. Kushnerev, 1909. 210 p. [in Russian].

Vlasov, 2010 – *Vlasov S.A.* Ocherki istorii Vladivostoka [Essays on the history of Vladivostok]. Vladivostok: Dal'nauka, 2010. 250 p. [in Russian].

Yadov, 2003 – Yadov V.A. Strategiya sotsiologicheskogo issledovaniya [The strategy of sociological research]. Moscow: Akademkniga: Dobrosvet, 2003. 596 p. [in Russian].

УДК 94(47)

Нужна ли россиянам клиотерапия?

Борис Николаевич Миронов ^{a, b, *}

^a Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Российская Федерация

^b Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. Автор дает подробные ответы на замечания, высказанные всеми восемнадцатью участниками круглого стола в ходе дискуссии, развернувшейся вокруг его книги «Российская империя: от традиции к модерну». В статье ведется принципиальная полемика по многим вопросам, затронутым в книге. Среди них методология и методика, в частности использование разнообразных исследовательских стратегий, применение сравнительно-исторического подхода, междисциплинарность, макро- и микроанализ, поиск закономерностей, роль концепций, соотношение эмпирического и аналитического в исследовании. Много внимания уделено спорным аспектам этноконфессиональной политики, менталитета и исторической психологии, нерешенным вопросам крепостного права и колонизации, культурного капитала и политики в области просвещения, самоуправления и гражданского общества. Важное место в статье заняла дискуссия относительно специфики российской модернизации и по вопросам мифотворчества, исторического оптимизма и клиотерапии.

Ключевые слова: гражданское общество; историческая психология; клиотерапия; колонизация; крепостное право; культурный капитал; менталитет; методология и методика; мифотворчество; исторический оптимизм; просвещенный абсолютизм; Российская империя; самоуправление; специфика российской модернизации; этноконфессиональная политика.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: bmironov@mail.wplus.net (Б.Н. Миронов)

Copyright © 2016 by Sochi State University



Published in the Russian Federation
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 ISSN: 2073-9745
 E-ISSN: 2310-0028
 Vol. 41-1, Is. 3-1, pp. 1053-1064, 2016

Journal homepage: <http://bg.sutr.ru/>



UDC 94(47)

Essays on Historical Optimism

Aleksandr A. Cherkasov ^{a, *}

^a International Network Center for Fundamental and Applied Research, Russian Federation

Abstract

The article summarizes the debates that unfolded at a round table on Boris Mironov's three-volume "Russian Empire." The author notes that the experts approved the generalizing nature of the research and its keen academic polemics and relevance, and highlighted the magnitude of the work, as well as the encyclopedic character of the research through source study and theoretical, factual, and historiographical coverage of the material. According to A.A. Cherkasov, the round table clearly showed that the Marxist approach has lost not only the monopoly and popularity, but also the trust of the majority of researchers. The concept of civilization has aroused considerable skepticism. The theory of modernization received universal recognition from the participants. They unanimously evaluate it as pragmatic and workable, and they consider that its application is a trend in modern national historiography and note the topicality, importance, relevance, and validity of its choice for an explanatory model of Russian history by the domestic historical community.

The author notes the existence of a wide consensus among those participating in the discussion. They unanimously agreed that Russia is a normal world power, the vector of its development is European, its achievements and successes in the field of modernization are undeniable, but undervalued and often completely ignored. The discussants acknowledged that Boris Mironov was able to reconstruct the main modernizing trends of the country's history objectively and convincingly and to discredit the persistent negative myths and to create an objectively positive image of Russia. Thus, the "Russian Empire" contains neither falsifications nor simplistic positive or negative assessment and conclusions. The consensus suggests that a new objective-positive paradigm of the history of imperial Russia has taken shape in Russian historiography.

Keywords: round table; modern Russian historiography; the features of Russian modernization; the image of Russia; the new objective-positive paradigm in the history of imperial Russia; historical optimism; the decline of influence of the Marxist conception; multi-conception approach; methodology of research; "cliotherapia".

В заключение кратко резюмируем сказанное на круглом столе как по обсуждаемой книге Б.Н. Миронова, так и относительно состояния современной отечественной историографии (Миронов, 2013; Миронов, 2014; Миронов, 2015а; Миронов, 2015б).

Эксперты подчеркнули и одобрили обобщающий характер исследования, острый академический полемизм, актуальность – книга находится «на острие самых современных тенденций в историографии» (Л.М. Артамонова); «четко проработаны многие сюжеты,

* Corresponding author

E-mail addresses: sochio03@rambler.ru (A.A. Cherkasov)

которые вызвали научные и общественные дискуссии в последние 40 лет и интересуют нынешнее молодое поколение» (Г.Н. Ульянова).

В качестве важной особенности трехтомника была отмечена опора на отечественную и зарубежную историографию, которая используется автором не только для показа сложившихся в науке подходов к изучению рассматриваемых проблем, но и для формирования информационной базы исследования (Л.Н. Мазур, И.В. Поткина). Артамонова констатировала, что автор «широко использует работы, подготовленные многочисленными исследователями в разных городах, по разнообразным поводам, в виде публикаций, отличающихся и по формам, и по объему. Привлекая труды ученых из регионов и тех, кто занимается локальными проблемами, автор избавляется от кривого зеркала, отражающего историю страны только под углом зрения из столиц».

По мнению Н.Б. Селунской, в «Российской империи...» «иногда явно, а часто имплицитно присутствует, простирается и ощущается связь его подхода с отечественной традицией исторического объяснения», в частности своеобразное «преемство» с интерпретацией С.М. Соловьевым проблемы темпов исторического развития России и Запада через концепт «задержки», далеко не тождественный понятию «отсталости». При структурировании содержания Б.Н. Миронов выделял те значимые для объяснения российской истории избранного им периода факторы, феномены, институты и структуры (колонизация, крепостное право, семья, община, государство, право и суд), которые в отечественной историографии всегда считались принципиально важными, в контексте которых формировалась и развивалась традиция объяснения российской истории в отечественной историографии.

Все участники отметили в разных выражениях масштабность проделанной работы – «колоссальность», «фантастичность»; работа, «посильная большому коллективу» (Л.М. Артамонова). «Трехтомная монография по своему итоговому результату и вкладу в гуманитарные науки соизмерима с работой большого коллектива исследователей, многие годы совместно работающих по единому плану. Но если сами авторы коллективных монографий зачастую не без иронии называют такие плоды собственного труда “братскими могилами” (книги фактически умирают для читающей публики сразу же после выхода из стен типографии), то грандиозный труд Миронова – это жизнеспособный организм, который будет жить своей жизнью и сумеет сам за себя постоять» (С.А. Экштут).

Вызвали одобрение широта проблематики и «энциклопедический характер» исследования по теоретическому, фактографическому, источниковедческому и историографическому охвату материала. «Пожалуй, нет ни одной важной проблемы, которую бы автор обошел вниманием. Все три тома написаны, что называется, на совесть и представляют добротную сделанную работу профессионального историка» (Ю.В. Веселов). Эксперты отметили, что научная позиция излагается хорошим языком, четко, ясно, аргументировано и не допускает двояких толкований; публицистические размышления ставят имперскую Россию в широкий исторический контекст (Г.Н. Ульянова). Пониманию авторской концепции помогают многочисленные и хорошо подобранные иллюстрации. Участникам круглого стола понравилась навигация книги, которая в таком качестве, как в трехтомнике, действительно редко встречается в современных исторических трудах: именной и предметный указатели, списки таблиц и иллюстраций, помогающие ориентироваться в огромном материале. Похвалили «обширнейшую библиографию». По общему мнению, эти особенности авторского стиля будут способствовать привлечению внимания широкой публики к истории России.

Богатство материала, заключенного в книге, не позволило в рамках одной дискуссии охватить с одинаковой подробностью все проблемы и сюжеты, затронутые автором. Дискуссанты сосредоточились на таких вопросах, как методология и источники, особенности российской модернизации, русская культура, человеческий капитал, клиотерапия, коллективные представления, колонизация, этноконфессиональная политика, крепостное право, социальная структура, дворянское сословное самоуправление, гражданское общество, государство, историческая психология, эффективность управления. Меньше были затронуты такие сюжеты, как географический и демографический детерминизм, социальная мобильность, стратификация и уровень неравенства, крестьянская и городская община, самоуправление, коррупция, политическая пропаганда и пиар, трудовая этика, уровень жизни, преступность, право и суд, демографическая

модернизация, семья и внутрисемейные отношения, урбанизация, бюрократия, общественное мнение.

Неожиданным для организаторов дискуссии стал интерес участников круглого стола к методологии, обсуждать которую историки обычно не имеют большой охоты. Из-за опасения, что эта проблема останется не отмеченной, в приглашении на круглый стол была выражена просьба обратить на методологию внимание. На просьбу горячо откликнулись. Почти исключительно методологии посвятили свои выступления Л.Н. Мазур, И.В. Побережников и Н.Б. Селунская, много места отвели ей С.В. Куликов, А.Б. Лярский, И.В. Поткина и В.Г. Хорос, а все остальные дискуссанты так или иначе касались этой проблемы. Дискуссанты дружно выразили озабоченность тем, что в профессиональном историческом сообществе получило распространение отрицание значения исторического синтеза и исторического объяснения, девальвация теорий, создающих основу объяснительных моделей исторического процесса. Причинами этой «тревожной тенденции» в развитии современной отечественной историографии называются увлечение локальной историей, микроисторией, исследованиями повседневной жизни под влиянием так называемого «постмодернистского вызова», «лингвистического поворота» и «антропологического поворота» в истории. Как выразился И.В. Побережников, «антропологический акцент способствовал миниатюризации методов и масштабов исследования». Почувствовав этот перекосяк, Б.Н. Миронов уделил этому вопросу много внимания, что вызвало горячий положительный отклик. По мнению И.В. Поткиной, автор книги «подходит к этим вопросам и серьезно, и творчески, и, как всегда, оригинально. Он не просто отводит особый вводный раздел, в котором рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к изучению исторического прошлого, но и достаточно убедительно и аргументированно показывает эффективность того или иного метода в решении исследовательских задач».

Столь пристальный интерес к проблеме методологии объясняется, на наш взгляд, ее актуальностью. Создается впечатление, что отечественная историография насытилась микроисследованиями, особенно касающимися повседневной жизни, и коллегам захотелось концептуальных обобщений, широких и монументальных картин по российской истории. Интерес к «большой» истории, к макроуровневым историческим обобщениям повысился и в мировой историографии, что, как отмечает И.В. Побережников, «является естественным ответом на последствия глобализации, проявляющей себя во многих измерениях, на очевидную недостаточность и односторонность исследований, сфокусированных только на микромасштаб». Обсуждаемая книга и дискуссия по методологическим вопросам находятся в этом тренде.

В споре вокруг вопроса о значении эмпирических (конкретно-исторических) и аналитических (аналитических обобщающих) трудов (С.В. Куликов, А.Б. Лярский, Л.Н. Мазур, Б.Н. Миронов) восторжествовала золотая середина – это разные типы исследований, и они имеют одинаковую ценность. Их нельзя противопоставлять не только в том смысле, что они решают разные задачи – описание и выявление закономерностей, но и в том смысле, что обе стратегии анализа данных могут применяться в одном исследовании на разных его этапах.

В этом же ключе проходила дискуссия о целесообразности микро- и макроисследований, количественного и качественного анализа. В большинстве случаев историков, как бы по умолчанию, интересуют в первую очередь и преимущественно индивидуальное, своеобразное, конкретное, и они предпочитают качественный анализ. Автора трехтомника больше занимают закономерное и тенденции, поэтому его анализ всегда имеет количественную составляющую. Таким образом, мы имеем старый спор о преимуществах идеографического метода познания, основанного на акцентировании единичности и неповторимости каждого из реальных явлений, процессов и событий, и номотетического метода, имеющего целью установление в событиях, явлениях и процессах общего (сходного, родственного), которое рассматривается как их закон или закономерность. Здесь тоже достигнут компромисс – нужно сочетать разные виды анализа. Но остается серьезная проблема, состоящая в том, что эти стратегии различаются в целях, методологии и вследствие этого нередко дают противоречивые результаты. Макроуровень выявляет тенденцию развития в социуме или большой группе, микроуровень – ее индивидуальную реализацию. На макроуровне не видно деталей и потому надо быть готовым к их недооценке; на микроуровне не видно тенденций и, если они не обнаружены,

пенять на это не следует. Макроуровень и микроуровень одной исторической реальности по-разному изучаются, и результаты их правильного анализа не во всем совпадают; более того, часто выглядят на первый взгляд противоречащими друг другу. В идеале нужен и макроанализ и микроанализ (Репина, 2011: 163–176). Однако в одном исследовании идеал реализовать вряд ли возможно. Следует согласиться с Б.Н. Мироновым в том, что для проверки одного полноценного и масштабного макроисследования надо провести не одно микроисследование (как некоторые думают), а два-три десятка, а может быть, и больше. Представим в таком случае, что было бы, если бы автор стал проводить в «Российской империи...» еще и микроанализ. Сколько бы томов надо было еще написать и успел бы он завершить этот труд за свою жизнь?!

Общее признание участников круглого стола получила теория модернизации и, наоборот, известный скепсис вызвала модная ныне цивилизационная концепция. Дискуссанты приветствовали использование Б.Н. Мироновым теории модернизации, так как считают ее прагматичной и работоспособной при изучении исторической динамики, особенно имперской России. Эксперты полагают, что применение модернизационной концепции является тенденцией в современной отечественной историографии, и отмечают актуальность, востребованность, адекватность и мотивированность ее выбора российским историческим сообществом в качестве объяснительной модели национальной истории. Участники круглого стола считают, что автору трехтомника удалось реконструировать главный модернизационный тренд в истории России имперского периода. Тренд, говоря словами Н.Б. Селунской, выражается в «переходе от империи “старого порядка” к “современной” империи, от полицентричной и дифференцированной политической системы к более централизованному и бюрократизированному государству, которое через элиты проводило политику унификации в области экономики, языка и культуры». При анализе российского опыта И.В. Побережников справедливо призвал учесть, что в современной теории модернизации подвергаются переоценке понятия «отсталость», «норма», «успех»; высокие темпы культурных, социальных, политических изменений не так однозначно, как в классической теории, оцениваются как достижение, а прочность правительств, образа жизни, системы ценностей, наоборот, не воспринимаются непременно негативно. Возможность различных путей перехода от традиционного к современному обществу, национальное своеобразие трактуется, скорее, как достоинство, более того – как условие «нормальности», поскольку традиции нередко играют роль ускорителя процессов развития и всегда роль общественного стабилизатора. Это очень ценное предложение: с учетом его российская имперская модернизация выглядит тем более нормальной и успешной (Хильдермайер, 2002).

Участники круглого стола отметили в качестве основной характеристики обсуждаемой книги ее принципиальную междисциплинарность и использование разнообразных исследовательских стратегий. Этнограф И.И. Верняев констатировал: «Автор синтезирует подходы социальной, экономической, политической, визуальной истории, социальной антропологии, исторической демографии, социологии, политологии и психологии. Преодоление дисциплинарных границ, множественность подходов, методов и проекций позволило исследователю создать масштабную, многомерную, динамическую модель истории Российской империи, ее движения от традиции к модерну в демографическом, экономическом, социальном, правовом, культурном и ментально-психологическом аспектах». Социолог Ю.В. Веселов подчеркнул интерес социологов к работам Б.Н. Миронова: «Социологи весьма высоко оценивают его работы по социальной истории России, в частности к ним часто обращаются студенты, магистранты и аспиранты, специализирующиеся в области экономической социологии».

Хочется отметить, что «Российская империя...» наглядно демонстрирует, что *по-настоящему аналитическое обобщающее исследование не может не быть междисциплинарным*. Чтобы выявить закономерности и тенденции, бесполезно механически суммировать массу данных, их нужно осмыслить в рамках каких-нибудь социальных (социологических, политологических, психологических и других) теорий и концепций, которыми бедна наша историография. А это неизбежно требует междисциплинарности (Репина, 2011: 25–60).

Дискуссия со всей очевидностью показала, что большинство отечественного сообщества настолько пресытилось монополией какой-нибудь методологии, в том числе марксистской, что всеобщую поддержку получил методологический плюрализм, или

интегральная методология, использованная автором. Она основана на аналитико-экспериментальной переработке различных объяснительных концепций (формационной, цивилизационной, модернизационной, мир-системной, институциональной и синергетической, а также постмодернизма). Участникам круглого стола также импонируют и другие черты творческого стиля автора «Российской империи...»: (а) прагматический взгляд на концепции как на взаимодополняемые специфические подходы, задающие программу и гипотезы исследования, а также определенный ракурс анализа фактического материала; (б) опора на неоклассическую модель исторического исследования, ориентированную на синтез социальной, культурной, экономической, политической истории, социально-исторической антропологии, исторической социологии, исторической психологии, междисциплинарный подход, макро- и микроанализ; (в) изучение исторических изменений в перспективе длинной, средней и короткой темпоральности; (г) предпочтение системному видению, дающему общую картину; (д) дистанцирование от европоцентризма, прямолинейности, партийности при изучении преобразовательных процессов в стране, оценка их в том числе с точки зрения соответствия экономическим, социальным, психологическим и прочим возможностям и потребностям российского общества; (е) видение российского исторического процесса как поступательного и нормального.

Участники круглого стола высоко оценили широкое использование Б.Н. Мироновым сравнительно-исторического подхода, который позволил найти место российским институтам в европейском контексте и место имперских институтов в перспективе российской истории. Как выразился А.Б. Лярский: «Автор постоянно преодолевает локальность отечественной истории, проводя сравнение с европейскими странами; кроме того, его исследование демонстрирует, как подмеченные им закономерности и свойства процесса модернизации реализовались за хронологическими рамками имперского периода. Это дает монографии не часто встречающуюся перспективу, позволяющую читателю осознать, что история – это не наука о прошлом, а наука о самом что ни на есть настоящем, если мы хотим это настоящее понимать». И.И. Верняев подчеркнул, что проделанный анализ российских имперских технологий интеграции и модернизации обществ и институтов традиционного типа, процессов их успешного и неуспешного реформирования в свою очередь открывает широкие возможности для проведения межстрановых и межрегиональных сравнительных исследований.

Как показал круглый стол, марксистский подход потерял не только монополию, популярность, но и доверие у большинства исследователей. В этом отношении показательна дискуссия между Б.Н. Мироновым и Н.Б. Селунской, упрекнувшей его в недооценке значения марксистской парадигмы. По мнению первого, его негативное отношение к ней определяется прежде всего тем, что советским историкам не удалось объяснить основные тенденции развития имперской России. И с этим нельзя не согласиться. Центральная идея марксизма о несоответствии производительных сил и производственных отношений как движущей силе исторического развития эмпирически не подтвердилась. Русская революция 1917 г. не имела объективных предпосылок в марксистском смысле. Обнищание народа ни до, ни после Великих реформ не наблюдалось. Не революционное движение, а верховная власть и правящий класс являлись двигателями прогресса в городе и деревне. В течение двух столетий, XVIII–XIX вв., в стране не возникало революционных ситуаций; реформы происходили «по манию царя». Классовая борьба не являлась доминирующей формой социальных конфликтов применительно к России. Правильнее говорить о конфликте групповых, а не классовых интересов, о чем свидетельствуют отнюдь не классовые разногласия между партиями (например, левые кадеты и правые социалисты по ряду вопросов были ближе друг к другу, чем большевики и меньшевики) и социальный состав основных партий. «Застрельщиком» революции являлся не пролетариат, а интеллигенция. «Гегемония пролетариата», т. е. руководство трудящимися со стороны рабочего класса, не подтвердилась практикой борьбы. Интеллигенция находилась в авангарде протестных движений и руководила всеми партиями – крестьянскими, рабочими, буржуазными, монархическими. Социальную базу правой монархической партии составляли крестьяне и деклассированные элементы города, а руководили ею дворяне и интеллигенты. Эти выводы автора не вызвали возражений.

Методология не предопределяет результаты исследования, если оно проводится корректно, с соблюдением принципов научного анализа – если выводы не подгоняются под

готовую теоретическую схему. Неудача марксистской концепции адекватно объяснить развитие имперской России обусловливается в значительной степени тем, что в советских исследованиях концепция была упрощена, абсолютизирована, превращена в общую схему общечеловеческого развития и являлась монопольной и аксиоматической. Марксистские историки на Западе, свободные от идеологического диктата, выполнили работы, которые до сих пор высоко ценятся в мировой историографии. В Италии, Франции и особенно Великобритании работало и работает много видных марксистских историков, причем не в одиночку, а коллективно, со своими журналами, в рамках влиятельных школ, предлагающих марксистскую интерпретацию истории, но не принимающих марксизм как политическую идеологию. Например, хорошо известна в мировой историографии респектабельная группа британских историков: Морис Добб, Виктор Кернан, Лесли Мортон, Георг Рюде, Д. Савилье, Рафаэль Самьюэль, Эдвард Томпсон, Кристофер Хилл, Родни Хилтон, Эрик Хобсбаум и др. (Hobsbawm, 1978), некоторые переведены на русский язык (Рюде, 1984; Томпсон, 1996; Хобсбаум, 1998; Хобсбаум, 1999a; Хобсбаум, 1999b; Хобсбаум, 1999c; Хобсбаум, 2004; и др.)

Надо также признать, что те или иные марксистские идеи были усвоены практически всеми концепциями, в том числе модернизационной, мир-системной, синергетической, постмодернистской, институциональной, что создало основание для интеграции методологических подходов. Поэтому рано, да и не нужно хоронить марксизм. Кстати, в современной российской историографии он имеет более глубокие корни и не изжит еще в той мере, как может показаться по материалам нашей дискуссии, о чем справедливо напомнил С.В. Куликов, указав на имплицитную приверженность многих современных исследователей марксизму.

Жаркие споры произошли по вопросам исторического оптимизма и клиотерапии, в отношении к которым обозначились три позиции: позитивная (С.В. Куликов, Ю.Н. Смирнов, Г.Н. Ульянова, В.Л. Хорос), скептическая (Л.Н. Мазур, А.Б. Лярский, В.В. Керов) и нейтральная. Половина экспертов прямо на этом вопросе не останавливались. Однако, поскольку они в целом высоко оценили книгу, которую можно назвать *очерками исторического оптимизма*, не будет натяжкой сказать, что к клиотерапии они относятся скорее всего положительно или во всяком случае нейтрально.

Заслуживает особого внимания отношение американских историков к идее клиотерапии. У. Сандерленд не увидел в ней никакой опасности для исторической науки. Он полагает, что нет ничего непременно неправильного в этом подходе. Любой историк делает выбор относительно того, что исследовать, а что нет. Ключевой момент каждой исторической работы – целостность метода и его пригодность при анализе избранных проблем. Цель Миронова – создание у россиян более адекватного исторического образа имперской России, поскольку, по его мнению, существующий в массовом сознании граждан образ страны, созданный несколькими поколениями отечественных историков, является чрезмерно негативным, не соответствует действительности и потому нуждается в изменении. Отсюда потребность в клиотерапии, которую Б.Н. Миронов описывает как более взвешенный исторический подход к истории России, учитывающий не только ее провалы, но и успехи. Создавая объективно-позитивный образ, историки, по мнению Миронова, играют роль социальных врачей, заряжающих общество положительной энергией и помогающих преодолевать трудности. К. Воробец, не только поддержала исторический оптимизм книги, но даже считает, что ее автор преуменьшил позитивные сдвиги в массовом сознании и менталитете русского крестьянства и потому недооценил и общий прогресс деревни в позднимперский период. Оба исследователя достаточно позитивно оценивают развитие имперской России, что свидетельствует о сдвиге во взглядах зарубежных славистов, о чем писал в книге и Б.Н. Миронов (Миронов, 2014: 90–93). И этому не стоит удивляться. В американской историографии доминирует оптимистический взгляд на прошлое и будущее США, и американские историки считают естественным, что российские историки аналогичным образом относятся к своей национальной истории (Миронов, 2014: 18–20). Поэтому работы Б.Н. Миронова встречают признание и в зарубежной историографии, о чем свидетельствуют многочисленные публикации его работ (Mironov, 1985; Mironov, 1993; Mironov, 1999; Mironov, 2000a; Mironov, 2000b; Mironov, 2012; и др.).

Сторонники объективно-позитивной ориентации считают, что в трехтомнике «удалось представить историю Российской империи в новом, оптимистическом ракурсе, по-новому осветить уже известные сюжеты, обоснованно устранить многие стереотипы, до сих пор еще

влияющие на восприятие периода империи как специалистами, так и непрофессиональными историками» (С.В. Куликов). Интересно, что позицию большинства участников круглого стола разделяют акад. В.А. Тишков, которому близок «“нормально-оптимистический” взгляд на историческую эволюцию» (Тишков, 2011: 4), и акад. А.О. Чубарьян, который даже XX век назвал «“нормальным” периодом в мировой истории и предположил, что XXI век станет “веком нового синтеза”, который будет пронизывать различные сферы общественной жизни» (Чубарьян, 2009: 21–22).

Скептики упрекают автора книги в «государственно-оптимистической» тональности и излишнем оптимизме. Ясно и четко их позицию выразила Л.Н. Мазур: «Стремление автора... сформировать позитивный образ имперской истории можно считать вполне реализованным, но это имеет весьма неоднозначные последствия... Борясь против сложившихся в историографии мифов... автор создает... миф “достижений”. <...> В результате мы получаем вариант “рационального” мифа, обращенного не только к чувствам, но и к разуму читателя». (Заметим, что в данном случае под мифом у Б.Н. Миронова имеются в виду не новые фальсификации, а новые интерпретации, которые захватывают массовое сознание.) Однако не всех представителей профессионального исторического сообщества «устраивают упрощенно “позитивные” или “негативные” выводы, поскольку сама по себе природа исторических процессов, а тем более переходных периодов очень сложна и многогранна».

Разбирая возражения оппонентов, Б.Н. Миронов обнаружил, что главный источник их скептицизма состоит в подмене научной оценки моральной оценкой или в смешении моральной и научной оценок результатов, полученных в исследовании. Между тем в книге последовательно проводится *научное функционалистское объяснение* существовавших в России институтов, процессов, явления, а также правительственной политики – и автор пытается объяснить, не только *как*, но и *почему* они существовали и изменялись. Автор убирает из анализа морализирование, четко отделяет научные оценки от моральных, можно сказать, соблюдает политкорректность. Но некоторые участники круглого стола и читатели усматривают в этом апологетику государства и оправдание его политики в соответствии с принципом – если целесообразно и функционально, значит, хорошо и правильно. Например, функционалистское объяснение происхождения и существования крепостного права воспринимается как апологетика крепостничества. Приводимые данные о большей эффективности труда крепостных сравнительно со свободными крестьянами в XVIII – первой половине XIX в. интерпретируются как несостоятельные попытки доказать преимущества принудительного труда над свободным или хуже того – преимущества рабства над свободой. Успехи пореформенной России или лидерство верховной власти в деле модернизации трактуется как прославление самодержавия. Вывод об отсутствии так называемых объективных предпосылок революций 1905 и 1917 гг. и об огромной роли пиара и информационных войн в происхождении революций оценивается как осуждение либеральных идей, интеллигенции, демократии, общественных движений и политических преобразований. Рациональные объяснения возникновения и работы институтов, ставших впоследствии тормозом общественного развития, якобы снимают основания для осуждений и дают аргументы для их оправдания. По словам А.Б. Лярского, «как Н.М. Карамзин в свое время был обвинен в восхвалении “прелестей кнута”, так и Б.Н. Миронов записан некоторыми критиками в ряды тех, кто оправдывает любые государственные деяния вопреки исторической очевидности». Но функционально – целесообразно и хорошо – правильно – это разные ракурсы на проблему: в первом случае объясняется, почему происходит, а во втором даются этические оценки. Например, благодаря абстрагированию от этической оценки работы государственной машины, создается реальная возможность понять, почему она действовала в одних случаях так, в других по-другому и каковы были мотивы ее механиков.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что «государственно-апологетический» подход заключается в том, что Б.Н. Миронов объясняет политику верховной власти и ее правительства путем анализа ее мотивации, обстоятельств и условий ее выработки и проведения, не замалчивая при этом ее негативных последствий, ошибок и издержек. Исторический оптимизм автора состоит в том, что, по его убеждению, очередные преобразования обязательно проводятся тогда, когда для них приходит время. Это не значит, что реформы не надо готовить. Это означает, что преобразования не нужно насильственно форсировать; их целесообразно проводить системно, последовательно,

постепенно и терпеливо. На фоне того негатива, который господствовал и до сих пор преобладает в историографии в отношении имперской истории, объяснения, свидетельствующие о прагматизме правительственной политики и ее успехах, кажутся кому-то преувеличением достижений, кому-то чрезмерным оптимизмом, а некоторым даже фальсификацией. Следует согласиться с Б.Н. Мироновым, что целесообразно дифференцировать моральные и научные оценки, что оценивать правительственную политику надо согласно критериям и практикам соответствующей эпохи. И тогда оказывается: российская бюрократия не была столь примитивной, как обычно изображается; она действовала прагматично и достаточно рационально: беспокоилась о благе народа *в соответствии с теми представлениями о народном благополучии, которые разделяли люди того времени, и использовала те способы достижения народного блага, которые считались уместными и правильными.*

Скептики не привели серьезных аргументов ни методологического, ни содержательного плана против оптимистической концепции истории имперской России (что говорит о ее объективности!) – только страхи и опасения, что на смену монополии негативной парадигмы придет монополия позитивной парадигмы. Однако в обсуждаемой книге нет для этого никаких предпосылок. В методологическом отношении автор предлагает плюрализм и признает ценность всех концепций и теорий, следовательно, выступает против монополии любой методологии и теории. На протяжении всей книги он ведет аргументированную академическую полемику с коллегами по всему спектру проблематики имперской истории, давая пример другим, как нужно защищать свою, оригинальную точку зрения. Поэтому если рассматривать «Российскую империю...» как образец, которому будут подражать, то книга не только не дает никаких оснований для беспокойства относительно возможности реставрации советского стиля работы историков, но, наоборот, дает пример независимого свободного исследования. Трехтомник, как уверены участники круглого стола, будет стимулировать творческую активность историков.

«...Эта книга с учетом ее принципиальной полидисциплинарности, уникального богатства проблематики и подходов, новизны многих исследовательских моделей и результатов станет на долгие годы для всей социально-гуманитарной научной среды важным “социальным институтом” – широким пространством коммуникации, споров, обсуждений, выдвижения гипотез и формирования новых интерпретаций российской истории имперского периода, сложного пути от “традиции к модерну”» (И.И. Верняев).

«Колоссальный труд Б.Н. Миронова очень много дает нашей (да, наверное, и мировой) исторической науке, поскольку расширяет горизонты видения прошлого и настоящего, ставит важные и острые проблемы, ранее не замечаемые или замалчиваемые, обогащает методологию исторического познания» (В.Г. Хорос).

Автор «ставит не точки, а многоточия и, чуждый околонучной мании величия, открытый для конструктивной дискуссии, приглашает идти по проложенной им дороге вслед за ним, вместе с ним, дальше него. Как говорится: “Feci quod potui, faciant meliora potentes”» (С.В. Куликов).

«Наша большая удача заключается в том, что мы являемся современниками и читателями этой работы; опираясь на нее, мы можем строить собственные реконструкции, не обязательно совпадающие с выводами Б.Н. Миронова. В этом и заключается коллективная суть научной работы в области истории» (А.Б. Лярский).

«Я считаю “Российскую империю...” замечательным достижением историографии – амбициозным (надо полагать, не в традиционно русском, а в американском смысле. – А. Ч.), глубоким, эрудированным, ослепляющим богатством использованных источников и числом рассмотренных проблем произведением мастера. <...> Если бы мне нужно было описать исследование одним словом, я назвал бы его “мироновским” (“Mironovian”), под которым я имею в виду исследование смелое, всестороннее, крупное по своим масштабам и информационной базе, страстное и творчески нетрадиционное по способу, которым объединяются статистические и нарративные свидетельства, исторические аргументы и социальный комментарий» (У. Сандерленд).

Если говорить о содержательных итогах дискуссии, можно констатировать *наличие большого консенсуса* между ее участниками, которые согласились, что Россия – нормальная мировая держава, вектор ее развития европейский, ее достижения и успехи на уровне имперской модернизации в историографии несомненны, но недооценены и часто вообще замалчиваются, что автору удалось объективно и убедительно реконструировать главные

модернизационные тенденции в истории страны, дискредитировать расхожие представления и устойчивые негативные мифы и создать объективно-позитивный образ России. При этом «Российская империя...» не содержит ни фальсификаций, ни упрощенно позитивных или негативных оценок и выводов. Консенсус свидетельствует о том, что в *отечественной историографии сформировалась новая объективно-позитивная парадигма истории имперской России*. О ее значении хорошо сказала Л.Н. Мазур: «Положительная оценка результатов имперской модернизации, невзирая на все ее издержки, сегодня как никогда востребована обществом и на быденном, и на управленческом уровне. Поэтому позиция и идеи Б.Н. Миронова должны найти широкую поддержку, особенно среди учителей, перед которыми остро стоит задача воспитания патриотизма в подрастающем поколении». В современной отечественной историографии и учебной литературе наблюдается отчетливая тенденция к формированию позитивной идентичности российской нации (Филиппова, 2009: 84–85; Филиппова, 2013: 913).

Некоторым историкам, воображающим себя свободными от идеологии и человеческих страстей, хотя на самом деле таких не бывает (Миронов, 2013: 11–15), задача патриотического воспитания представляется чуждым для них делом. Но в западной историографии, на которую часто ориентируются как на образец для подражания, воспитание ответственного гражданина, т. е. патриота, представляется совершенно необходимым. «Воспитание историей – давний инструмент в арсенале социальной инженерии, – констатирует акад. В.А. Тишков. – Когда в 1980 г. я собирал в США материал для своей книги о месте и роли истории как науки и учебной дисциплины в американском обществе, я спросил одного из тогдашних лидеров американской историографии, в чем цель преподавания истории в США, и получил краткий, но запоминающийся ответ: воспитать ответственного гражданина. Сейчас в той же самой Америке и в других странах распространено мнение, что воспитание гражданской идентичности в значительной мере берет на себя так называемое *образование наследием* (heritage education), которое осуществляется через многочисленные музейные экспозиции, памятные места и экскурсии, а также через общественную среду в целом, включая семейное воспитание» (Тишков, 2011: 36). Однако от самой задачи воспитания ответственного гражданина не отказались.

Участники круглого стола предсказывают книге успех у читателя и интерес со стороны профессионального сообщества по следующим причинам, которые удачно резюмировала И.В. Поткина.

1. Острая актуальность книги, посвященной одной из самых актуальных и дискуссионных тем российской истории – анализу сходства и различия в процессе исторической эволюции России и стран Западной Европы от традиции к модерну.
2. Большая потребность в трудах обобщающего и объективно-позитивистского характера.
3. Острый полемизм.
4. Свободное владение отечественной и зарубежной историографией, вдумчивый подход к изучению трудов предшественников, включая своих оппонентов; активное использование результатов, полученных коллегами, несмотря даже на принципиальные разногласия со взглядами автора.
5. Введение в оборот ранее не использовавшихся массовых источников и новая интерпретация известных.
6. Повышенное внимание к проблемам идейно-теоретического осмысления истории, демонстрация целесообразности методологического плюрализма и междисциплинарности.
7. Ясный, понятный, научно-популярный стиль изложения без ущерба для научности и академичности.
8. Исторический оптимизм.
Время проверит наши прогнозы.

Литература

Миронов, 2013 – Миронов Б.Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М.: Весь мир, 2013. 336 с.

Миронов, 2014 – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. 896 с.

Миронов, 2015а – Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.

- Миронов, 2015b** – *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 992 с.
- Репина, 2011** – *Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: Социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с.
- Рюде, 1984** – *Рюде Д.* Народные низы в истории, 1730–1848. М.: Прогресс, 1984. 320 с.
- Тишков, 2011** – *Тишков В.А.* Новая историческая культура. М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2011. 60 с.
- Томпсон, 1996** – *Томпсон Э.П.* Плебейская культура и моральная экономия: Статьи из английской социальной истории XVIII и XIX вв. // История ментальностей, историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах / И.М. Михина (сост.). М., 1996. С. 180–198.
- Филиппова, 2009** – *Филиппова Т.А.* Российская нация и ее история: перезагрузка смыслов // Национальные истории на постсоветском пространстве – II / Ф. Бобздорф, Г. Бордюгов (ред.). М.: АИРО-XXI, 2009. С. 84–85.
- Филиппова, 1913** – *Филиппова Т.А.* Курс на «позитивную идентичность»: О новейшей учебной литературе по истории // Между канунами: Исторические исследования в России за последние 25 лет / Г.А. Бордюгов (ред.). М.: АИРО-XXI, 2013. С. 943–961.
- Хильдермайер, 2002** – *Хильдермайер М.* Российский «долгий XIX век»: «особый путь» европейской модернизации? // *Ab Imperia*. 2002. № 1. С. 85–101.
- Хобсбаум, 1998** – *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. 119 с.
- Хобсбаум, 1999a** – *Хобсбаум Э.* Век империи. 1875–1914. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 512 с.
- Хобсбаум, 1999b** – *Хобсбаум Э.* Век капитала. 1848–1875. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 480 с.
- Хобсбаум, 1999c** – *Хобсбаум Э.* Век революции. 1789–1848. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 480 с.
- Хобсбаум, 2004** – *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век. 1914–1991. М.: Независимая газета, 2004. 632 с.
- Чубарьян, 2009** – *Чубарьян А.О.* XX век: взгляд историка. М.: Наука, 2009. 562 с.
- Hobsbawm, 1978** – *Hobsbawm E.* The Historians' Group of the Communist Party // *Rebels and Their Causes: Essays in Honor of A.L. Morton* / ed. M. Cornforth. London: Lawrence and Wishart, 1978. P. 21–48.
- Mironov, 1985** – *Mironov, Boris.* The Russian Peasant Commune after the Reform of the 1860s // *Slavic Review*. 1985. Vol. 44, nr 3. P. 438–467.
- Mironov, 1993** – *Mironov, Boris.* Bureaucratic or Self-Government: The Early Nineteenth Century Russian City // *Slavic Review*. 1993. Vol. 52, nr 2. Summer. P. 233–255.
- Mironov, 1999** – *Mironov, Boris.* New Approaches to Old Problems: The Well-Being of the Population of Russia from 1821 to 1910 as Measured by Physical Stature // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58, nr 1. P. 1–26.
- Mironov, 2000a** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.
- Mironov, 2000b** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.
- Mironov, 2012** – *Mironov, Boris.* The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.

References

- Chubar'yan, 2009** – *Chubar'yan A.O.* XX vek: vzglyad istorika [The twentieth century: the view of a historian]. Moscow: Nauka, 2009. 562 p. [in Russian].
- Filippova, 2009** – *Filippova T.A.* Rossiiskaya natsiya i ee istoriya: перезагрузка смыслов [The Russian nation and its history: a reboot of the meanings] // *Natsional'nye istorii na postsovetском prostranstve – II* [National historiographies in the post-soviet space – II] / F. Bobzdorf, G. Bordyugov (red.). Moscow: АИРО-XXI, 2009, pp. 84–85 [in Russian].
- Filippova, 2013** – *Filippova T.A.* Kurs na «pozitivnuyu identichnost'»: O noveishei uchebnoy literature po istorii [The policy of “positive identity”: On the latest academic literature on the historiography] // *Mezhdu kanunami: Istoricheskie issledovaniya v Rossii za poslednie 25 let*

- [Between the eves: Historical researches in Russia over the past 25 years] / G.A. Bordyugov (red.). Moscow: AIRO-XXI, 2013, pp. 943–961 [in Russian].
- Hobsbawm, 1978** – *Hobsbawm E.* The Historians' Group of the Communist Party // *Rebels and Their Causes: Essays in Honor of A.L. Morton* / ed. M. Cornforth. London: Lawrence and Wishart, 1978, pp. 21–48.
- Khil'dermaier, 2002** – *Khil'dermaier M.* Rossiiskii «dolgii XIX vek»: osobyi put'» evropeiskoi modernizatsii? [Russian “long nineteenth century”: “a special way” of European modernization?] // *Ab Imperia*. 2002. Nr 1, pp. 85–101 [in Russian].
- Khobsbaum, 1998** – *Khobsbaum E.* Natsii i natsionalizm posle 1780 goda [Nations and nationalism since 1780]. St. Petersburg: Aleteiya, 1998. 119 p. [in Russian].
- Khobsbaum, 1999a** – *Khobsbaum E.* Vek imperii. 1875–1914 [The age of the Empire. 1875–1914]. Rostov-na-Donu: Feniks, 1999. 512 p. [in Russian].
- Khobsbaum, 1999b** – *Khobsbaum E.* Vek kapitala. 1848–1875 [The age of capital. 1848–1875]. Rostov-na-Donu: Feniks, 1999. 480 p. [in Russian].
- Khobsbaum, 1999c** – *Khobsbaum E.* Vek revolyutsii. 1789–1848 [The age of revolution. 1789–1848]. Rostov-na-Donu: Feniks, 1999. 480 p. [in Russian].
- Khobsbaum, 2004** – *Khobsbaum E.* Epokha krainostei: Korotkii dvadtsatyi vek. 1914–1991 [The age of extremes: The short twentieth century. 1914–1991]. Moscow: Nezavisimaya gazeta [Publishing house “Independent newspaper”], 2004. 632 p. [in Russian].
- Mironov, 1985** – *Mironov, Boris.* The Russian Peasant Commune after the Reform of the 1860s // *Slavic Review*. 1985. Vol. 44, nr 3, pp. 438–467.
- Mironov, 1993** – *Mironov, Boris.* Bureaucratic or Self-Government: The Early Nineteenth Century Russian City // *Slavic Review*. 1993. Vol. 52, nr 2. Summer, pp. 233–255.
- Mironov, 1999** – *Mironov, Boris.* New Approaches to Old Problems: The Well-Being of the Population of Russia from 1821 to 1910 as Measured by Physical Stature // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58, nr 1, pp. 1–26.
- Mironov, 2000a** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 1. Boulder: Westview Press, 2000. 562 p.
- Mironov, 2000b** – *Mironov, Boris.* The Social History of Imperial Russia, 1700–1917: 2 vols. Vol. 2. Boulder: Westview Press, 2000. 398 p.
- Mironov, 2012** – *Mironov, Boris.* The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London; New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2012. 668 p.
- Mironov, 2013** – *Mironov B.N.* Strasti po revolyutsii: Navy v rossiiskoi istoriografii v vek informatsii [The passion for the revolution: mores in the Russian historiography in the information age]. Moscow: Ves' mir, 2013. 336 p. [in Russian].
- Mironov, 2014** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 1. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2014. 896 p. [in Russian].
- Mironov, 2015a** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 2. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 912 p. [in Russian].
- Mironov, 2015b** – *Mironov B.N.* Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: from tradition to modernity]: 3 t. T. 3. St. Petersburg: DMITRII BULANIN, 2015. 996 p. [in Russian].
- Repina, 2011** – *Repina L.P.* Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv.: Sotsial'nye teorii i istoriograficheskaya praktika [Historical science at the turn of the 20–21th centuries: Social theories and historiographical practice]. Moscow: Krug, 2011. 560 p. [in Russian].
- Ryude, 1984** – *Ryude D.* Narodnye nizy v istorii, 1730–1848 [People's bottoms in history, 1730–1848]. Moscow: Progress, 1984. 320 p. [in Russian].
- Tishkov, 2011** – *Tishkov V.A.* Novaya istoricheskaya kul'tura [A new historical culture]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo instituta [Publishing house of Moscow psychological-social Institute], 2011. 60 p. [in Russian].
- Tompson, 1996** – *Tompson E.P.* Plebeiskaya kul'tura i moral'naya ekonomiya: Stat'i iz angliiskoi sotsial'noi istorii XVIII i XIX vv. [Plebeian culture and moral economy: Article of the English social history of the 18th and 19th centuries] // *Istoriya mental'nostei, istoricheskaya antropologiya: Zarubezhnye issledovaniya v obzorakh i referatakh* [The history of mentalities, historical anthropology: Foreign researches in reviews and abstracts] / E.M. Mikhina (sost.). Moscow: IVI RAN, 1996, pp. 180–198 [in Russian].

УДК 94(47)

Очерки исторического оптимизмаАлександр Арвелодович Черкасов^{а, *}^аМеждународный сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований, главный редактор российского исторического журнала «Былые годы», Российская Федерация

Аннотация. В статье подводятся итоги дискуссии, развернувшейся на круглом столе по трехтомнику Б.Н. Миронова «Российская империя: от традиции к модерну». Автор отмечает, что эксперты одобрили обобщающий характер исследования, острый академический полемизм и актуальность; подчеркнули масштабность проделанной работы, энциклопедический характер исследования по теоретическому, фактографическому, источниковедческому и историографическому охвату материала. По мнению А.А. Черкасова, круглый стол со всей очевидностью продемонстрировал, что марксистский подход потерял не только монополию и популярность, но и доверие у большинства исследователей. Цивилизационная концепция вызвала заметный скепсис. Теория модернизации получила всеобщее признание участников дискуссии. Они единодушно оценивают ее как прагматичную и работоспособную, считают, что ее применение является трендом в современной отечественной историографии и отмечают актуальность, востребованность, адекватность и мотивированность ее выбора российским историческим сообществом в качестве объяснительной модели национальной истории.

А.А. Черкасов констатирует наличие большого консенсуса между участниками дискуссии. Они единодушно согласились с тем, что Россия – нормальная мировая держава, вектор ее развития европейский, ее достижения и успехи на ниве имперской модернизации в историографии несомненны, но недооценены и часто вообще замалчиваются. Дискуссанты признали, что Б.Н. Миронову удалось объективно и убедительно реконструировать главные модернизационные тенденции в истории страны, дискредитировать устойчивые негативные мифы и создать объективно-позитивный образ России. При этом «Российская империя...» не содержит ни фальсификаций, ни упрощенно позитивных или негативных оценок и выводов. Консенсус свидетельствует о том, что в отечественной историографии сформировалась новая объективно-позитивная парадигма истории имперской России.

Ключевые слова: круглый стол; современная российская историография; особенности российской модернизации; образ России; новая парадигма российской истории; исторический оптимизм; падение влияния марксистской концепции; поликонцептуальный подход; методология исследования; клиотерапия.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: sochio03@rambler.ru (А.А. Черкасов)